
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Собрание сочинений в шести томах. Том 1

ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

МОСКВА 2006

ТЕРРА  **ТЕРРА**
КНИЖНЫЙ КЛУБ

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
А19

Вступительная статья,
составление, подготовка текста и комментарии
Ст. Никоненко

Оформление художника
А. Уткина

Аверченко А. Т.

А19 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Веселые устрицы / Вступ. ст., сост., подгот. текста, коммент. Ст. Никоненко. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2006. — 448 с.

ISBN 5-275-01390-6 (т. 1)
ISBN 5-275-01389-2

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925) — замечательный русский писатель-юморист, редактор знаменитого журнала «Сатирикон». Современники называли его «Рыцарем Улыбки». Таланту Аверченко было подвластно все: от мягкого юмора до жесткой сатиры, от забавных и безобидных бытовых зарисовок до острых политических памфлетов.

В первый том собрания сочинений вошли сборник «Веселые устрицы» (1910) и две первые книги трехтомника «Рассказы (юмористические)» (1910—1911).

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

© Ст. Никоненко, вступительная
статья, составление, подготовка
текста и комментарии, 2006
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2006

ISBN 5-275-01390-6 (т. 1)
ISBN 5-275-01389-2

ВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬ АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Я помню дни: в веселой нашей роще
Царил и властвовал ремесленников цех,
Цвел трафарет и гарцевал на теще
Замызганный, лишенный хмеля смех.
И в эти дни, которые я вправе
Брезгливо выкинуть из памяти моей,
Явился — Он, с могучим словом "Ave"¹,
И развенчал всех наших королей.
Он был как вихрь. Влюбленный в жизнь и солнце,
Здоровый телом, сильный, молодой,
Он нас пьянил, врываясь к нам в оконце,
И ослеплял, блестя меж нас звездой.
Горя в огне безмерного успеха,
Очаровательно дурачась и шалая,
Он хохотал, и вся страна как эхо,
Лихуя, вторила веселью короля.
О, как он был в те дни России дорог!
О, как мы верили, что он наш светлый Феб!
Мы, изголавшие миллионы черствых корок,
Давно забывшие, что значит свежий хлеб...²

Так писал поэт Василий Князев о первых годах восхождения Аркадия Аверченко к вершинам писательской славы.

Король смеха — этот титул был получен вполне закономерно: таково было мнение об Аверченко читателей. Разумеется, он не всем был угоден; были и недовольные его деятельностью, упрекавшие писателя в отсутствии твердой платформы, распыленности, уходе от решения кардинальных проблем времени. Обвиняли Аверченко и в том, что он пригревал льстецов, певших ему дифирамбы и уводящих его с магистрального пути в болото мелких дел, меркантильности, портивших его вкус, порой толкавших писателя на путь дешевого, легкого успеха у обывателей.

Что ж, доля истины здесь была. Никуда не денешься. Но вот чего нельзя отнять у Аверченко, так это огромный талант, трудолюбие, работоспособность.

Несколько тысяч рассказов, фельетонов, пьес, рецензий на спектакли, юморесок, стихотворений — это основной итог твор-

¹ Да здравствует, славься (лат.). Один из псевдонимов Аверченко.

² «Сатирикон». 1913. № 29.

чества писателя. Но не следует забывать и о том, что за десять лет его активной литературной жизни вышло более пятисот номеров журналов "Сатирикон" и "Новый Сатирикон", где Аверченко выступал не только как автор, но и в качестве редактора, а порой и как художник. К этому следует добавить и отбор произведений для сотен выпусков "Дешевой юмористической библиотеки "Сатирикона" и "Нового Сатирикона", а также собраний сочинений известнейших юмористов всех стран.

В 1910 г. вышли три первые книги Аркадия Аверченко, а затем почти каждый год — два-три новых сборника, переиздания.

Трудно даже представить, что все это было создано одним человеком.

Первые годы жизни писателя, отрочество и юность, казалось, не оставляли никаких надежд на будущее. В смешной "Автобиографии", которой открывалась одна из первых книг писателя, "Веселые устрицы", Аверченко дал несколько фрагментов своей дописательской жизни.

Некоторые сведения об этих годах мы находим в автобиографии, отправленной им известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 г.: "Имя мое — Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года, 15 марта¹. Вероисповедания православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоянный двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя — добрая, кроткая женщина — вспоминает об этом с ужасом... Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет... Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер — довольно скудно... Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский каменноугольный рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании"². Отголоски детских и юношеских впечатлений мы находим в рассказах Аверченко "О пароходных гудках", "Молния", "Отец", "Смерть африканского охотника", "Ресторан "Венецианский карнавал", "Три желудка" и многих других. Обстановка, в какую окунулся застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. "То конторщик Паланкинов запыет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника... А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал рабочему совсем не ту ногу,

которую следовало..."¹ Это беспробудное пьянство сопровождалось тем, что старшие по службе унижали, оскорбляли младших. "Нельзя сказать, что со мной обращались милосердно, всякий старался унижить и прижать меня как можно больше — главный агент, просто агент, помощник, конторщик и старший писарь"².

Стремясь вырваться из этой беспросветности, он обращается к литературному труду.

В Харькове Аверченко делает первые литературные шаги. "Самым значительным событием моей жизни считаю появление в печати моего первого литературного опыта — рассказа "Праведник" ("Журнал для всех", апрель 1904 г., № 4), — сообщал Аверченко Венгерову. — Но писал я тогда мало и напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в "Харьковских губернских ведомостях"³.

По справедливому замечанию О. Михайлова, "самоопределился как профессиональному литератору и журналисту"⁴ Аверченко помогла первая русская революция. На волне общего подъема начинающий писатель основал в 1906 г. "журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках" "Штык", который имел в Харькове и даже за его пределами большой успех. "Я наполнял весь номер, пища, редактируя и корректируя"⁵, — вспоминал писатель, но на девятом номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не мог, да и не хотел, и журнал в 1907 г. закрыли.

Познав радость первых творческих удач, Аверченко не складывает оружия и в 1907 г. выпускает новый журнал — "Меч". Впрочем, на третьем номере его постигает участь предшественника.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905—1907 гг. многочисленные сатирические издания — "Пулемет", "Молот", "Сигнал", "Удаль", "Барабан" и др. — были закрыты.

Аверченко приезжает в Петербург. Когда это произошло, установить трудно. В автобиографии, посланной С. А. Венгерову, он сообщал, что приехал в Петербург 24 декабря 1907 г., в письме В. Быкову утверждал, что оказался в столице в январе 1908 г. Всего три месяца или того менее прошло с момента приезда в Петербург, и безвестный провинциальный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре редактором (а спустя несколько лет и основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет едва ли не самым популярным изданием в дореволюционной России.

¹ Аверченко А. Молния // "Сатирикон". 1910. № 40.

² Аверченко А. О пароходных гудках // "Сатирикон". 1913. № 17.

³ Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. Л., 1976. С. 155—156. Исследователь В. Сурмило установил, что первая публикация Аверченко относится к 1902 г. Но, возможно, писатель считал важной вехой именно выступление в столичном журнале. Л. А. Спиридонова утверждает, что первый его напечатанный рассказ — "Как мне пришлось застраховать жизнь" ("Южный край", 1903 г., 31 октября). — "Биографический словарь. Русские писатели. 1800—1917". М., 1992. С. 19.

⁴ Аверченко А. Избранные рассказы. М., 1985. С. 7.

⁵ "Ежегодник...". С. 156.

¹ 27 марта по новому стилю.

² Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. Л., 1976. С. 155.

Начав сотрудничать в отживавшей свой век "Стрекозе", Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 г. о слиянии "Сатирикона" и "Стрекозы" в один "еженедельный журнал сатиры и юмора" — "Сатирикон".

О начальной поре работы Аверченко в "Сатириконе" оставил воспоминания писатель О. Л. Д'Ор (О. Л. Оршер): "Ко мне пришел молодой человек лет двадцати восьми — тридцати. Был он высокий, толстый, рыхлый, бритый по-актерски, в пенсне. На нем был чистенький, новенький сюртук. Под сюртуком виднелся модный "штучный" жилет.

— Позвольте представиться! — сказал молодой человек шутливо. — Аркадий Аверченко.

Он улыбался добродушно, лукаво, ехидно, иронически, почтительно и фамильярно. Все это как-то совмещалось воедино. В его улыбке можно было прочесть:

Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов...

Таков он и был в жизни.

— Разрешите сесть или продолжать мне стоять? — шутливо спросил Аверченко.

— Да уж как-нибудь садьте.

Аверченко сел. Стул затрещал под ним.

— Был я редактором журнальчика "Штык", — начал он, — в Харькове это было. Так вот, понимаете, не читали его. Я и приехал сюда в Питер. Нашел тоже один журнал, которого тоже не читают, и решил заняться им. "Стрекоза" этот журнал...

Знаменитая в свое время "Стрекоза", действительно, в то время уже никем не читалась. Журнал этот, смешивший в течение четверти века всероссийское купечество, после 1905 г. зачах совершенно. Упал спрос до минимума.

— Хотим и название уничтожить, — сказал Аверченко, — будем называть журнал "Сатирикон". Это...

Аверченко сделал серьезно-пресерьезное лицо.

— ...Это название существовало в Риме при Нероне. Оно было выдуманно знаменитым Петронием.

Он искоса глянул на меня. Ему, очевидно, хотелось подметить, поражен ли я его ученостью или нет. Аркадий Аверченко большой образованностью не отличался.

Я сказал, что название мне не нравится.

— Это ничего! — сказал серьезно Аверченко. — Верьте мне, что название пустяки. Важно содержание. Важно: таланты. У нас подобралась кучечка изумительных художников. Теперь очередь за писателями. Вы, Дымов, Тэффи, Саша Черный. Право же, название абсурд. Дайте материал хороший. Это главное. Не в вывеске дело, а в товаре. Вот увидите...

Впоследствии я действительно увидел, что Аверченко был прав. Громадным своим успехом "Сатирикон" был исключительно обязан материалу. Подобрать талантливых людей и спаять их

между собой — самый большой талант. Аверченко в совершенстве обладал этим талантом"¹.

Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым занимался. Об этом, в частности, говорится на страницах "Нового Сатирикона" в 1913 г. в его статье "Мы за пять лет". Лаконично, в нескольких строчках, писатель рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции. Возникшие на волне революции сатирические журналы были ликвидированы: "...все, успевшие уже привыкнуть к смеху, иронии и язвительной дерзости "красных" по цвету и содержанию сатирических журналов — снова остались при четырех прежних стариках, которым всем в сложности было лет полтора: при "Стрекозе", "Будильнике", "Шуте" и "Осколках".

Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) — в окна редакций уже заглядывали зловецкие лица "тещи", "кушца, подвыпившего на маскараде", "дачника, угнетенного дачей" и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полустгнившей дрянью".

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно и по сию пору ему вменяют в вину. Тематика журнала, несмотря на цензурные рогатки, была широкой и острой. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает:

"Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

1) Военных (даже бытовые рисунки).

2) Голодающих крестьян.

3) Монахов (даже самых скверных).

4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая "Новое Время"².

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция — обличение существующих общественных порядков, неприятие реальностей буржуазной действительности — отражена и в его собственном литературном творчестве.

Высказывание американского писателя Генри Джеймса как нельзя кстати подходит к литературной судьбе Аверченко, да, впрочем, и многих его коллег по журналу: "Лучшие произведения создаются, как правило, теми талантливыми художниками, которые входят в то или иное творческое содружество: легче работается, когда ты окружен соратниками и живешь в атмосфере советов, поддержки, сравнения и соревнования"³.

Действительно, время работы в "Сатириконе" (и "Новом Сатириконе") явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Чер-

¹ Старый журналист. Литературный путь дореволюционного журналиста. М.; Л., 1930. С. 89—90.

² "Новый Сатирикон". 1913. № 28.

³ Цит. по: Каули М. Дом со многими окнами. М., 1973. С. 212.

ный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и конечно же сам Аверченко.

На роль "Сатирикона" в общественной жизни дореволюционной России и в судьбе самих Аверченко, Тэффи и других сотрудников журнала обращали внимание многие писатели. Написанная вскоре после смерти Аркадия Аверченко статья А. И. Куприна так и называлась: "Аверченко и "Сатирикон". Отмечая, что в первую очередь успехом своим Аверченко обязан собственному таланту, Куприн вместе с тем отдаст должное и широкому читателю, который быстро понял, какое новое явление в журналистике представлял "Сатирикон". "Аркадий Тимофеевич был избавлен от неприятной обязанности делать призрачные улыбки и поклоны и выслушивать покровительственное: "Это я тебя, братец, в люди вывел".

Аверченко сразу нашел себя: свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же — чуткая середина — необыкновенно быстро открыли его и сразу из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. Тут был и мой, не писательский, а читательский голос.

Однако своя, добрая, верная публика дружно и быстро вытянула "Сатирикон" в гору, а там уже он сам весело покатился по углаженной дороге. Молодой яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и его беззаботная энергия сделали здесь очень много. Но, и то сказать, какая славная семья сотрудников его"¹.

Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив. "Сотрудники "Сатирикона", молодого журнала, одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных, — вспоминал Корней Чуковский в предисловии к книге Саши Черного. — Впервые выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодотворный писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагала Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист, с милым, нелепым, курносом лицом..."²

Помимо постоянных авторов "Сатирикона" и "Нового Сатирикона" Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А. Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий...

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 г. в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция "Сатирикона" рас-

кололась. Тогда и возник "Новый Сатирикон". И большинство пошло за Аверченко в "Новый Сатирикон".

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды, вызвали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел, но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять его и поддерживать. В "Сатириконе" и "Новом Сатириконе" начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями.

Вот фрагмент из воспоминаний Льва Ивановича Гумилевского (1890—1976) о его первой встрече с редактором журнала, куда он сдал свой рассказ: "Я зашел в редакцию узнать, когда появится рассказ. За столом Зозули (секретаря редакции. — *Ст. Н.*), как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немножко полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал.

— Это первая книга, — сказал он. — Нравится вам?

На серой обложке с маркой "Сатирикона" в верхнем углу было напечатано: "А. С. Грин. Рассказы".

Я ответил, не скрывая зависти:

— Очень нравится!

— Ну, вот и вас потом так же издадим. Вы принесли нам еще что-нибудь?

Рассказ был уже в типографии"¹.

Сам Аверченко выступал в "Сатириконе" с юмористическими рассказами, фельетонами, театральными обзорами, вел "Почтовый ящик". За публикацию некоторых сатирических материалов его привлекали к суду... В 1910 г. он опубликовал первые сборники своих произведений: "Веселые устрицы", "Рассказы (юмористические)".

В 1911 г. Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому... И по приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями — "Экспедиция в Западную Европу сатириковцев...". Однако даже вдаль от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов, и рассказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: Рим, Мюнхен или Тироль, повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке...

В 1912 г. в Петербурге были изданы книги Аверченко "Круги по воде", "Рассказы для выздоравливающих". Многие его рассказы инсценировались, шли на сценах петербургских театров.

Шовинистический угар, охвативший всю правую прессу с началом первой мировой войны, затронул и "Новый Сатирикон". Во многих номерах журнала стали печататься грубые антинемецкие фельетоны и юморески, карикатуры и стихи, появлялись

¹Куприн А. И. Аверченко и "Сатирикон" // "Сегодня". Рига, 1925. № 72. 29 марта.

²Саша Черный. Стихотворения. М.; Л., 1962. С. 5.

¹Гумилевский Л. Судьба и жизнь. Воспоминания // "Волга". 1988. № 7. С. 152.

произведения, написанные торопливо, лишенные вкуса, а порой и пошловатые. Последнее коснулось и некоторых написанных в предреволюционные годы произведений писателя. Так, в опубликованных в 1916 г. путевых очерках "Вниз по Волге", наряду с сочными, запоминающимися картинами волжских берегов, зарисовками быта, мы встречаемся с пустынскими, примитивными сценками любовных пароходных приключений. В 1917 г. появилась его повесть "Подходцев и двое других", подвергшаяся критике за "стороннюю позицию насмешливого созерцателя". Но таких срывов у него было немного. В журнале продолжают появляться произведения серьезные и впечатляющие, в том числе принадлежащие перу Аверченко, например один из лучших его рассказов — "Страшный мальчик" (декабрь 1914 г.). В 1916 г. вышла имевшая большой успех книга "О маленьких — для больших".

Февральскую революцию вся редакция "Нового Сатирикона" встретила с восторгом. Сатириконтцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах "Нового Сатирикона" высмеивается Временное правительство, бездарность его министров, беспричинность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах Временного правительства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Однако победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы, трудности быта в условиях начавшейся гражданской войны вызывают неприятие у писателя. "Новый Сатирикон" все еще выходит, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко опекает происходящее, пользуясь общечеловеческими, гуманистическими критериями, тогда как побеждающие классы требуют резкого определения классовых позиций. И, разумеется, он, борющийся за справедливость и демократическую законность, выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам. Аверченко полагает, что происходящее не имеет ничего общего с марксизмом, и на обложке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: "Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России".

Революция оказалась не такой, какой ее себе представлял писатель. Осознать и принять позицию новой власти он не мог. И не хотел. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни — "Новый Сатирикон". Новое правительство во второй половине 1918 г. вообще закрыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился в 1918 г. на занятый белыми юг. Сначала в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах "Приазовский край" и "Юг России", а в конце октября 1920 г. вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан. Его "Записки Простодушного. Я в Европе" (1923) об их жизни вполне могут быть названы "смешным в страшном". Здесь нарисована поразительно живая панорама оскудения, обнищания личности, духовного и нравственного, в тех условиях на чужбине, когда утрачены социальные связи, идеалы, когда остается единственная цель — выжить...

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. С основным им эстрадным театром "Гнездо перелетных птиц" Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы. "Кипящий котел", "Дети", "Смешное в страшном", "Отдых на крапиве", "Записки циника", "Рай на земле" — эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. Ряд рассказов, составивших сборник "Дюжина ножей в спину революции" (1921), написаны в жанре сатирической социальной антиутопии. Автор утверждал, что развитие пролетарской революции может привести ко всеобщей нищете, деградации культуры и нравственности. В. И. Ленин был прав, когда говорил, что многие страницы книги "Дюжина ножей..." проникнуты злобой к революции, но вместе с тем отмечал, "как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки", в ней "с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, обывшей и объединявшейся России"¹. Историческая ценность книги именно в том и состоит, что в ней отражены взгляды другой, побежденной в революции стороны, что она помогает понять позицию тех, кому было что терять.

В своей книге "Смешное в страшном" (1923) Аверченко подметил такие недостатки и извращения в политической, хозяйственной, культурной жизни Советской России, как раздувание административного аппарата ("Мурка"), бесконечные совещания и митинги ("Хомут, натягиваемый клещами"), регламентация в искусстве и литературе ("Контроль над производством")...

С июня 1922 г. он поселяется в Праге, где после революции собралась большая русская колония. В конце 1924 г. Аверченко тяжело заболевает. Он лечится в санатории, и, кажется, дело идет на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 г., писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, "на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12-го марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко..."². В последние годы жизни Аверченко еще успел написать несколько хороших произведений, среди них пьеса "Игра со смертью", и веселые рассказы о театре (безусловно, в них нашел

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 249.

² Бельговский К. Как умирал Аверченко // "Сегодня". 1925. 17 марта.

выражение и собственный опыт автора-актера), и такие тонкие мягкие вещи, как "Индеек с каштанами", и "Белая ворона", и единственный роман "Шутка Мелената", шаржированно воссоздающий литературную жизнь Петербурга 1910-х годов. Но силы его были на исходе, он еще полон замыслов, на больничной койке в Праге сочиняет новые рассказы, однако их никогда уже не прочтет читатель...

В насыщенной мировыми катаклизмами и революционными бурями эпохе, в которой разворачивалось творчество этого яркого и самобытного писателя, литературные критики не смогли глубоко разобраться и по достоинству оценить его обширное и разнообразное литературное наследие.

Л. А. Спиридонова (Евстигнеева) пишет, что он "добросовестно учился у Чюминой, Дорошевича и Амфитеатрова, перенимал сатирические приемы "Зрителя", "Жупела", "Адской почты" и других петербургских изданий"¹, что "сочный юмор его рассказов немного напоминал раннего Гоголя"². О. Михайлов полагает, что Аверченко "напоминает своей богатой выдумкой сотрудника "Стрекозы" и "Будильника" Антошу Чехонте"³. Правда, считает Михайлов, на этом сходство заканчивается, ибо уже в молодом Антоше Чехонте угадывалось что-то более глубокое, "Аверченко же остался юмористом по преимуществу, видящим лишь смешное в жизни своих героев..."⁴.

Впрочем, попытки прикладывать к нему мерки его великих предшественников предпринимались и в дореволюционное время. Об этом писала Тэффи: "Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова". И далее Тэффи высказывала свою точку зрения: "Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное..."⁵

Талант человеку дается от природы, "от Бога". Как будет развиваться этот талант, какие формы примет, во многом зависит от тех жизненных обстоятельств, в какие он попадает. "Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании сквозь грязный туман соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания"⁶.

¹ Спиридонова (Евстигнеева) Л. А. Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977. С. 134.

² Там же. С. 135.

³ Михайлов О. Аркадий Аверченко // Аверченко А. Избранные рассказы. С. 11—12.

⁴ Там же. С. 12.

⁵ "Сегодня". 1925. № 66. 22 марта.

⁶ Куприн А. И. Аверченко и "Сатирикон" // "Сегодня". 1925. 25 марта.

Куприн отмечал, что первый смех Аверченко был чист и беззлобен. Разумеется, он усваивал некоторые приемы своих предшественников, но это никогда не было подражанием или копированием. Юмору вообще невозможно научиться. Видеть смешное в действительности и умение выразить, передать это смешное в искусстве слова — вообще разные вещи. И лишь соединение таланта видения с искусством писателя дает нужный эффект. У Аверченко эти два качества находились в органическом единстве. И притом его редко можно было упрекнуть в простом смекачестве, в смехе ради смеха. У смеха множество функций: его рассматривают как оружие, как щит, как лекарство, как отдых и т. д. и т. п. Произведения Аверченко выполняли все эти функции.

Богатство его выдумки неисчерпаемо, он высекает смех из каких-то немисливо тривиальных ситуаций, в которые даже трудно поверить, настолько они кажутся придуманными, нереальными, — и все-таки смеешься, все-таки веришь. Ибо персонажи, попавшие в эти ситуации, поступают, действуют, говорят в полном соответствии с собственным характером и с теми обстоятельствами, в которых они оказались. Так, внешне простенькая зарисовка, анекдот "В ресторане" точно передает психологию и шутника, и потерпевшего — человека тупого, упрямого, представляющего себе умным и хитрым!

Обилие тем, характеров, ситуаций переполняет воображение Аверченко. Написанные примерно в одно и то же время, а может быть, и в один день рассказы и фельетоны различаются интонацией, тематикой, глубиной постижения реальных событий и отношений. Уж сколько было написано до Аверченко о силе клеветы, сплетни, а он находит новые краски для этой кочующей темы и в небольшом рассказе "Сплетня" дает анатомию этого общественного явления, характерного для всех времен и народов, легко, играючи, убедительно. И от того, что сплетней окутана фигура маленького незаметного человечка, уничижительная сила обличения растет, и нам не столько смешон мелкий чиновник Аквинский, сколько омерзительны окружающие его еще более мелкие людишки, надевшиеся столь низменным свойством. Так беззлобный смех писателя как бы независимо от его воли становится сатирой, осуждающей нравы общества.

Пародия? Пожалуйста: "Пропавшая калоша Доббляса", "Неизлечимые", "По влечению сердца", "Рассказ для "Лягушонка".

Несоответствие между нагромождением средств и малозначительной целью? Великолепный пример: "Ложь".

Противоречие между тем, что человек о себе думает, и его истинным характером — "Мой сосед по кровати", "Бельмесов", "Роковой Воздухоев", "Страшный человек".

Противоречие между внешней респектабельностью и подлостью натуры — "Случай с Патлецовыми".

Преувеличение, гиперболизация какой-либо черты характера, человеческого свойства? Пожалуйста: гипертрофия жадности, стяжательства — "Лакмусовая бумажка"; доведенная до абсурда глупость (в сочетании со стяжательством) — "Пылесос"; усердие, доведенное до абсурда, — "Провокатор"... Рассказы эти смешны.

Но разве можно сказать, что здесь автор преследует одну цель — смех ради смеха?

Аверченко прекрасно понимал разницу между поверхностным зубоскальством, примитивным юмором положений, "юмором для дураков" (так он и назвал один из своих рассказов, где дал блестящий сатирический срез подобного юмора) и юмором, связанным с проникновением в сущность явлений, с познанием человеческого характера, с анализом нравственной позиции героя.

Случайное дорожное происшествие сталкивает литератора Ошмянского и актрису Бронзову ("Бритва в киселе"). Тривиальная ситуация, избитый сюжет. Но и из этой ситуации Аверченко извлекает максимум возможного комического эффекта, ибо он показывает резко контрастирующие характеры, абсолютно несовместимые; тонко и психологически точно рисует крах иллюзий Бронзовой.

Масса окрашенных теплым юмором эпизодов и характеров в рассказе "Страшный мальчик". И как неожиданна концовка. Порой в нашей критике об Аверченко говорилось, что в лучших своих произведениях он поднимался до уровня общественной сатиры, и при этом подразумевалось, что таких произведений у писателя не столь уж много. В действительности же понятием "общественная сатира" можно охарактеризовать большую часть созданного писателем. В одной из самых известных и популярных его книг — "Веселые устрицы", выдержавшей за семь лет 24 издания, есть раздел "В свободной России". Уже само название раздела проникнуто злой иронией. Чем же славна "свободная" Россия (имеются в виду дарованные царем конституционные свободы)? Ее облик — это жуткая, беспросветная темнота, безграмотность основной массы населения — крестьянства ("Русская история"), бесправие и подконтрольность каждого жителя, которые могли привести к полевению даже аполитичного обывателя ("История болезни Иванова"), разгул черносотенства ("Кто ее продал..."), обыски как узаконенная повседневность ("Люди", "Мученик науки"), слежка и доносительство ("Робинзоны"), бесплодность буржуазных партий ("Спермин", "Октябрист Чикалкин"), провокаторство ("Путаница")... Привлечь внимание читателей хотя бы к этим нескольким темам в годы столыпинской реакции было проявлением определенной гражданской общественной позиции.

Надо отдать должное твердой позиции Аверченко как писателя и как редактора журнала: он никогда не шел на поводу черносотенной пропаганды, всегда отстаивал равноправие всех народов России, не затрагивая и не оскорбляя национальных чувств. Эта твердость и последовательность прослеживаются в отношении к делу Бейлиса, а также в таких рассказах, как "Фунгельман и сын", "Золотые часы", "Родители первого сорта" и др. Разумеется, это не могло не вызвать соответствующей реакции в лагере черносотенцев, которые не упускали случая заклеймить Аверченко как "еврействующего" писателя.

Каждое его острое общественное выступление, обличающее политику русского правительства или же высмеивающее не лучшие проявления русского характера, вызывало злобную реакцию

правой прессы. Но дело здесь было вовсе не в том, что Аверченко подтрунивал над некоторыми человеческими слабостями. Произведения Аверченко вызывали неприязнь в правом лагере, поскольку делали очевидным, что именно существующий режим, условия существования повинны в темноте, безграмотности народа, в культивировании не лучших его черт ("Русская история", "Хлопотливая нация", "Отцы и дети", "Корибу", "Полевые работы", "Виктор Поликарпович", "Провокатор", "Робинзоны").

Но, хотя многие злободневные в ту пору рассказы и фельетоны, освещающие определенные политические события, и сохранили значимость и интерес по сей день, все же наибольшей привлекательностью для нас и свежестью обладают те произведения писателя, в которых он обращается к особенностям человеческих характеров, не связанных ни с определенной общественной системой, ни с эпохой. Да, разумеется, они по-разному проявляются в тех или иных конкретно-исторических условиях, но не исчезают, сохраняя свое богатство и разнообразие.

При чтении рассказов Аверченко нас поражает необыкновенное знание жизни и человеческой природы. Среди его персонажей люди самых разных профессий, социальной и национальной принадлежности. И каждый герой живет своей жизнью, проявляет свой собственный характер, обрисованный автором лаконично и правдиво. Писатель Василий Покойников ("История одного рассказа"), помощник счетовода Матвей Петрович Химиков ("Страшный человек"), инспектор уездного училища Бельмесов (в одноименном рассказе, гимназист Поползухин ("Кривые Углы"), Зоя ("Обыкновенная женщина"), бедный родственник Степа ("Индеек с каштанами") — несколькими фразами Аверченко создает индивидуальные, запоминающиеся портреты людей.

Форма рассказов Аверченко проста и естественна, действие развивается, как правило, быстро и без лишних подробностей, если же они появляются, то лишь для того, чтобы создать дополнительный юмористический эффект (а значит — уже не лишние), и при этом детали, которые приводит Аверченко, всегда подмечены безошибочно.

Яркость, бьющая через край веселость Аверченко запечатлены в одном из стихотворений В. В. Маяковского:

А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...¹

Было бы неверным ограничить творчество, как и саму личность Аверченко, лишь сферой юмора. Уже современники писателя отмечали это. "...Реальное лицо самого Аверченко никогда не было таким беззаботным, каким оно представлялось читателю", — отмечал Скиталец².

¹ Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. М., 1955. С. 91.

² Скиталец. Река забвения. ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 3, ед. хр. 20, л. 25.

ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ (1910)

О богатстве внутреннего мира писателя, многогранности его души и таланта свидетельствуют его рассказы о детях и для детей. Аверченко не был женат, детей не имел, но он любил их, и они отвечали ему взаимностью. Три книги рассказов — "О маленьких — для больших", "Шалуны и ротозей", "Дети" — далеко не исчерпывают всего того, что написано Аверченко о детях.

Он до мельчайших деталей смог постичь психологию детей, научился (или же просто не разучился, сохранив это знание до конца своих дней) говорить их языком о понятных и волнующих их вещах, выразил забавные, трогательные стороны детской души, ее наивность, доверчивость, жажду человеческого тепла.

В полной мере творчество Аверченко еще не изучено, не оценено. Одно несомненно — это крупное, самобытное явление в русской литературе. Он создал свой жанр. Его лаконичный и чеканный по форме рассказ отличается, как правило, психологически и социально глубоким содержанием. С исключительным мастерством пользовался Аверченко богатством, гибкостью, изяществом и силой русского языка.

Влияние, которое он оказал на отечественную сатиру и юмористику, огромно. Влияние это, сознаваемое или неосознанное, признаваемое или отвергаемое, воплотилось в слове, в образах, в сюжетах у таких разных писателей, как Мих. Зощенко, Пант. Романов, Ильф и Петров, Гр. Горин...

Сегодня со всей очевидностью мы убеждаемся, что высший суд — суд времени — творчество Аверченко выдержало. Потому что в лучших своих произведениях писатель с изяществом и внешней простотой вскрывал глубинные пласты человеческой души и отношений человека в обществе, потому что он привлекал внимание к тем общественным порокам и нравственным изъянам, которые сохранились в человечестве на протяжении тысячелетий и конечно же еще долго будут напоминать о себе — зависть, угодничество, клевета, подлость, ложь, беспринципность, стяжательство, властолюбие.

Значимость Аркадия Аверченко еще и в том, что он дал в своем многогранном, многообразном творческом наследии юмористическо-сатирическую энциклопедию русской жизни первых десятилетий XX столетия, той поры, представляющейся сегодня такой туманно-далекой, но знание которой, даже в веселой и легкой форме, помогает осознать настоящее и задуматься о грядущем. Мы убеждаемся, что перед нами не смехач, пересмешиник, зубоскал, а художник, глубоко постигший душу человека (пусть даже маленького, а иногда и мелкого), чутко улавливавший тончайшие нюансы взрослой и детской психологии, виртуозно владевший словом, что позволяло ему как бы играючи, легко, незаметно для глаз, подобно фокуснику, создавать атмосферу живой жизни.

Ст. Никоненко

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

"Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись, — ты играешь наверняка".

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: "...хорошего в ученье".

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепеливших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял им себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распрощившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался "держаться свободнее", шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

"Это, наверное, и есть главный агент", — подумал я.
— Здравствуй! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!
Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуй, — сказал я. — Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)
— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реэстра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

"Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!"

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того "лодырем", предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцать лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрыгах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажды там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Прodelав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались пренебрежительными отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые захватывающие мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я прелеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904¹ году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в "Южный край". И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы,

¹ В "Автобиография", предпосланной сборнику "Веселые устрицы" (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями В. Сурмило, наиболее вероятно 1902 год. (Примеч. сост.)

и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал "Штык", имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала "Меч", который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инког-

нито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом "Сатирикон", и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего "Сатирикона" (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности, я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

I

В свободной России

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ИВАНОВА

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, вырвав газету, схватился руками за голову.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Плохо! — сказал Иванов. — Я левею.

— Не может быть! — ахнула жена. — Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

— Нет... что уж скипидар! — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. — Я левею!

— С чего же это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.

— С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

— Ну?

— Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...

— Кого это?

— Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

— Ты б молочка выпил... — сказала жена, заливаясь слезами.

— Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

— Левеешь?

— Левею...

— Может, доктора позвать?

— При чем тут доктор?!

— Тогда, может, пристава пригласить?

Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

— Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

— Дай-то Бог, — всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

— Еще полевел! Что оно будет — не знаю!

— Опять небось газету читал, — вскочила жена. — Говори! Читал?

— Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

— Мой-то... — сказала она, ломая руки. — Левеет.

— Быть не может?! — воскликнул тесть.

— Верное слово. Вчера с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!

— Надо принять меры, — сказал тесть, надевая шапку. — Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

— Ну, как наш дорогой больной?

— Левеет!

— А-а! — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, болезненные глаза. — Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

— Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

— Октябристом, — вздохнул Иванов. — До обеда — правым крылом, а после обеда левым...

— Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

— Я, собственно, — сказал Иванов, — стою за принудительное отчуждение частновладельч...

— Позвольте! — удивился пристав. — Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

— Значит... я уже кадет!

— Все левее?

— Левою. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левою.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик "Робинзона Крузо" с раскрашенными картинками и понесла мужу.

— Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

— Господи! — воскликнула несчастная женщина.

— Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

— Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! — проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. — Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

— Кончено! — прошептал он, благоговейно снимая шапку. — Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

— Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

КТО ЕЕ ПРОДАЛ...

I

Не так давно "Русское знамя" разоблачило кадетскую газету "Речь"... "Русское знамя" доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор "Русского знамени" перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и — продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но ведь все равно: рано или поздно все выплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание — это все, что может если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так:

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

— Кто же они такие? — полюбопытствовал я.

— Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе — японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

— Чем могу служить?

— Я — прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцуа.

— А я, — сказал блондин, небрежно играя финским ножом, — уполномоченный от финляндской революционной партии "Войма". Моя фамилия Муляйнен.

— Я вас слушаю, — кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

— Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

— Это смотря как... — прищурился я. — Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

— Цену мы дадим вам хорошую, — отвечал маркиз Оцуа. — Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

— Запрашивать я не буду, — хладнокровно пожал я плечами. — Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом — нужно добавить — горячо мною любимая.

— Ну, уж и страна!.. — иронически усмехнулся Муляйнен.

— Да-с! Страна! — горячо вскричал я. — Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

— Так-то так, — обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, — да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

— Как хотите, — холодно проворчал я. — Не нравится — не берите!

— Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

— Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

— Десять миллионов?!

— Да.

— За Россию?!

— Да.

— Десять миллионов рублей?!

— Да. Именно рублей. Не пфеннигов, не франков, а рублей.

— Это сумасшедшая цена.

— Сами вы сумасшедшие! — сердито закричал я. — Этакая страна за десять миллионов — это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь — эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцуа слушал меня, призадумавшись.

— Хотите пять миллионов?

— Пять миллионов? — рассмеялся я. — Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоче. В кавычках.

— Нет, — покачал головой Муляйнен. — Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов — ни копейки больше!

— Очень даже странно, что вы торгуетесь, — обидчиво поешился я. — Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

— Как угодно, — сказал Муляйнен, вставая. — Пойдем, Оцуа.

— Куда же вы? — закричал я. — Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы — уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства — извольте — миллион сброшу.

— Три сбросьте!

— Держите руку, — сказал я, хлопая по протянутой руке. — Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

I

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

— С Польшей и Кавказом?

— С Польшей и Кавказом!

— Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

— Продано! — вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. — Забирайте.

— Как... забирайте? — недоумевающе покосился на меня Оцуа. — Что значит "забирайте"? Мы платим вам деньги главным образом за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию.

— Да для чего вам это нужно? — удивился я.

— Это уж не ваше дело. Нужно — и нужно. Так — погубите?

— Хорошо, погублю.

III

На другой день, поздно вечером, к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину...

Теперь — когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь — у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь — ха-ха! — восемь-то миллиончиков — ха-ха! — которые у меня в кармане — не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

— Не продешевил ли я?!

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

— Здравствуйте, милые поселяне, — сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

— Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, — отвечали поселяне. — Ты чего?

— Благодарю вас, ничего, — говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

— Ты — чего?!!

— Как видите: гербаризацией балуюсь.

— Ты — чего?!?!?

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

— Ты — чего?!?!?

— Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко, я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый, как лунь, и глупый, как колода.

— Цветочки собираешь, паршивец, — прохрипел мудрейший. — Брешет он, ребята! Холеру пускает.

Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

— Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелева!

Студент завопил.

— Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол — твой батя — и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки, и то — самым примитивным спосо-

бом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

— Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня или так, помять?

Обе перспективы показались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

— Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите — я съем его?

— Бреешь! Не съешь!..

— Уверю вас! Съем — и мне ничего не будет.

— Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопают!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

— Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

— Весь! — сказал студент, показывая пустой пакетик.

— Ешь и бумагу, — решил Петр Савельев, белый, как лунь, и глупый, как колода.

По газетным известиям, насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

— Ешь! — приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда, Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

— Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

— Видимое дело, — сказал добродушный мужик по прозвищу Коровий-Кирпич. — Занапрасну скубента изобидели.

— Темный вы народ, — сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

— Темный вы народ! — повторил он. — Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах, — так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

— Толкуй! — недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.

Когда же студент осмелился нахально заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг Солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали — неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден, в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

— Дело! — сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерovu кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

— Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.

Васька Свищ молодецкато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

— Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный выскочил староста.

— Чего изволишь, батюшка?

— "Батюшка"? Я тебе, пракалия, покажу, — батюшка! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?... Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

— Ко... коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

— Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут? Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой испуганной, встревоженной тучей.

— Тихо! — крикнул Васька Свищ, выступая вперед. — Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки — собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята! Виновные в уклонении подвешаются к заклочению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до пятисот руб. Поняли?!

— Поняли, ваше благородие! — зашелестели мужичьи губы.

— Благо-о-родие?! — завопил телеграфист. — Мерзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

— Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

— Осел!!! — рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

— Я покажу вам, негодяи, — погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

— С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, ребята!

Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался...

— Это к нам, — сказал он задремавшей уже жене. — Наконец-то!

— Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.

Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.

Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.

— Ба, ба!! А я-то — позавчера ждал, вчера... Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.

Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.

— Пардон!.. Но вы, вероятно... не поняли. Мы к вам с обыском!

Хозяин залился смехом так, что закашлялся.

— Оригинал... открыл Америку! Ведь не буду же я думать, то вы пришли со мной в преферанс перекинуться.

Он весело захлопотал около пришедших.

— Позвольте пальтецо... Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу... Осторожнее: тут порог.

Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:

— Разрешите приступить. Вот предписание.

— Ни-ни-ни! И думать не можете! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело — этак не трудно и насморк схватить... А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?

Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:

— Будучи официально уполномочен для производства обыска...

Хозяин замахал на него руками...

— Знаю, знаю!! Ах ты, Господи... Ну неужели обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но

почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли, Никодим Иванович, кажется?! да? хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь — откуда?! На доньшке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот... Лизочка! (Это моя жена... Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, — господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь — безумно меня обидите!!

Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:

— Отказать мужчине вы еще могли, но даме — фи! Это будет не по-джентльменски!

Муж представил:

— Моя жена Елизавета Григорьевна — Никодим Иванович! Господин пристав... виноват, не имею чести...

Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:

— Крутилов, Валериан Петрович!

— Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валея зовут. Лукерья!

Явившейся кухарке она приказала:

— Проведи понятых и городских пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов... Водки там, кажется, есть с полчетверти... Одним словом, займись ими... А я похлопочу насчет их благородий!

Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.

Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:

— Извините, но...

За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти-шести.

— Обыск, обыск! У нас обыск! — подпевали они в такт прыжкам таким тоном, будто радовались принесенному пирожному.

Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец.

— Здравствуй! Покатай меня на ноге, так: гоп, гоп!

Отец сокрушенно покачал головой.

— Ах вы, экспроприаторы этакие! Вы уж извините их... Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю... ну, для них и не было

лучшего удовольствия. Подружились со всеми... Верите — шоколад стали им носить, игрушки...

Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.

Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:

— Сколько у тебя звездочек? А сабля — вынимается? Я в Одессе сам вынимал — ей-Богу!

Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:

— Сколько раз я тебе говорила, что божиться — дурная привычка! Он надоедает вам — спустите его на пол.

— Ничего-с... Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?

— Митей. А тебя?

Пристав рассмеялся.

— Валея. Будем знакомы.

Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:

— Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.

— Валя! Дай мне икры, — потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.

Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.

— Разногласие с меньшевиками, — объяснял хозяин, — происходит у нас главным образом из-за тактических вопросов... Затем, наше отношение к террору...

Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.

Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:

— А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича — дворник — принц, а вы, Лукерья Абрамовна, — королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!

Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.

— Тоже ведь придумает эдакое... Уж сказано про вас — бюрократический режим.

В № 11981 "Нового времени"
Меньшиков написал тыся-
чный фельетон.

Меньшиков проснулся рано утром.

Спустил с кровати сухие с синими жилами ноги, сунул их в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией Горячковой, и сейчас же подошел к окну.

— Погодка, кажется, благоприятствует, — пробормотал он, с довольным видом кивнув головой, — я рад, что погода не помешает народным массам веселиться в радостный для них день юбилея.

Одевшись, он зачерпнул из лампы горстью масло и обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.

— Для ради юбилея, — прошептал он, ежась от струйки теплого масла, поползшей по сухой согнутой спине.

Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на звонок дверь и увидел сидящего, в ожидании, на ступеньках лестницы Меньшикова.

— Ты чего, старичок, по парадным звонишься? — приветствовал его швейцар. — Шел бы со двора.

— День-то какой ноне, Никитушка!

— Какой день? Обыкновенный.

— Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фельетон сегодня идет!

— Так.

— Ну, Никитушка?

— Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь чего, что ли?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Экий ты несообразный старичок... С чем же мне тебя поздравлять?

— Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них брани и поношения принял...

— Ну, так что же?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Эк ведь тебя растревожило. Ну, что уж с тобой делать: поздравляю.

— Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непосредственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку дам... Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копеечек... Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи

сдай. Семь копеечек тебе, а три копеечки мне... Хе-хе, Никитушка...

— На! Эх ты, жила.

— Не благодари, Никитушка... Ты заслужил. Это ведь говорится так — на водку, а ты бы лучше на книжку их в сберегательную кассу снес... Ей-Богу, право. Сам-то — встал?

— Встал. Иди уж. Ноги только вытри.

— К вам я, Алексей Сергееч...

— Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты на дом приходишь. Нехорошо, — увидеть могут. Если нужно что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок — попросишь, что нужно.

— День-то какой нынче, Алексей Сергееч!

— А что — дождь?

— Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня идет.

— Ну?

— Можно сказать — праздник духа.

— Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за строчку по этому случаю?

— За это я вашим вечным молитвенником буду... А только — день-то какой!

— Да тебе-то что нужно?

— Поздравьте, Алексей Сергееч!

— Удивляюсь... Ну скажи — зачем тебе это понадобилось?

Меньшиков переступил с ноги на ногу.

— Хочу, чтобы как у других... Тоже, если юбилей, то поздравляют.

— Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!

Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова и протянул ему руку.

— Здравствуйте, Василь Васильич!

Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньшикова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.

— Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!

— ...Брак не есть наслаждение... — бормотал Розанов, скрипя пером. — Брак есть долг перед вечным...

От напряженного положения протянутая рука Меньшикова стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сделал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.

— Странный карандашик... Таким карандашиком неудобно, я думаю, писать...

Меньшиков опустился на стул, рядом со столом Розанова, и беззаботно заговорил:

— А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-Богу. Можете поздравить, Василь Васильич... Много написал. Были большие фельетоны и маленькие были. Да-с... Сегодня меня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита — этаким славным народным чернозем! Алексей Сергееч поздравляли...

— ...Всякое половое чувство должно быть радостным и извечным... — бормотал, начиная новую страницу, Розанов.

— Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу тысячный фельетон о печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где на даче в этом году живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе старое вспомнить... До свиданья, Василь Васильич...

Меньшиков протянул опять руку, поддержал ее минуты три, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:

— Славное пресс-папье!

Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.

— Здравствуйте, Александр Аркадьич!

Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не знал — как это сделать?

Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пустился на хитрость:

— А вы знаете — через три минуты будет дождь...

— Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь, — проворчал Столыпин.

— Ей-Богу. Хотите пари держать?

Простодушный Столыпин попался на эту удочку.

— Да ведь проиграешь, старая крыса?

Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением долго мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Меньшиков хихикнул и, довольный, сказал:

— Спасибо за то, что поздравили!

Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.

Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков увидел одного человека, читавшего "Новое время". Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно засмеялся.

— Что вы думаете об этой штуке?

Читавший сказал, что он думает.

Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бормоча про себя:

— Сам ты старый болван! Туда же — в критику пускается.

Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:

— Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, почестей... Начиная от швейцаров — до Столыпина — все как один человек. А Столыпин... чудак, право. Схватил руку, трясет ее, трясет, пожимает, — смех, да и только! Старик тоже — увидел меня, говорит: что нужно — проси! Отведи в уголок и проси. Ей-Богу, не вру! Хочешь, говорит, набавить — набавлю. Публика тоже... В трамваях тоже... обсуждают статью.

Ночью он долго плакал.

РОБИНЗОНЫ

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский — интеллигент.

Пров Иванович Акациев — бывший шпик...

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками, по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

— Ваш паспорт!

Голой Нарымский развел мокрыми руками:

— Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился.

— В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся.

— Ага... Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков — дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

— Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся.

— Предварилку строю.

— Нет, нет... Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

— Ничего я не знаю.

— А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

— Отстанете вы от меня?..

— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжело вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес, с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегающую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

— Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами.

— Чего вы пристааете? Занимались бы лучше своими делами.

— Да я и занимаюсь своими делами, — обиженно возразил Акациев. — Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.

— Так я вам отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

— За находку вы имеете право лишь на одну треть...

— начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил:

— Вы еще не имеете права охотиться!

— Почему это?

— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

— А у вас календарь есть? — ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

— В таком случае, я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

— Езда по мосту шагом.

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

— Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

— Что вам угодно?

— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

— А предписание вы имеете? — лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

— Вы... живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

— Жив. — Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. — Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки, ответил:

— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста тысяч штрафов или сидеть около полутора лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

— Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства.

ВИЗИТ

Октябрист приблизился к швейцару и, кланяясь, вежливо сказал:

— Здравствуйте, ваше благородие! Христос Воскресе! Польщенный швейцар улыбнулся.

— Ну, какое там благородие: далеко мне.

— Не скажите. Жена, детки — здоровы?

— Сынишка кашляет.

— Что вы говорите! Это ужасно.

— Да... А жена уехала в Вытегру.

— Что вы говорите?! Прекрасный город Вытегра. Я слышал, что ваша супруга предостойнейшая женщина... Сами ли вы в добром здравьи?

— Что это ты, брат, чудной какой? Уж не октябрист ли?

Октябрист стыдливо потупился и прошептал:

— Октябрист.

— Ага! Так, так... Ты начальство почитай. А уж мы тебя не забудем... Хе-хе!

Швейцар дружески потрепал улыбающегося Октябриста по животу и спросил:

— Доложить?

— Да-с, господин управляющий.

— Через минуту Октябрист входил в приемную его превосходительства...

Маленькая злая собачонка, лежавшая на диване, заворчала, бросилась на вошедшего и укусила его за ногу...

Октябрист улыбнулся и, прищелкивая пальцами, стал звать собачонку:

— Цып-цып-цып!..

— Ах, извините, пожалуйста! Она вам порвала брюки...

— Христос Воскресе, ваше пр-во-с. Ниче-го-с... Они только пошутили, собачки ваши. Насчет же брюк, то в рассуждении вентиляции это даже полезно...

— Но у вас из ноги каплет кровь!

— По совести говоря, ваше пр-во, я бы их, собачонок эту, еще благодарить должен-с. Сложения, я, знаете, апоплексического, а они мне бесплатное кровопускание сделали. Хе-с, хе-с!..

Сели. Октябрист посмотрел в окно и сказал:

— Какая прекрасная погода!

— Что вы! Погода скверная...

— Вы знаете, ваше пр-во, я еще с утра, когда встал, то говорю жене: "Знаешь, Липочка, погода будет неважная". И действительно, погода оказалась скверная!

Октябрист подумал немного и решил сказать хозяину что-нибудь самое приятное.

— Прекрасная у вас собачка! Рублей сто стоит?

— Что вы! Жена ее за пять рублей щенком купила. Ах, да! Не хотите ли вы закусить? Пожалуйста к столу.

Проходя к столу, Октябрист задержался около висевшей на стене картины и похвалил ее.

— Прекрасный морской вид. Вообще Рембрандт в этом отношении не имеет соперников.

— Какой же это Рембрандт? Это Судковский.

— Но, ваше пр-во, Рембрандт тоже был хорошим художником. Хотя Судковский, конечно...

Октябрист потрогал рукой раму, погладил полотно и значительно сказал:

— Тысяч пятнадцать!

— Триста рублей! Пожалуйте... Вам прикажете налить чего-нибудь?

— Ах, что вы! В рот не беру!.. Я так рассуждаю: разве может человек, любящий родину, отравлять себя алкоголем?!

Но сейчас же, вспомнив о казенной продаже водки, гость сконфузился и покраснел...

— Конечно, те, кто занимается физическим трудом, должны ее пить, потому что, как это говорится: *mens sana in Kвисисана*... Но напряженный умственный труд, ваше пр-во, требует трезвости.

— А вот я, грешный человек, люблю выпить рюмку-другую.

— Совершенно правильно, ваше пр-во. Я еще читал где-то, что алкоголь в небольших дозах возбуждает энергию и деятельность. А я, в сущности, не пью из-за, извините, печени.

Вошел слуга и доложил, что хозяина вызывают к телефону.

— Извините. Одну минуту.

Оставшись один, Октябрист поправил галстук и строго посмотрел на лежавшую у его ног собачку.

— У-у, дрянь этакая! Чтоб ты лопнула!

Собачонка посмотрела на него равнодушным взглядом.

— Только жаль, что визжать будешь... А то бы я тебе такого пинка дал, что ты к стене отлетишь. Пошла вон!! Черти тебя задеря...

Он наклонился и сильно дернул собачонку за ухо.

— Гррр... — громко зарычала она.

— Ну, ну... Собаценочка! Что ты, что ты? Ну, кто нас обидел, кто... Мы нервненькие, правда?

Октябрист прислушался, дрожащей рукой налил себе рюмку рябиновой и, боязливо поглядев на собаку, выпил. Потом взял рукой кусок семги и поспешно засунул ее в рот, торопясь прожевать.

— А вот и я. Позвольте предложить вам чего-нибудь скушать.

Гость сделал вид, что закашлялся, вынул носовой платок и выплюнул в него семгу.

— В сущности, я, ваше пр-во, сыт. Уже завтракал-с.

— В таком случае, кофе? Ликеру? Ну, ликеру-то вы со мной выпьете... Легонького. Абрикотину.

— Не смею отказаться.

Гость потянулся за налитой рюмкой. Собачонка от его движения вздрогнула и звонко залаяла. Вздрогнул и гость.

— Ах, Боже ты мой, что я наделал!!

Тоненькая струйка абрикотина поползла по белоснежной скатерти.

— Ваше пр-во! Честное слово, это ваша собачка... Они залаяли...

— Ну, пустяки. Сейчас вытрут.

— Ваше пр-во! Я сам присыплю солью. Тогда пятна не будет.

Гость дрожащей рукой схватил баночку с горчицей и стал трясти ее на пятно.

— Виноват, но ведь это горчица.

— Ваше пр-во!.. Ей-Богу, нечаянно. Позвольте, я ножичком соскоблужу горчицу.

— Да не беспокойтесь. Вон вы ножом и разрежали скатерть. Видите, какой вы!..

— Ваше!.. Видит Бог, не хотел я этого... Вы и в Думе знаете меня, я никогда — чтобы кто-нибудь... Можете даже Остен-Сакена спросить...

В смущении и растерянности Октябрист замолот такую дрянь, что даже его пр-во сконфузился.

— Вы, может быть, нездоровы? Тогда не смею удерживать...

— Прощ... щайте, ваше пре...пре... Воистину Воскресе... Прощайте, собачка... Вввв...

Октябрист не помнил, как добрался домой. Его трясла лихорадка, и жена уложила его спать.

Он метался в кровати, бредил, и в бреду ему чудилась страшная картина: ехидная собачонка, после его ухода, поманила лапой хозяина и, когда тот нагнулся к ней, потихоньку сообщила:

— А этот-то... что был у тебя... Когда ты вышел к телефону — он выпил рюмку водки и спрятал в карман кусок семги. Своими глазами видела.

— Хорошо... — сурово сказал хозяин. — Если так, то завтра же разгоним Думу...

БЕДСТВИЕ

Неожиданный урожай тек. года поставил в большое затруднение — как м-во путей сообщения, так и сельских хозяйств, принужденных продавать хлеб почти даром.

"Торгово-Промышл. Газета"

I

Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал:

— Мы получили самые верные сведения... Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.

— Что ж это они так... Недоглядели, что ли?

— Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело Божье!

— Конечно, Божье... Но ведь и пословица говорит: на Бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите — лезут?! Что же лезет больше?

— Многое лезет, ваше пр-во... Рожь, пшеница...

— Но не понимаю... Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?

— Какие меры, ваше пр-во?

— Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.

— Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли — с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет, уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!

— Ну, а мужики что?

— Да что ж мужики — плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут — разгневался Господь — послал.

Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул.

— Мужиков жаль!

— Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: много-страдальный русский народ.

— Э?

— Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы... Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать — чистой воды драма.

— А, может... еще и недород будет?

— Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все — урожай!

— Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!

В голосе директора послышались лирические нотки.

— Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь... До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.

— Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.

— Кто лезет?

— Все, что в земле есть. Поверите — в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!

— Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь: урожай, кто тебя выдумал?

II

Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:

— Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей — или градом побьет, и скот вытопчет, а у нас — хучь ты ее сам лаптем приколачивай!

— Что ты, кум, ворчишь? — спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.

— Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.

— Ну? — сказал Парфен Парфенов. — Влопашься ты, кум!

— И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе — недород, и о позапрошлом — недород, а тут — нако-ся! Урожай. Пойти в кусочки потом и больше никаких апельсинов!

— А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, — на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.

Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.

— Где? Где туча?..

— Во. Гляди, может, градом осыплется.

— Вашими бы устами, Парфен Лукич, — сказал повеселевший Савельев, — да мед пить!

Здрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.

III

Газета "Голос мудрости" писала в передовой статье:

— Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина — урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

— Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните:

— Враг не дремлет!

IV

По улице большого города шел прохожий.

Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:

— Господин! Помогите пострадавшим от урожая!

— Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? — спросил сердобольный прохожий.

— Де там! Хворменный был урожай!

— И много у вас уродилось?

— Сам-двадцать!

— Несчастные! — ахнул прохожий. — Нате вам три рубля. Может, поправитесь.

.....

МУЧЕНИК НАУКИ

Провинциальные губернаторы
предписали местной полиции
следить за внешкольным пове-
дением учащихся.

Когда околоточный вошел в комнату, шашка его зацепилась за ручку двери.

Отцепить старались: он сам, Мишка, Мишкин отец и горничная. Все были смущены, и околоточный больше всех.

Он конфузливо потер красные большие руки, для чего-то надул щеки и, с деланной развязностью, сказал:

— Ну, как сынок ваш?

— Ничего, здоров, благодарю вас. Мишка! Оставь нос — по рукам получишь.

Постояли все, помолчали.

— Погодка-то нынче, а?

— Да.

Околоточный подошел к стене и с нескрываемым интересом стал рассматривать картину, изображавшую "Бабушкины сказки".

— Вы бы присели!

— Благодарю вас. Прекрасная картина!

— Да.

Околоточный сел и потер руки.

— Ну, как дела, молодой человек?

Царапая ногтем спинку кресла, Мишка застенчиво ответил:

— Благодарю вас. Ничего.

Околоточный подергал головой, вскочил с кресла и опять подошел к картине.

— Масляными красками?

— Нет, премия к "Ниве".

— Ага! Так, так. Хороший журнальчик.

— Да.

— Престранная вещь у нас вчера в участке случилась: привезли какого-то пьяного, а он по-русски ни слова.

— Поди ж ты! Иностранец, значит, — догадалась мать. — Мишка! По рукам получишь!

— Вы, молодой человек, тово... маменьку слушайтесь. Они вас кормят.

Мишка в паническом ужасе посмотрел на околоточного и прошелестел:

— Я... Слушаюсь.

— Эти картины вообще вещь превосходная. Заплатил семь рублей в год — и Салтыкова тебе какого-нибудь дадут двенадцать книжек, и украшение для гостиной.

— Да.

— В этом году какое приложение дают?

— Не знаю. Мы теперь перестали выписывать.

Околоточный встал и потрогал рукой картину.

— Совершеннейшие масляные краски. Даже удивительно.

Он вытер холодный пот со лба и застегнул верхнюю пуговицу мундира.

Сел и снова ее отстегнул.

— Вы, может быть, посмотрели бы, как мальчик занимается?

Околоточный даже икнул от радости.

— Да, да! Это очень интересно.

— Пойдемте в его комнату!

Все встали и пошли через темный коридор.

Идя впереди, околоточный попал в самый конец коридора и когда открыл преграждавшую ему дальнейший путь дверь, то сейчас же отшатнулся и быстро ее захлопнул.

— Не сюда! Здесь не хорошо, — предупредил отец, а Мишка сзади тихонько хихикнул.

Вошли в небольшую комнату Мишки и сели. Мать села на кровать с таким расчетом, чтобы можно было ногой незаметно пододвинуть вглубь какую-то вещь, которая, поместившись на виду, могла своим видом шокировать благовоспитанный глаз.

Околоточный обвел глазами комнату и с тайным ужасом заметил, что стены были без картин, совершенно голые.

Он обратил свое внимание на стол, закапанный чернилами. Взял истертанный атлас и стал его внимательно перелистывать.

— Америка... А ну, молодой человек, покажите, где здесь город... Трансвааль, что ли?

Мишка придвинулся к столу и уверенно сказал:

— Трансвааль на три страницы дальше: в Африке.

Околоточный насильственно улыбнулся и неумело подмигнул.

— Ишь ты! Вас не поймает... Я-то знал, а вот хотел вас подвести.

И соврал. Решил, на всякий случай, запомнить.

— А историю вы знаете?

— Древнюю или новую?

— Ну да, поновее что-нибудь... Как звали, например, того царя, у которого из живота дерево выросло?

— Это не у него, а у его мамы. Снилось ей. Его звали Кир.

— Вот, вот. А то, представьте, — обратился он к отцу, — был еще такой чудак: взял и высек плетью море. Как вам это понравится?

— Да, вообще... Комичные эти греки были.

Околоточный передвинул чернильницу и спросил Мишку с неожиданной строгостью:

— А Берлин где?

— В Германии.

— Молодец! Ловко угадал. Ну, ты учись тут, слушайся родителей, а я пойду.

Все сразу повеселели.

Отец пожал уходившему руку, а мать приветливо спросила:

— Чаю не хотите?

— Нет-с, не пью, то есть уже пил. Всего лучшего.

Стоя на улице, околоточный долго вытирал платком лоб и щеки и злобно озираясь.

Потом, увидя проходившего мороженщика, набросился на него.

— Морроженое продаешь, пракалия?! Кричишь, мерзавец?! За нарушение тишины, знаешь...

И, закусив белыми зубами губу, он ударил мороженщика в ухо.

СПЕРМИН

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы.

Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка обирачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

— Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

— Интересная газета!! Бурное заседание Государственной Думы!!

— Врешь ты все, брат, — брезгливо говорил прохожий. — Ну, какое там еще бурное?..

— Купите, ваше сиятельство!

— Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкапываясь под извозчиков и, хрипло стеноя, кричал:

— Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!! Купите, сделайте милость!

И жалко их было, и досадно.

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыгнуло живительным летним дождиком.

Негодованию газет не было предела.

— После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума наконец проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил такой скандал, подобного которому еще не бывало... Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего... Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами и потом, схватив стул, разбил голову депутату Рыбешкину. Когда же наконец прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, так как ободрит других и подвинет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ — суд и лишение депутатского звания!

Газетчики уже не бегали, стеная, за прохожими. Голосное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

— Какой Карнаухий? Что ему надо? — поморщился издатель. — Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издательское лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

— Ха-ха-ха! — раскатился издатель неожиданным хохотом.

— Хо-хо-хо! — затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

— Хи-хи-хи!

— Го-го-го!

— Хе!

— Гы!

— Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

— Чего ж ловкач... Как условлено, так и сделано.

Доне муа того кельк-шозу, который в той железной шикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

— Как условлено?

— А то ж!

Издатель встал, открыл шкафчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

— Эге! Да тут четвертной не хватает!

— А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово... Я честный — получай полностью! А раз не показал — согласись сам, брат Карнаухий...

— Да их никого и не было в ложе.

— Ну, что ж делать — значит, мое такое счастье!

Карнаухий крикнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

— Постой, брат, — остановил его издатель, потирая лоб. — Ты ведь, тово... Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат... Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

— Так я его лучше просто отдую, — добродушно сказал Карнаухий.

— Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль — это дело благородное, а то — черт знает что — драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

— Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

— Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай... Подойди, например, к нему и привяжись: "Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристка!" Можешь толкнуть его даже.

— А ежели он не обидится?

— Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...

* * *

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухова.

Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

— Только ради Создателя — чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали... Они меня съедят.

— Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

— Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухова на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

— Тоже кормитесь, черти?!

ОКТАБРИСТ ЧИКАЛКИН

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюги с целью сообщения избирателям результатов деятельности его, Чикалкина, в Думе — не может быть разрешено.

— Почему? — спросил изумленный Чикалкин.

— Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!

— Так вы бы и разрешили!

Околоточный снисходительно усмехнулся.

— Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.

— Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, — сказал, подумавши немного, Чикалкин.

— Так-то оно так, — ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. — Да как же его разрешить, если оно пока что — неразрешенное? Посудите сами.

— Хорошо, — сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. — Мы внесем об этом в Думе запрос.

— Распишитесь, что приняли к сведению, — хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

— Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно!! Запрос надо формулировать так: известно ли... И тому подобное, что администрация города Битюга своими не закономер...

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

— Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр... А что такое ошибочные? Ошибка — не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я в самом деле, дурак... Запрос! Запрос! Не буду же я его один вносить. А фракция — вдруг скажет: несвоевременно! Ну, конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру такое официальное письмо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

— Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

— ... что произвол властей...

В столовой гулко пробило половину третьего.

— ... что произвол властей, которые...

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

— ... что произвол властей, которые...

Стало смеркаться.

— Которые... произвол, котор...

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

— А что, если...

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

— Положим... Не может быть!.. А вдруг!

Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и наконец, всплеснув руками, сказал:

— Ну, конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае — припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

— Извозчик! К исправнику! Знаешь?

— Господи! — с суеверным ужасом сказал извозчик, — да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня

обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не зная! Скажут такое.

— Что же он — строгий? — спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

— Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить — строгий человек. И — и! Порох! Чиновник мне один анадьсь сказывал... Ему — слово, а он сейчас ножками туп-туп, да голосом: в Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!

— Что ж он — всех так? — дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

— Да уж такие господа... Строгие. Если что — не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

— Ты меня куда везешь-то? — неожиданно спросил он извозчика.

— Дык сказывали — к господину исправнику...

— Дык сказывали! — передразнил его Чикалкин. — А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю — вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

— Да, брат, заговорил Чикалкин, немного успокоившись. — В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики... ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция — ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

— Старался, как лучше.

— Могу я видеть пристава? — спросил Чикалкин, входя. — То есть... господина пристава? ...можно видеть?

— Пожалуйста.

— Что нужно? — поднялся навстречу Чикалкину грузный мужчина с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

— Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога?

— Э, черт! — отрывисто вскричал пристав. — Шляются тут по пустыкам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.

Учитель истории Максим Иванович Тачкин сидел, склонив голову к журналу, и тихо зловеще перелистывал его.

— Вызовем мы... ну, хотя бы... Синюхина Николая!

Синюхин Николай побледнел, потупил голову, приблизился к кафедре и открыл судорожно искривленный рот.

— Ну-с? — поощрил его Тачкин.

— Я урока не знаю... — смотря в окно, испуганно заявил Синюхин.

— Да? — наружно удивился Тачкин. — Почему? Не можешь ли ты мне объяснить?..

Синюхину Николаю нужно было бы объяснить, что система "от сих до сих" и "повторить то, что было задано в прошлую среду" — настолько сухая система, что она никак не могла заинтересовать Синюхина. Мог бы Синюхин сказать и то, что он пытался несколько раз вчитаться в книгу, несколько раз начинал "от сих", но сухие, не будившие пылкого воображения факты путались в голове, рассыпались и своей ненужной громоздкостью мешали Синюхину добраться "до сих", до этих милых, манящих каждого прилежного, зубрящего ученика своим уютом и грядущей свободой — "сих".

Синюхин не хотел откровенничать с учителем.

— У меня голова болела... мама захворала... в аптеку бегала...

— Ой-ой-ой, — засмеялся Тачкин. — Как много! А поставлю-ка я тебе, Синюхин Николай, единицу. А?

Он посмотрел внимательно в лицо ученику Синюхину и, заметив на нем довольно определенное, лишенное двусмысленности выражение, отвернулся и задумался...

— Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он — на моем.

Держа под мышкой журнал, в класс вошел ученик Николай Синюхин и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными, испуганными лицами, на ученических партах.

Ученик Николай Синюхин опустился на стул, развернул журнал и, помедлив одну зловещую минуту, оглядел ряд сидящих лиц в вицмундирах с блестящими пуговицами...

— Ну-с, — сказал он. — Кого же мы вызовем?.. Разве Ихментьева Василия?..

Учитель географии Василий Павлович Ихментьев съехался, обдернул вицмундир и робко приблизился к кафедре.

— Ихментьев Василий? — спросил ученик Синюхин, оглядывая учителя. — Гм... Должен сказать вам, Ихментьев Василий, что ваше поведение и успехи меня не радуют!

— Почему же? — оторопев, спросил учитель. — Почему же, Николай Степанович? Кажется, я стараюсь...

— Да? — иронически улыбнулся Синюхин. — Стараешься? Я бы этого не сказал... Видите ли, г. Ихментьев... Я человек не мелочный и не придерусь к вам из-за того, что у вас вон, сейчас, оторвана одна пуговица вицмундира и рукав измазан мелом... Это пустяк, к науке не имеющий отношения, и мне до сих пор стыдно за то время, когда за подобные пустяки виновные наказывались уменьшением отметки в поведении. Нет! Не то я хочу сказать, Ихментьев Василий... А позвольте спросить вас... Как вы преподаете?! Как вам не стыдно? Ведь вы получаете деньги не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроки в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову нейдет...

— Я не буду... — тихо пролепетал учитель. — Это... не я... Я не виноват... Это Тачкин Максим приглашал меня к себе на винт... Я не хотел... а это он все.

Синюхин сердито хлопнул своей крохотной ладонью по кафедре.

— Имейте в виду, господин Ихментьев, что и шпионства, предательства и доносов на ваших товарищей не допущу! Я не буду этого поощрять, как поощряли это в свое время вы. Стыдно-с! Ступайте на свое место и поразмыслите-ка хорошенько о вашем поступке. Тачкин Максим!

— Здесь! — робко сказал Максим Иванович.

— Я знаю, что здесь. Пойдите-ка ближе... Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас, будто бы вы подбивали его играть в карты. Может быть, это и было так, но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу мешаться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый внешкольный надзор за учителями — я стою выше этого! Но должен вам заявить, что ваше отношение к делу — ниже всякой критики!

— Почему же, Николай Степанович, — опустил голову учитель Тачкин. — Кажется, уроки я посещаю аккуратно.

— Да черт с этой вашей аккуратностью! — нервно вскричал Синюхин Николай. — Я говорю об общем отношении к делу. Ваша сухость, ваш формализм убивают у учеников всякий интерес к науке. Стыдитесь! У вас такой интересный, увлекательный предмет — что вы из него сделали? История народов преподается вами, как какое-то расписание поездов. А почему? Потому, что вы не учитель, а сапожник! Ни дела вашего вы не любите, ни учеников. И, будьте уверены — они народ чуткий и платят вам тем же... ну, скажите... что вы задали классу на завтра?

— От сих до сих, — прошептал Тачкин.

— Да, я знаю, что от сих до сих! А что именно?

— Я не... помню.

Лицо Синюхина Николая сделалось суровым, нахмуренным. Он сердито вскочил, стал на цыпочки, дотянулся до уха учителя и, нагнув его голову, потащил за ухо в угол.

— Безобразие! — кричал он. — Люди в футлярах! Формалисты! Сухари! Себя засушили и других сушите! Вот, станьте-ка здесь в углу на колени — может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову... А завтра пришлите ваших родителей — я поговорю с ними!

Стоя на коленях и уткнув голову в угол, учитель истории Максим Иванович Тачкин горько плакал...

"Если единица, — думал он про себя, — застрелюсь!"

.....

Тачкин улыбнулся себе в усы, поднял от журнала голову и сказал, обращаясь к угнетенному единицей растерянному Синюхину Николаю:

— Так-то, брат Синюхин. Поставил я тебе единицу. А если мое поведение тебе почему-либо не нравится — можешь и ты мне поставить где-нибудь единицу.

Класс засмеялся удачной шутке.

Учитель поднял голову и устало сказал:

— Молчать! На следующий урок — повторите то, что было задано в прошлую среду.

Где-то ликуяще прозвонил звонок...

ЗВЕРИНЕЦ

— К вам можно? — повторил я через запертую дверь.

— Кто такой? — послышался изнутри сердитый старческий голос.

— Это я, Михаил Осипович, — пустите. Я вам ничего дурного не сделаю.

Дверь, защелкнутая на цепь, приотворилась, и на меня глянуло испуганное, злое лицо Меньшикова.

— Да ведь вы небось драться пришли? — недоверчиво прохрипел он.

— Чего же мне драться... У меня и палки нет.

— А вы, может, руками... а?

— Нет, руками я вас не буду... Право, пустите. Я так, поболтать пришел.

После долгого колебания Меньшиков снял цепь и впустил меня.

— Здравствуйте, коли пришли. Не забываете старика — хе-хе...

— Где вас забыть!

Он привел меня в большую холодную гостиную, с застоявшимся запахом деревянного масла, старой пыли и какой-то мяты...

Мы сели и долго молчали.

— Альбомик не желаете ли посмотреть? — придвинул он мне книгу в кожаном переплете, с оторванными застегками.

Я развернул альбом и наткнулся на портрет какого-то унылого человека.

— Кто это?

— Большой негодяй! Устраивал сходки разные... Да — шалишь, — сообщил я кому следует... засадили его.

— Гм... А этот?

— Морской чиновник? Вор и растратчик. Я в одной статье такое про него написал, что вверх тормашками со службы полетел.

— Это вот, кажется, очень симпатичное лицо...

— Какое! Бомбист, совершеннейший бомбист! Школьным учителем был. Он, правда, бомб еще не метал, но мог бы метать. Ужасно казался мне подозрительным! В Якутской области теперь.

— А этот?

— Этот? Просто мерзавец. Вот тут еще есть — жид, зарезавший отца, поджигатель, два растлителя малолетних... а эти — так себе, просто негодяи.

Он закрыл альбом и, прищурившись, ласково сказал: — Может, вы свою карточку дадите, а? Я бы вставил ее в альбомчик.

— Гм... после разве, когда-нибудь.

Он сидел со сложенными на животе руками, молча, с любопытством, поглядывая на меня.

Потом встал, оправил лампадку и, вытирая замаслившиеся руки о волосы, спросил скрипучим голосом:

— Небось бомбы все бросаете?

— Нет, не бросаю. Чего же мне их бросать...

— Нынче все бросают.

Узнавши, что я бомб не бросаю, он повеселел и, скорчив лицо в улыбке, хлопнул меня по колену:

— Так уж и быть!.. Показать разве вам мой зверинец?!

Я удивился.

— Зверинец? Разве вы так любите животных?

— Хе-хе... У меня особый зверинец... Совершенно особенный!

Взявши связку ключей, он подмигнул мне и повел через ряд пустынных холодных комнат, с тем же запахом.

— Вот мой зверинец, — сказал он, скаля беззубый рот в подобие приветливой улыбки и открывая ключом последнюю дверь.

В небольшой комнате сидели за столом и играли в "шестьдесят шесть" трое мужчин и одна женщина.

— Ну, как вы тут, ребята? — сказал Меньшиков, подозрительно осматривая всех и похлопывая по ноге откуда-то взявшимся арапником.

— "Раскаившийся рабочий"! "Раскаившийся рабочий"! Ты опять пьян, мерзавец?! — закричал он вдруг, вглядываясь в лицо человека с красным носом и слезящимися глазами. — Ты чего смотрела, "Дама из общества"? А ты, "Осведомленное лицо с Кавказа", — шампур тебе в глотку?! Дармоеды! Всех выгоню!!

Кавказец, в истасканном бешмете, встал и, почесав грязной рукой за ухом, хладнокровно сказал:

— Зачем кырчать? Ему водкам давал "Мужичок из деревни".

"Дама из общества" строила мне уже глазки и, подойдя бочком, спросила:

— Парле ву франсе?

— Пошла, пошла, старая грешница, — закричал на нее Меньшиков, грозя арапником.

Потом, видя, что я с удивлением смотрю на всю эту сцену, он мне объяснил.

— Это, видите ли, зверинец. Для статей держу этих дармоедов... Вдохновляют меня. Тут они не все... Некоторых гулять я отпустил. Здесь вы видите "Мужичка из деревни", "Раскаявшегося рабочего", "Осведомленное лицо с Кавказа" и "Даму из общества".

— Она в самом деле из общества? — спросил я, поглядывая на ее толстое накрашенное лицо.

— Да, я ее взял из общества спасения от разврата падших женщин. Дом она какой-то на Лиговке содержала. А это вот — "Мужичок из деревни". Пьяница, каналья и, как напьется, колотит "Даму из общества".

— А "Осведомленное лицо с Кавказа"?

— У Макаева шашлык жарил. Я его к себе сманил. Правильный парень. Тараска! Что нужно жидам делать?

— Резать! — завизжало "Осведомленное лицо".

— Видите!.. Ты куда, мерзавец! Отдай им бумажник!

Он хватил арапником по руке "Раскаявшегося рабочего" и, отняв у него появившийся откуда-то мой бумажник, возвратил его мне.

— Вы с ним поосторожнее. Что ни увидит, негодай, все сопрет. Часы целы ли?

"Дама из общества" тайком ущипнула меня за руку, а "Осведомленное лицо с Кавказа", заметив это, скрипнуло зубами и положило руку на рукоять кинжала.

— Пойдемте! — сказал я.

Меньшиков подмигнул мне и сказал:

— Роман тут у них... Но "Дама", кажется, флиртует, кроме того, с "Мужичком из деревни". Впрочем, пойдемте. Воздух у них тут... действительно!

Мы вышли.

Я стал прощаться.

Провожая меня, Меньшиков лукаво подмигнул и сказал:

— А ведь давеча соврали-то, а? Хе-хе... Бомбочки-то ведь бросаете? Ну, сознайтесь!

Боясь сознаться, я поспешно вышел.

ПУТАНИЦА

Радостный трезвон праздничных колоколов — самая предательская вещь... Я не знал ни одного самого закоренелого злодея, который устоял бы против радостного перезвона праздничных колоколов... Были случаи, когда такого закоренелого злодея пытали, мучили, желая вы-

рвать у него хотя бы словечко правды о его преступлении — он молчал, будто воды в рот набравши... Но стоило только радостно и празднично зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою молодость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обещался вести новую жизнь.

Иногда его даже и за язык никто не тянул — признаваться. Но стоило только потянуть за язык колокола — преступник, без промедления, вспоминал свою молодость и каялся во всем, разливаясь в три ручья.

Таково уж странное свойство праздничного перезвона.

Старый провокатор, носивший партийное прозвище — Волк, сидел в своей большой неудобной комнате и тревожно прислушивался к радостному перезвону праздничных колоколов.

Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, маленького, чистенького, в церковь, и этот перезвон — мучительно радостный и ожидательно-праздничный.

И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о своем падении в пропасть предательства — сердце его сжалось и на глазах выступили слезы...

А колокола радостно гудели:

— Бом-бом! Бом-бом!

— Нет! — простонал провокатор. — Больше я не могу!.. Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить! Пойду и признаюсь во всем — пусть делают со мной, что хотят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах.

Он оделся и вышел из дому.

Идя по улице, Волк бормотал себе под нос:

— Пойду прямо в полицию и расскажу все начистоту: как выдавал революционерам ее тайны и как я однажды стянул со стола полковника предписание об обыске у своего знакомого эсера. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть делает со мной, что хочет!..

— Бом-бом! Бом-бом! — радовались колокола.

По мере приближения к дому полковника шаги Волка все замедлялись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.

Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.

— Куда я иду? — думал он. — Разве мне сюда нужно идти каяться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товарищей? А они мне доверяли... Ха-ха! Туда и иди, старый Волк! Перед ними и кайся!

Взор его просветлел.

Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторону, по направлению конспиративной квартиры товарища Кирилла.

— Приду и прямо скажу: так и так, братцы! Грешник я великий, за деньги продавал вас — простите меня или сделайте со мной, что хотите.

Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком. Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квартиры товарища Кирилла.

— Приду и скажу, — бормотал Волк. — Обманывал я вас!.. И полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже больше.

Он замедлил шаг, остановился и задумался.

— Гм... Ведь если я полицию больше обманывал, я перед нею и должен каяться. Ей я и должен признаться, что вел двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, — она исполняет свои обязанности. Бедненький полковник... Сидит теперь дома и думает: "Вот придет Волк, парочку сведений принесет". А я-то!

— Бом-бом! Бом-бом! — разливались колокола.

Волчьи глаза увлажнились слезами.

Он решительно повернул и пошел назад.

— ...Сидит он и думает: "Придет Волк, принесет парочку сведений". Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах картинки... Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопались. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедулил вас Волк!

Он вздохнул.

— А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали — свой, а я... Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.

"Бом-бом! — ревели колокола. — Покайся, Волк! — Бом-бом!"

Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.

— Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?

* * *

К Кириллу Волк не зашел.

Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущей души своей, и долго стоял так Волк на распутье:

— Куда идти?

И не знал.

Мимо него быстро прошел человек, лицо которого показалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:

— Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!

В Волке проснулись профессиональные привычки.

— Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!..

Неужели...

Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:

— А, Волк! С праздником вас.

Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.

— Вы... тоже сюда?

— Да, — сказал Волк, а про себя подумал: — Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед Кириллом.

Он переступил с ноги на ногу и сказал:

— Видите ли, Мотя. Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе... для пользы дела!

— Вот и прекрасно! — обрадовался Мотя. — Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!

Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.

— Эге! — подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлопнул Мотю по плечу.

— К черту уловки и хитрости! Я вижу — вы парень ой-ой какой! Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.

— Ха-ха! — закатился хохотом Мотя. — То-то! Сооб-
разили.

Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза
опять блеснули, погасли.

— Господи! — подумал, растерявшись, Волк. — Ниче-
го я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он
гласно работает на отделение? С другой стороны... Гм...

Мотя раздумывал тоже.

Так они долго стояли, в недоумении рассматривая
друг друга.

— Пойди-ка, влезь в его душу, — думал растревожен-
ный Волк. — Ну, времечко!

— Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, — до-
садливо размышлял Мотя. — Ну, времена!

Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг
другу, пожали руки и разошлись. — Мотя наверх, по
лестнице, а Волк на улицу.

Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: коло-
кола перестали звонить.

— Ага! — облегченно подумал Волк. — То-то и оно.
А то — каяться!

Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и,
вызвав его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что
он шатается по конспиративным квартирам и что за ним
надо наблюдать.

А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и гово-
рил, опасливо озираясь:

— Подозрителен ваш Волк... Шатается к полковнику
и, вообще, не мешало бы за ним наблюдать!..

II

Около искусства

ТРУХА

Это было самое веселое, оживленное место предпраз-
дничного рынка... Лавчонка, маленькая, полутемная бы-
ла битком набита покупателями, а на улице у входных
дверей стоял бойкий, крикливый мальчишка и зазывал
еще новую публику:

— Пожалуйста! — кричал он, раскрывая рот так, что
углы губ касались концов его громадных ушей. — Эй!

К нам пожалуйте! Очень даже прекрасные привидения,
покойники, девочки на всякий рост, бесприютные собач-
ки-с! Громадный выбор занесенных снегом странников,
волки-с. Только у нас настоящие волки! Эй!

А в лавчонке крику было еще больше.

Приказчик, держа в правой руке за шиворот что-то
длинное, одетое в белый саван, с деланным изумлением
кричал:

— Это-с, по-вашему, не привидение?! А что же это
тогда, по-вашему, такое, если не привидение? Который
год торгуем — никогда не было, чтоб сумлевались! Вы,
вероятно, ваша милость, не видели никогда настоящего
привидения, потому такое и говорите!

— Да оно... не страшное! — робко возражал покупа-
тель и косился на фигуру, беспомощно болтавшуюся
в мужественной руке приказчика.

— Это не страшное? — изумлялся приказчик. — Да
какие ж тогда страшные бывают?! Обратите внимание на их
личико: мертвецкая бледность и глаза, как свечи. Вот эту
кнопку только нажать... А голос! Извольте прислушаться!

Приказчик нажал рукой спину привидения. Оно за-
скрипело и, захопав ртом, проревело:

— Ищи документы, раскрывающие тайну твоего рож-
дения — на чердаке, в двойной крышке старого сундука!

Рот захлопнулся, глаза потухли и фигура безжизненно
повисла в приказчиных руках.

Покупатель призадумался.

— Ничего... Слова хорошие. Из них можно что-ни-
будь сделать... Гм... Тайна рождения... Заверните!

— Браку не надо ли? — спросил приказчик, заворачи-
вая покупку.

— А что у вас за брак?

— Чиновник один. Раскаивался в ночь под Рождество,
что выгнал больную жену с ребенком. А они как раз
и пришли в эту ночь, под видом нищих.

— Ну?

— Ну, вот. А мальчишка наш лавочный, что орет
сейчас у дверей, чтоб ему пусто было — вынул чиновника
из коробки, да и отвертел ему голову. Согласитесь — не
может же жена возвращаться к безголовому чиновнику.
Целый набор испортил, негодяй. Возьмите! Дешево бы
отдал...

— Да куда ж он мне?..

— Ну, можно что-нибудь такое... Жена могла бы
держать корчму, пользующуюся дурной репутацией,

а муж тоскует по ней и приезжает в рождественскую ночь, желая сделать сюрприз. Его не узнают и убивают. И только после, по отрезанной голове, с которой ей дали поиграть, дочка узнает черты своего любимого папы. Прекрасный сюжет!

— Пожалуй! — сказал покупатель, раздумывая. — Я в провинцию пошлю, куда-нибудь. Там это любят. Только вы и голову не забудьте положить.

— Помилуйте-с — все здесь, в коробке. Прикажете сверху выюги положить? Копеек на тридцать.

— Разве у вас теперь выюга отдельно продается? — удивился покупатель.

— Да-с. Лучше комбинируется. Можно чиновника — и выюгу, заблудившегося мальчика и — выюгу. Почти что она везде идет.

— Тогда посыпьте чиновнику на двугривенный. Да мне отдельно дайте немножко. Можно просто стихотворение в прозе о выюге сделать. Благодарю вас.

* * *

В лавку вошла дама в очках.

— Здравствуйте! Позвольте мне одного замерзающего мальчика. Поменьше только и похуже одетого.

— Не держим-с, — вздохнул приказчик. — Погоды нынче, как назло, теплые, а товар скоропортящийся.

Дама растерянно посмотрела на приказчика.

— Тогда, может быть, найдется девочка на улице, прильнувшая к оконному стеклу, за которым елка?

— Продали-с. Была одна прильнувшая девочка, и ту для детского журнала взяли. Много не держим — потому из моды выходит. Из новенького чего не пожелаете ли: палач, вешающий родного племянника, экспроприаторы, нападающие в рождественскую ночь на усадьбу, раскаявшийся губернатор. Много теперь идет.

— Что-нибудь с волками нет ли? — спросила дама.

— Пожалуйте-с: охотник в лесу и волки, испугавшиеся праздничного колокола; прохожий и волки; заброшенная усадьба и волки; тройка лошадей и волки. Прикажете завернуть?

— Дайте с заброшенной усадьбой. А старые преданные слуги у вас не продаются отдельно? Я бы взяла одного.

— Сделайте одолжение. Только я бы, мадам, посоветовал вам лучше слугу с тройкой взять. А волков

отберете отдельно. Усадьба тоже у меня случайная осталась, — от экспроприаторов. Один покупатель экспроприаторов забрал, а усадьбу, на которую нападают, оставил. Совсем бы задаром.

* * *

Высокий, представительный беллетрист, обладатель известного имени и целой тучи забранных всюду авансов, стоял у прилавка и безнадежно оглядывал наваленных в беспорядке привидений, волков и экспроприаторов, которых сразу можно было узнать по зверским, размалеванным красным лицам и громадным пистолетам, заткнутым за пояс.

— Все у вас, почтеннейший, — грустно говорил беллетрист, — одно и то же... Те же волки, раскаявшиеся старики, обсыпанные выюгой, и разные бездомные женщины.

Приказчик развел руками и сказал извиняющимся тоном:

— Трудновато для вас подобрать. Так, мелюзга какая — все берет. С руками рвут. Из провинции какой приедет, так он и привидение возьмет и прохожего старика. Усадьбу с экспроприаторами увидит, и ту возьмет. Волков ему предложишь — и волками не побрезгует. И волков-то дашь ему старых, облезлых, с одышкой. А уж до выюги как доберется, — дорвется до дешевки, — так всю покупку запорошит, то и не разберешь — где усадьба, где волк! Простой народ. Вам, конечно, этого не предложишь.

— Из новенького нет ли чего?

— Особенно — нет. Рождество под тропиками, унесенные льдиной в святую ночь, палач, вешающий племянника. Предложить вам разве рождество на дирижабле?

— Фу, какая пошлятина! — поморщился беллетрист. — Нельзя ли что-нибудь из очень старого? Такого старого — что уже основательно надоело и забыто. Можно стилизацию сделать.

— Спущусь в погреб, пороюсь, — вздохнул усталый приказчик. — Там такое есть, что сорок лет не ворошили.

Через десять минут приказчик вылез с запыленной, облезлой коробкой и бросил ее на прилавок.

— Не подойдет ли? Самая старинная вещь. Антик-с.

— Что это такое? — брезгливо поморщился беллетрист, оглядывая коробку.

— Девица в заброшенной бане, гадающая на суженого, который в безвестной отлучке. Вот-с — свечи, два

зеркала, девица... Это гроб, который отражается. Делается это просто, вот так: сюда — зеркала, тут свечи... девицу садим на эту скамеечку. Теперь стоит только выдвинуть из зеркала этот гроб — трах! Девица падает. Ее находят в обмороке утром, на следующий день. Потом горячка, почтальон, письмо, извещающее о смерти жениха. Старина-матушка! Возьмите!

В глазах писателя читалось колебание...

В лавку вошел высокий, худой гимназист с красными, как гусиные лапы, руками и густо рассыпанными по лицу веснушками. Глаза его смущенно бегали по непривычной обстановке, а сам он робко жался к дверям и говорил страшным силным, искусственным басом.

— Нет ли у вас чего для рождественского рассказа? Чтоб недорогое.

— Митька! — крикнул приказчик мальчику. — Покажи им бездомную собачку.

— Нет ли... странника замерзающего? — робко спросил гимназист, умоляюще смотря на приказчика.

— Нет, — сухо отвечал приказчик. — Берите или бездомную собачку, которая ходит под Рождество по улицам, или — елочку, которую срубили для детей и которая тоскует по родному лесу.

Митька повел гимназиста в угол и стал открывать перед его носом маленькие коробочки.

— Вот бездомная собачка. Видите — подавишь ее — она визжит! А это тоскующая елочка.

— А прильнувшей девочки нет? — шепотом спросил гимназист.

— Вышли. Да берите собачку — чего там! Можно огромный рассказище написать. Вьюги дам на три копейки.

Мальчишка завернул гимназисту бездомную собачку, отщипнул от куска клочок вьюги, грязный, уже начавший подтаивать, и сказал:

— Этой штукой перед употреблением посыплете собачку. Сохранять в холодном месте. До свиданья-с.

Беллетрист, следивший с улыбкой за этой сценой, вдруг засмеялся и сказал приказчику:

— Знаете? Я куплю у вас эту собачку и этот кусочек вьюги, но только — вместе с гимназистом.

— Для чего вам? — изумился приказчик.

— Да я из этого прекрасную вещь сделаю: "Первый рождественский рассказ". Гимназист, сочиняющий свою первую вещь, — это прелестно!

— Да как же я собачку... с гимназистом продам? — спросил приказчик.

— Да что ж такое! Заверните их вместе и вынесете на извозчика. Подумаешь — церемониться с гимназистом!.. Никто и не узнает.

— Слушаю-с!..

В лавку ввалилась хохочущая компания.

Один из компании наступил беллетристу на ногу, поставил лежащее на прилавке привидение вверх ногами, к великому веселью товарищей, и крикнул:

— Эй! старичок! Покажи нам свою дребедень!

— Это не дребедень, — обиженно возразил приказчик, — а прекрасные сюжеты для рождественских рассказов. Прошу не держать привидения вниз головой.

— Кто это такие? — спросил беллетрист шепотом.

— Юмористы. Пустейшая и беспардоннейшая публика. Придут, перевернут все, осмеют и почти ничего не купят. Прежде юморист хороший был... Солидный. Придет — дай ты ему пьяного визитера, перепутавшего знакомые дома, или чиновника, который не получает ожидаемого ордена, или загулявшего купца. Основательный был юморист. А теперь рассобачились. Эй, господин, господин! Нельзя так делать... Что же вы в одну коробку суετε и пожар усадьбы, и замерзшего странника, и детскую елку...

Компания забавлялась тем, что посадила призрака верхом на замерзающего странника и заставила их плясать перед елкой, взявшись за руки со страшными экспроприаторами и худыми рождественскими волками.

Потом свалили все это в кучу и, найдя коробку вьюги, стали с хохотом бросать ее горстями друг другу в лицо.

Я вошел в лавку, обвел всех присутствующих взглядом и сказал приказчику:

— Пришел к вам за сюжетом...

— Сделайте милость! — вежливо изогнулся он. — Что прикажете: палача, вешающего племянника, вьюгу с волками, пожар усадьбы, призрака...

— Старый дуралей! — обиженно закричал я. — Неужели ты не понимаешь, что мне этого мало?! Я беру все сразу: усадьбу, экспроприаторов, вьюгу, беллетриста, племянника, палача, гимназиста, твоих мальчишек, само-

го тебя, всю твою бестолковую рухлядь, и я прошу завернуть мне это в бумагу, чтобы я мог унести домой — с одним-единственным желанием и целью — сжечь весь этот вздор, эту глупую труху раз и навсегда!.. К черту рождественские рассказы!!.

"АПОЛЛОН"

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, — я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета, — сказал приказчик. — Журнал называется "Аполлон", а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется "Аполлон", а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием "Скрежет", то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным "Аполлоном", я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, — Иннокентия Анненского, — называлась "О современном лиризме".

Первая фраза была такая:

"Жасминовые тирсы наших первых мэнэд примахались быстро..."

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины "лиризма", тоже не развеселила меня:

"В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов..."

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи "О современном лиризме"...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: "В ожидании гимна Аполлону".

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

"Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни".

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

"Действительно! — думал я. — Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползает на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу".

Дальше автор говорил:

"Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу..."

"Вот оно! — подумал я. — Начинается!"

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

"О театре".

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра, или актеры будут уравниены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты "на право игры"... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глаzenie на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Анти-смертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозничий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный.

— Напьются, а потом — тирсы!..

.....

АМЕРИКАНЦЫ

Издатель журнала "Северное сияние" Роздеришин и секретарь Бильбокеев составляли объявление о подписке на будущий год.

— С чего начинать-то? — спросил, беря в руку перо, Бильбокеев.

— Ну... как, обыкновенно начинается...

— Обыкновенно начинают так, — сказал опытный Бильбокеев. — "Не прибегая к ширококвещательным рекламам"...

— Это хорошо. Солидно. Только... постойте, дорогой... Что это мы хотим сейчас составить?

— Широковещательную рекламу.

— Ну, вот. А пишем — "не прибегая"... Неудобно.

Бильбокеев подумал.

— Существует еще одно хорошее вступление для такого рода объявлений: "не щадя затрат, наш журнал"...

— Прекрасно! — восхищенно воскликнул Роздеришин. — Именно — "не щадя затрат"... Так и начини же.

Бильбокеев написал "не щадя затрат" и выжидательно посмотрел на издателя.

— Ну-с?

— Что? — спросил издатель.

— Вот я написал — "не щадя затрат", — а что же дальше?

— Да это и хорошо. Что же еще?

— Видите ли.. я написал придаточное предложение. Как вам, вероятно, известно — придаточное предложение само по себе, без главного — существовать не может... Где же главное предложение?

— Чивой-то я не понимаю, — сказал Роздеришин, растерянно смотря на секретаря.

— Ах ты, Господи! Вот мы написали: "не щадя затрат"... Ну, а что же дальше?! Нужно так писать: "не щадя затрат, — мы сделаем то-то и то-то". Ну, вот вы и скажите, на что мы обещаем не щадить затрат? Что это такое — то-то и то-то?

Издатель вздохнул.

— Вот оно что! Дальше можно бы написать, что, мол, "идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков"...

Секретарь приписал несколько слов и прочел вслух:

— "Не щадя затрат и идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков"...

Он остановился.

— Ну-с? А где же главное предложение?

— Неужели главного еще нет? — удивился Роздеришин.

— Конечно! Вот мы не щадим затрат, идем навстречу. А на что не щадим, куда идем?

— Гм... — задумался издатель и даже вытянул губы трубочкой. — Действительно. "Идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков"... А ведь они, черти полосатые, разве понимают — каково издателю? Гм... Что бы им такое дальше вернуть? Разве, насчет окраин?..

— Каких окраин?

— Что, мол, журнал будет уделять большое внимание насущным интересам окраин... Некоторые объявляют так.

— Никанор Палыч! Да ведь это газета может уделять! Какие у нас могут быть интересы окраин? На первой странице какая-нибудь "девочка с яблоком", потом роман "Разными дорогами", опять — "девочка с кошкой", она же, поздравляющая с днем рождения бабушку, "флорентинская цветочница", смесь, и в конце та же проклятая девчонка с собакой, под названием "Два друга". И так — каждый номер. Где ж тут окраины? Нужно одно из двух — или насчет самого журнала размазать побольше — или насчет премий!

— Что ж насчет журнала... Даем мы, как обыкновенно: 52 номера роскошно иллюстрированного журнала, с произведениями лучших мастеров слова на веленовой бумаге...

— Это мы и в прошлом году писали и в позапрошлом... Нужно что-нибудь насчет реформ. Вроде, что: 1910 год будет годом наших реформ!

— Да какие же реформы?.. Рассыльного Мотыку я давно собираюсь турнуть, взять на его место — потолковее...

— Ну, что вы такое говорите, Никанор Палыч! В других журналах, как у людей... Вон "Зарницы" как написали: мы, говорят, не щадя затрат, будем печатать некоторые рисунки по способу "дрей фарбен друк!".

Роздеришин с суеверным ужасом посмотрел на секретаря.

— Господи! Что же это?..

— Трехцветная печать! А у нас все одним цветом жарим... Эйн фарбен друк!

— Голубчик! — сказал издатель. — А вы так и напишите... Что, мол, мы с будущего года будем рисунки печатать эйн фарбен друком.

Бильбокеев рассмеялся.

— Не щадя затрат?

— Не щадя. Можно тут же написать: "идя навстречу".

А?

— Нет, Никанор Палыч — не отвертитесь!.. Придется вам на премии налечь. Что вы предполагали дать?

— У меня тут отмечено: "Альбом красавиц на меловой бумаге — приятное развлечение домашнего очага, полное собрание сочинений знаменитого писателя сороковых годов и книжка портретов членов Государственной Думы"...

Бильбокеев задумчиво качнул головой.

— Недурно. Красавиц штук десять можно дать. Надо в клише порыться. Члены Думы только дорого обойдутся... Фотографии покупать, клише делать...

— Поехали! Может, еще и в три краски печатать? Пороемся в старых клише и довольны.

— Да у нас никаких клише членов Думы и нет!..

— И не надо. Мало ли у нас есть клише, вообще. "Свен Гедин, путешественник по Тибету", "Знаменитый ученый Пастер", "Английский министр колоний", "Убийца президента Карно" — всех можно пустить в дело. Только по бородам подобрать.

— Как... по бородам?

— Да так. У кого из членов Думы борода — ставить клише с бородой, у кого усы — с усами. А что не похожи будут — пустяки. Подумают — нечаянно перепутали. Съедят.

— Разве что так! — сказал Бильбокеев. — А что это за знаменитый писатель сороковых годов, с полным собранием сочинений? У вас там фамилия не указана.

— Да и сам не знаю. Купил на складе по случаю — тысяч двадцать томов какой-то чепуховины, а чьи — так и не посмотрел. Вы уж его там распишете сами.

— Постойте! Мы так и продолжим... Значит: "не щадя затрат и идя навстречу интересам публики, редакция решила дать ряд премий, стоящих в отдельной продаже 27 рублей 55 копеек. 1) "Альбом красавиц". Это изящное издание явится лучшим украшением домашнего очага и своими грациозными формами будет веселить глаз всех любителей женской красоты — лучшего, чем украсила вселенную мать-природа. Перед подписчиком пройдет ряд лучших красавиц, стоящих в отдельной продаже 8 рублей. 2) Полное собрание сочинений знаменитого мастера слова сороковых годов (не забудьте потом фами-

лию вставить), произведения которого до сих пор перечитываются и заучиваются наизусть. Имя это стоит в плеяде наравне с такими мастерами слова, как Пушкин, Белинский и незабвенный русский сатирик Н. В. Гоголь, сквозь слезы смеявшийся над дореформенной Русью и заклеивший своим талантливым пером взяточничество и отечественную косность. 3) Все подписчики, внесшие деньги до первого января, получат роскошное издание "Наши депутаты". Перед читателем пройдет здесь ряд "лучших людей страны", призванных залечить раны и утешить нашу матушку Россию. Всякий может запечатлеть в сердце дорогие черты, внося деньги до первого января (на год 6 руб., полгода 3 руб. 50 коп.).

Бильбокеев перевел дух.

— Хорошо?

— Здорово. О Гоголе метко сказано. Именно что — не щадя затрат! Спасибо.

Роздеришин пожал Бильбокееву руку, а тот ухмыльнулся и сказал:

— Все-таки, я думаю сверху написать: "не прибегая к широковегетельным рекламкам"... А?

ПОДМОСТКИ

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русской бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

— Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

— Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тугопот и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

— Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

— Божжже мой! Божжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил "Божже мой!".

— Ирина, — прошептал он, обращаясь к героине, — у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно даже, если на моих глазах режут человека.

Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине — и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмостков...

* * *

— Можно пройти в уборную Эрастова?

— А вы не сапожник?

— Лично я не могу об этом судить, — нерешительно ответил я. — Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

— Пожалуйте!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

— Ваш поклонник! — отрекомендовался я. — Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

— Очень рад... садитесь!

— Спасибо, — сказал я, оглядывая уборную. — Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

— Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

— Не скромничайте, — возразил я, садясь.

— Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

— Какой старый башмак? — вздрогнул я.

— Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

— Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

— Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая — родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч. Я был ошеломлен.

— Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

— Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб — я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в Н-ом театре, куда она мечтает пробраться...

— Неужели она такая?

— Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей — побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

— Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, — изумился я.

— Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах — Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шляпе украл — его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите — подождите... Я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

— Васки нет? — спросил он благодушно.

— Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться — вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

— Неужели он такой? — удивился я.

— Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах — вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще займы не просил?

— Нет. А что?

— Попросит. Больше десяти рублей не одоужайте — все равно не отдаст. Я вам скажу — он да Лучезарская... В двери послышался стук.

— Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. — Ах, извините! Очень рада познакомиться!

— Ну что, голуба? — приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. — Что он там?..

— Ужас, что такое! — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки вверх. Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

— Бедная вы моя, — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. — Каково вам-то.

— Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю, — вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

— Что вам говорил сейчас этот кретин?

— Он? Так кое-что... Светский разговор.

— Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

— Неужели? — испугался я.

— Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

— Неужели? За что?

— Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним — чистое мучение! Когда он да эта горилла — Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

— Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

— Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастьем с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

— Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил...

— Я это и раньше говорила, — пожала плечами Лучезарская. — Эта роль — главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

— Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

— Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.

— Чего вы толкаетесь, — грубо проворчал я. — Болтают тут руками — сами не знают чего!..

ПРОКЛЯТИЕ

Однажды Леонид Андреев затосковал.

Сначала его забавляли неизвестные молодые люди, приезжавшие к нему по два и по три раза в день, — а потом надоели.

Каждый из них, явившись к Андрееву, уводил писателя в угол и, судорожно вцепившись в пуговицу его бархатной тужурки, подавленным шепотом спрашивал:

— Что вы скажете о мессинском землетрясении?

И он смотрел на Андреева такими испытующими глазами, что тому делалось ясно: неизвестный молодой человек подозревает его в организации и устройстве этого бедствия.

— А что? — тоже подавленным шепотом спрашивал испуганный Андреев. — Я в то время был у себя на даче... и, клянусь вам...

— Нет, я хочу знать, как вы находите это землетрясение?

— Оно... ужасно... неприятно, — неуверенно отвечал Андреев.

— Да? Очень вам признателен. Я так и напишу: Леонид Андреев в дружеской беседе высказал свой ужас и возмущение перед загадочными силами природы, которыми... Очень вам благодарен! Бегу.

И он убежал, уступая место другому молодому человеку, такому же симпатичному и юркому.

Второй молодой человек тоже цеплялся за Андреева, как утопающий за соломинку, и с истерическим любопытством спрашивал:

— Какое ваше мнение о Толстом?

— О Толстом? Великий старик, сделавший...

— Благодарю вас. Очень рад был с вами побеседовать! Я так и напишу: Недавно Андреев в тесном семейном кругу высказал не лишенное оригинальности мнение о Толстом. Толстой, — сказал писатель, — хотя и велик, но его старость и сопутствующие этой поре жизни немощи лишают его возможности дать вещи, подобные незабвенным прежним: "Анне Карамазовой" и "Братьям Карениным". Мерси. Лечу.

Третий молодой человек, стоявший в затылок за вторым, ловким движением ноги отбрасывал второго, уже насытившегося, в сторону и спрашивал Андреева в упор:

— О Метерлинке! Что скажете?

— Метерл...

— Благодарю вас! Я так и сообщу нашим читателям! Я очень рад, что ваше мнение совпадает с моим. Лечу. Привет супруге.

Постепенно все это приелось Андрееву.

— Ах, как бы я хотел развеселиться! — говорил он.

— Господи! — удивлялась жена. — Что же может быть легче! В передней есть еще три молодых человека. Позвать? Может, они тебя развеселят...

Однажды Андрееву пришла в голову лукавая мысль: потихоньку, инкогнито, уехать в Москву и там повеселиться вовсю.

Он остриг волосы, надел черные очки и, взявши чемоданчик, поехал в Москву.

Умылся в номере гостиницы, радостно ухмыльнулся и, довольный собой, зашагал на Тверскую.

Навстречу ему шли две московские барышни.

— Вот Андреев, — сказала одна.

— Леонид, — добавила вторая.

Они остановились и повернули за писателем, смотря на него с изумлением и страхом.

— Идет по улице... — прошептала одна с остолбенелым лицом.

Другая всплеснула руками:

— Смотри, смотри! В калошах... Андреев в калошах!

— Что вам угодно, барышни? — со вздохом спросил Андреев.

— Ай-ай-ай! — взвизгнули обе. — Разговаривает!

И, обезумевши от ужаса, бросились врассыпную.

На Тверскую Андреев не пошел. Накупил газет и, печальный, побрел в свой номер.

В первой газете, которую он развернул, было написано:

— "Передают из достоверных источников, что Леонид Андреев находится в настоящее время в Антверпене. Писателю город очень понравился. Целыми днями его видят гуляющим по набережной и в гавани".

— А надо будет, в самом деле, когда-нибудь, — подумал Андреев, — проехаться в Антверпен. Вероятно, любопытный город.

Отложил первую газету и взял другую.

— "На днях в дружеской беседе Леонид Андреев, — сообщалось во второй газете, — восхищался немецким поэтом Бирбаумом. Он считает его одним из лучших представителей немецкой поэзии".

— Бирбаум... — прошептал Андреев, — странная фамилия. Надо будет почитать что-нибудь Бирбаума...

Встал и, потянувшись, взглянул на часы.

— Ужасно однообразные газеты нынче... Восемь часов... Пойду-ка я куда-нибудь в театр повеселиться.

Вышел, сел на извозчика и сказал:

— Вези меня, братец, в какой-нибудь театр. Смерть, хочется повеселиться. Хе-хе...

— В Художественный? — спросил извозчик.

— Можно и в Художественный. Впрочем, нет, брат. Там идет моя "Анатема". Вези куда-нибудь в другое место. К Коршу, что ли.

Приехав в Коршевский театр, Андреев купил билет и на цыпочках вошел в зрительный зал.

На сцене стоял актер в студенческом мундире, страстно взывая к актрисе:

— Оль-Оль! Я люблю тебя! Посмотри на эти Воробьевы горы...

— "Дни нашей жизни", — разочарованно прошептал Андреев. — Экая незадача!

Неприятная горечь накоплялась в груди и комком подкатывала к горлу.

Он встал, вышел на улицу и сел на другого извозчика.

— Вези меня, голубчик, в какой-нибудь театр, кроме Художественного и Солодовникововского.

— Пожалуйста!

Подойдя к кассе третьего театра, Андреев взял билет и спросил кассиршу:

— А что сегодня идет?

— "Анфиса", Леонида Андреева. Очень хорошая вещь.

Андреев скомкал билет и со стоном выбежал на улицу.

— Есть еще один театр, — сказал он сам себе, — но у меня и пьеса еще одна есть: "Жизнь человека". Я уверен, что наткнусь именно на нее. И еще один есть театр. Но туда не стоит и показываться: там, я знаю, — "Черные маски".

Во взоре его светилось отчаянье.

Громадный равнодушный город катил перед ним тысячные людские волны, громадный город заключал в себе массу развлечений, но — все они были не для него.

— Для всех, кроме него! Ха-ха!

Чем дальше, тем все больше и больше ему хотелось повеселиться... Взгляд его упал на гигантскую огненную вывеску:

— "Синематограф "Moderne".

— Пойду я хоть в синематограф, — подумал несчастный и уныло побрел в иллюминированный подъезд.

Через минуту публика в ужасе шарахнулась от какого-то невысокого черного человека, который со страдальческим воем, расталкивая всех, бросился к выходу.

В синематографе демонстрировали сенсационную картину: "Леонид Андреев у себя на даче. Только самое

короткое время! Леонид Андреев на моторной лодке. Редкое зрелище! Леонид Андреев и Оскар Норвежский за чаем! Леонид Андреев говорит в граммофон. Невозможное стало возможным! Спешите смотреть!"

На лице Андреева застыла мертвенная скука; в глазах виднелось страдание. Он махнул рукой и пошел на вокзал написать жене письмо, — что завтра выезжает обратно.

— Открыточку? — спросила его продавщица в вокзальном киоске. — Вот, пожалуйста... Не желаете ли: Леонид Андреев, последний выпуск.

Андреев, шатаясь, отошел от киоска, опустился на колени и, воздев руки кверху, заплакал:

— Господи! За что ты меня проклял?!

ПЕРНАТОЕ

I

До сих пор мне почти совсем не приходилось думать о жизни африканских дикарей... Занятый своими делами, я совершенно забыл об их существовании и имею основание утверждать, что их отношение ко мне носило такой же характер — полнейшего равнодушия.

В своей жизни я написал целый ряд фельетонов и статей: юмористических, сатирических, ядовитых, полных сарказма и негодования, но едва ли хотя одно мое произведение вызвало на устах африканского дикаря улыбку или заставило его искренно негодовать вместе со мною по поводу все ухудшающейся жизни на нашей бестолковой планете.

Так мы жили: я — сам по себе, а дикари, под палящими лучами африканского солнца, — сами по себе.

Но однажды, когда я сидел в редакции, освещенной электрическим светом, имея перед собой телефон, сзади — шкаф, битком набитый гениальными творениями, а сбоку последние телеграммы, сообщавшие мне о различных событиях в самых последних закоулках земного шара, — мне до боли сделалось жаль несчастных, невежественных дикарей, лишенных не только телефона и шкапа, набитого книгами, но даже простой, дешевой, копеечной вечерней газеты!

— Вот, — сказал я сам себе, — ты сидишь здесь, залитый электрическим светом, сильный, всезнающий культурный человек, а в это же самое время где-нибудь

у истоков Нила жалкий, тупой дикарь, раздираемый когтями свирепого льва, молча страдает и от когтей, и от отсутствия вечерней газеты, и от своей собственной тупости и невежества...

Сердце мое болезненно сжалось, и к горлу подкатил тяжелый ком.

Для журналиста — у меня на редкость добрая, отзывчивая душа и широкое, способное на героизм и самопожертвование сердце.

Целую неделю у меня не выходила из головы судьба африканских дикарей, а еще через неделю — я решил поехать к ним, неся с собой знание, просвещение и истинные культурные начинания, могущие поднять дикаря до меня, всезнающего, разностороннего газетного работника.

Издатель сначала удивился моему решению, потом огорчился, потом выразил опасение — не страдаю ли я тихим помешательством, а потом выдал мне аванс, написал в своей газете, что "редакция, не щадя затрат, решила послать собственного специального корреспондента в Центральную Африку"... и я уехал...

II

Утомившись после длинного дневного перехода под свирепыми лучами центрального африканского солнца, я, вместе со своими проводниками, остановился на ночлег в тропическом лесу, сплошь состоявшем из лиан, змей и голодных назойливых львов.

Не прошло и часу беспокойного, тяжелого сна, как я услышал крики, беготню, возню и, очнувшись, увидел себя схваченным дюжими черными руками нескольких неизвестных мне людей, очевидно, тех самых, которые так страдали от отсутствия вечерних газет.

Не теряя присутствия духа, я с помощью знаков обратился к ним со следующей речью:

— Милостивые дикари! Я, конечно, понимаю, что весь ваш жизненный уклад и дедовские традиции, теряющиеся во тьме прошлых веков, повелевают вам сейчас же без остатка съесть меня, запив чистой ключевой водой. Но я имею мужество сказать, что это будет самым идиотским поступком вашей безграмотной жизни! Вы убьете курицу, могущую нести золотые яйца, уничтожите жемчужину, которая будет самым лучшим украшением

короны вашего короля. Из истории мы знаем один пример такой бессмысленной расточительности — когда царица Клеопатра распустила в укус жемчужину и проглотила эту отвратительную смесь, но ведь это было сделано глупой, истеричной женщиной, а вы — рассудительные, неглупые дикари, с честными, открытыми лицами!..

Известно, что человека можно поймать на самую грубую лесть. Дикари, польщенные моими последними словами и обескураженные указанием на печальную память пример Клеопатры, заговорили что-то на своем чернокожем языке, а потом один спросил меня знаками:

— Если бы мы пренебрегли своими священными традициями и оставили тебя несъеденным, что бы ты мог предложить нам взамен этого акта исключительного милосердия?

— Мне гораздо легче указать вам, — гордо отвечал я, — чего я не могу предложить! Я научу вас всему: ваши вигвамы заальются светом электричества! Книгопечатание поднимет ваш умственный уровень, принципы культурной дипломатии расширят ваши границы, а огнестрельное оружие защитит вас от нападений хищных зверей.

Восторженный крик исторгся из нескольких десятков грудей, и обезумевшие от радости дикари потащили меня к королю, куда-то в глубь девственного африканского леса...

III

Гордо, полный сознания собственного достоинства, стоял я перед чернокожим королем.

— Неужели, ты, один человек, можешь все знать? — изумленно допрашивал меня простодушный дикарь.

— Я журналист! — отвечал я знаками. — Журналисты должны все знать. Наша деятельность требует исключительной разносторонности.

— Что ты считаешь самым главным в жизни человеческой? — спросил меня король.

— Печатное слово.

— Можешь ты научить нас этому?

— Господи! — удивился я. — Ничего нет легче.

— Как же это делается?

— Как?

Все окружающие притаили дыхание. Сам король подался вперед, олицетворяя собой воплощенное внимание.

— Делается это просто: приходит мне в голову какая-нибудь мысль... Я сажусь за стол и излагаю ее на бумаге. Затем зову мальчишку...

— Мальчишки у нас есть. Сколько угодно, — вставил король.

— ...Зову мальчишку и отсылаю в типографию. Там набирают, печатают и потом это рассылается по всему свету!

Глаза короля заблестали восторгом.

— Что нужно для того, чтобы устроить типографию? Из чего она делается?

Я подумал.

— Из... железа.

— Железо у нас есть! Эй! кто там... Дать этому бледнолицему железу, сколько ему понадобится. Пусть десять самых расторопных моих подданных помогают ему.

— Видите ли... — нерешительно сказал я. — Типографские машины бывают нескольких родов: самая сложная — ротационная, для газет, потом бывают плоские, иллюстрационные... Самая простая, так называемая американка...

IV

У моих ног лежала груда разного железа. Меня окружили десять откомандированных мне на помощь дикарей, и все они с рабской готовностью смотрели в мои глаза, ожидая первого жеста, чтобы начать работу.

Я поднял кусок железа и повертел его в руках. Мне часто приходилось видеть типографские машины, но в них было нацеплено столько разных колес, рычагов и винтиков, что я сейчас был в полнейшем недоумении — с чего мне начать.

— Прежде всего, — промямлил я, — мы должны бросить ретроспективный взгляд и проследить дело книгопечатания со времени его возникновения. Один бедный человек, по имени Гуттенберг, родившийся в тысяча... (я пожалел, что со мной не было энциклопедического словаря) да... родившийся несколько веков тому назад, придумал вместо рукописных букв вырезанные из дерева. Сначала они вырезались на целой доске, а потом Гуттенберг стал делать их подвижными...

Я запнулся и, безнадежно опустив голову, умолк.

Толпа дикарей с жадным доверчивым любопытством окружала меня, ловила каждое мое слово, каждый жест, как величайшее откровение...

— Да... вот таким образом и было изобретено Гуттенбергом книгопечатание... Впрочем, господа, прежде чем начинать устраивать типографию, мы должны заняться бумагой. Знаете ли вы, как делается бумага?

— Мы о ней и не слыхивали, — заявил король.

— Неужели?! — вскричал я, с сожалением оглядев дикарей. — Ведь это такой пустяк! Должен вам сказать, что бумага изготавливается из тряпок, тряпки из отслужившей свой срок одежды, одежда из материи, а материя из льна, который — суть растение!

Я победоносно взглянул на ошеломленных дикарей.

Король робко спросил:

— Не можешь ли ты, о, чужестранец, указать мне, какое из растений — суть лен?

Я обвел глазами поросшую травой поляну, но так как, не выезжая всю жизнь из города, никогда не видел живого льна, — то благоразумно ответил:

— Бумагу можно делать также из древесных волокон! Американцы готовят так называемую древесную бумагу. Должен вам сказать, что Америка со времени открытия ее Колумбом сделала большие завоевания в технике... Громадные мосты титанической работы, тресты, захватившие в свою власть всю промышленность...

— Нет, нет, — перебил меня король. — Ты расскажи, как делается бумага из дерева?

— Как? — да очень просто: электричеством!

На лицах дикарей было написано истерическое любопытство.

— Что же это такое электричество? — спросил король. — Можешь ты его сделать?

— Каждый мальчишка в европейской школе проходит физику, — презрительно возразил я. — В жизни культурного человека электричество играет первенствующую роль: по освещенным электричеством улицам то и дело мчатся битком набитые трамваи, на верхние этажи высочайших домов человек попадает в одну минуту с помощью электрического лифта, гигантские синемаграфы запечатлевают все события, и человечество двадцатого века триумфально катит к далекому будущему среди электрических молний, освещенное голубым свет...

— Нет, ты не говори нам так, — нетерпеливо перебил меня король. — Ты Расскажи лучше, ну... как устроить синемафотограф?!

— Простите, — с достоинством возразил я. — Но я журналист, и всякую свою мысль привык облекать в законченную, округленную форму. А синемафотограф устроивается с помощью электричества.

— Да как же он устроивается?!

— Он? Прежде всего, я должен... гм... объяснить вам, что такое электричество... Это таинственная, не исследованная еще как следует сила природы, той природы, которая в своем вечном многообразии...

— Как мы можем получить электричество? — нервно вскричал король. — С чего начать? Ты нам это Расскажи!

— Электричество? Существует, видите ли, два рода электричества... Положительное и отрицательное... Так называемые катушки Румкорфа, состоящие из...

За несколько лет моей писательской работы мне ни разу не приходилось касаться электричества, и все мое отношение к данному предмету ограничивалось тем, что я однажды заплатил монтеру за починку звонков 4 рубля.

— Так называемый магнитный полюс, — пролепетал я, — который является следствием... Гм... В простейшем своем роде электричество в природе можно вызвать с помощью элементарнейших опытов... Например: вы берете гребенку и проводите ею по волосам... Характеристический треск, который вы слышите, и есть электричество, разряжающееся...

— Он все врет, — слышался сбоку голос. — Он решительно ничего не знает. Давайте его съедем!

— Я ничего не знаю?! — с негодованием воскликнул я. — Сами вы врете! я все знаю! я могу посвятить вас в создавшуюся политическую конъюнктуру Европы, могу осветить с самой оригинальной точки зрения творчество Ибсена, Расскажу вам о возвращении к культу Греции, о танцах будущего, о крушении индивидуализма, о кознях Австрии...

Меня связали и потащили куда-то...

А я говорил:

— Аэропланы — суть аппараты тяжелее воздуха. Различаются — монопланы, бипланы и так называемые helicopters.

— А как они делаются? — с любопытством спросил тащивший меня дикий.

Подробно я этого не знал и потому, помолчав, сказал:

— Скоро человек завоюет воздух, и эти большие белые птицы будут реять в безоблачном небе, которое притихнет, будто изумленное дерзостью во все проникающего человеческого гения...

— Он будет очень вкусен, — похвалил меня один дикий, ощупывая голову.

— Он понравился мне с первого взгляда, — сказал другой.

Я слишком культурный человек, чтобы меня могла тронуть эта грубая лесть...

Я промолчал и, брошенный на траву, стал терпеливо ожидать, когда меня зарежут.

— Заявить им разве, — подумал я, — что я знаю, как делаются ружья? Я несколько раз возмущался в печати бесчеловечием пули дум-дум, негодовал по поводу отсталости России в деле вооружения артиллерии дальноточными орудиями, но как все это делается — пусть меня повесят — не знаю...

ЕЩЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

Сей труд автор благоговейно посвящает Н. Ежову... как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в "Историческом Вестнике".

I

Однажды мы с Антоном Павловичем сидели в его саду и тихо беседовали.

— Вас спрашивают... Можно вас видеть? — доложил старый слуга.

Непосредственно за этими словами из-за спины слуги раздался веселый голос:

— Чего там спрашивают?! Хо-хо! Смерть не люблю этих китайских церемоний! Доложи, да прими, да еще, пожалуй, визитные карточки потребуешь — терпеть не могу цирлих-манирлих. Здравствуй, Антоша!

Антон Павлович привстал и недоумевающе посмотрел на веселого господина в лихо надетом набекрень котелке, с жизнерадостными, но немного мутными глазами, и с манерами, красиво развязными и размахистыми.

— Простите... — недоумевая сказал Антон Павлович.

— Не узнаешь, шельмец?! Славой... как это говорится... обуян? Загордился? Хо-хо! Смерть не люблю, когда эдакое вот... двуногое — нос задирает!!!

— Не будете ли добры, — мягко сказал Чехов, юмористически взглянув на меня, — назвать себя, чтобы я мог вспомнить. С годами, знаете... память слабеет.

— Хо-хо! Как это говорится: Изабелла — ослабела! А ты, брат, изменился, похудел. Ну, что твоя чахотка? Небось, кровью харкаешь уже?

— Будьте добры, — вмешался я, выступая вперед, — сказать, кто вы такой, потому что Антон Павлович вас не может узнать.

— А! И вы здесь... господин хороший! Как поживаете? Небось, тоже пишите? Много развелось теперь пишущей братии... и всякий о себе мнит, что гений. Правильно, Антоша? Помнишь, как я тебя в былое время называл: Антошка-картошка? Да, брат, было времячко...

Веселый господин сел на мое место и, задумчиво сбивая суковатой палкой головки цветов на куртинах, продолжал:

— Вот видишь, Антоша... ты меня забыл, а я тебя помню. Забыл Колю, шельмец?! А ведь в одной газете работали. Я о кораблекрушениях разных, о бешеных собаках писал, а ты рассказы мастачил. Хо-хо! Ловкач ты, брат! Нос у тебя есть. Потому и выдвинулся, что нос есть. Умеешь по ветру... А я тоже, брат... стал уже разные фельетонные фигли-мигли разводить. Читал, небось, как я на днях отцов города за городские скверы продернул? Ванька Арепьев часто говорил: бойкое у тебя, Коля, перо... Ох, бойкое! Помнишь Ваньку Арепьева?

Чехов наморщил лоб.

— Что-то не помню... Фельетончика вашего о скверах, к сожалению, тоже не читал.

Веселый господин протяжно свистнул.

— Да ты что, Антоша... в самом деле в знаменитости продираешься? За литературой не следишь, бывших друзей не признаешь... Оттого и вид у тебя такой... туберкулезный! А я, брат, тебе одну штуkenцию притащил. Замечательная повесть. Сам и писал, милый Антуан, собственными руками. Прочти и скажи свое вещее слово. Может, в "Русское Богатство" пристроишь.

Антон Павлович со вздохом взял пожелтевшую, растрепанную, издававшую виды рукопись и развернул ее.

— Она у вас... гм... не обработана.

— Как не обработана? Врешь, брат, до последней запятой обработана!

— Да вот тут... первая же фраза: "к высокому гроту подъехал мужчина, который зиял темным загадочным отверстием..." Кто зиял?

— Конечно, грот. Всякий по смыслу догадается. А я уже вижу, брат, что ты подкапываешься. Нехорошо, Антоша... Неискренно! Конечно, с таким отношением к товарищу — никакое "Русское Богатство" не напечатает. Ну, Бог с тобой! У меня есть к тебе другая дружеская просьба... дай мне пятьсот рублей!

— Как — пятьсот рублей?

— В займы. После сосчитаемся.

— Да у меня такой суммы, право, нет...

— Полно врать-то! Небось, в год зарабатываешь в пять раз больше. Ну, нет пятист, дай триста. Я тебе оставлю мою рукопись... За нее всякий издатель даст в десять раз больше!

— Уверю вас... У меня при себе рублей тридцать—сорок есть. И на те я должен жить всю неделю. Впрочем, половину — могу.

— Эх, Антоша! Засушила тебя слава! Мелок ты стал: товарищам завидуешь, в денежных отношениях потерял широту русской души... Жмешься, брат! А ведь все равно — кашляешь, кашляешь, да и помрешь скоро... Кому свои миллионы оставишь?

Веселый господин похлопал меня по плечу, как бы призывая в свидетели своего утверждения, покачал головой и, обиженный, исчез так же неожиданно, как явился.

Больше мы с ним не встречались...

II

Когда в печати появились воспоминания Куприна, Бунина и Горького — о Чехове, веселый господин решил, что настала его очередь.

— Что ж... — подумал он. — Недаром Ванька Арепьев частенько говорил, что у меня бойкое перо. Попробуем!

Веселый господин отодвинул начатый фельетон о не-позволительном отношении отцов города к водопроводному вопросу и начал:

Должен сказать, что Чехова я знал очень близко... Начинали мы с ним в одной газете, и я, по-приятельски, даже называл его Антошей.

— Эх, ты, — говорю, — Антошка-картошка!

Зная его близко, должен сказать, что дружественная критика окружила его совершенно незаслуженным ореолом и каким-то идолопоклонническим отношением...

Мало кому известно, что слухи о доброте и деликатности Антона Петровича были сильно преувеличены. Наоборот, покойный писатель к своим бывшим товарищам по работе относился с невыносимым пренебрежением, еле узнавал их при встрече.

Кроме того, угасший писатель был скупенек и часто, позванивая в кармане сторублевками, отказывал в займе даже своим близким нуждающимся друзьям.

Отличительной чертой незабвенного покойника была грубость, доходившая порой до наглости... Так, например, пишущий эти строки был свидетелем того, как Антон Павлович раскритиковал прекрасную повесть маститого писателя, который находился тут же. Нужно ли говорить, что эта грубая критика была совершенно несправедлива, являясь результатом болезненной зависти к более талантливым коллегам чахоточного писателя...

Покойный, конечно, понимал, что его нудные, тягучие измышления, лишённые элементарного знания жизни, сразу тускнели и терялись рядом с прекрасными, полными жизненной правды произведениями маститого автора. "Чего же спят наши отцы города, не обращая внимания на позорное состояние городской канализации".

К числу отрицательных свойств дорогого всем покойника нужно отнести также его известную близким — приверженность к алкоголю и полнейшее неумение отличать свое от чужого. (Пишущий эти строки хорошо помнит, как незабвенный писатель обменял свои старые калоши на его новые и спрятал однажды, якобы по рассеянности, вместо носового платка — совсем новенькую салфетку.)

В будущем автор настоящих воспоминаний о Чехове постарается глубже и полнее очертить физическую и моральную физиономию писателя, так безвременно угасшего (настолько безвременно, что он забыл возвратиться

автору этих воспоминаний серебряный портсигар и три рубля денег, похищенных тайком знаменитым певцом русских сумерок)...

КРАЙНИЕ ТЕЧЕНИЯ

Сотрудник московского журнала "Весы", декадент Эллис, уличен в похищении листов и порче книг в публичной библиотеке.

(Газетная хроника)

I

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента, — ну, скажите: пара ли она вам?

— Она из хорошей семьи, — ответил, моргая глазами, Декадент. — Отец ее был предводителем стада, и потом жил несколько лет на городской конюшне, а мать получила на выставке медаль.

— Да, но ведь она же — коза!

— Коза, господин судья.

— Так как же вы так?! А?..

— Я не из расчета, господин судья. Я по любви.

— Что же вы нашли в ней хорошего? Коза — козой и останется. Вот вы говорите, что хотите узаконить вашу любовь браком. Намерение в своем первоисточнике — почтенное. Не спорю. Но подумали ли вы о тех тяжелых осложнениях и инцидентах, которые должны возникнуть потом? Вы из хорошей семьи, у вас есть престарелые родные... Того ли ожидали ваши папа и мама, когда растили вас и качали на коленях, маленького, с кудрявой головкой, о такой ли партии для своего первенца думала ваша уважаемая матушка? Уж не говоря о том, что ваш брак, как противный каноническим правилам, будет только гражданским, подумали ли вы о том, что будет, если ваши родственники, ваши друзья захотят познакомиться с вашей... супругой? Сможете ли вы ввести ее в порядочное общество равноправным членом и не заставит ли она своим бестактным поведением краснеть вас, с первых же шагов ее светской жизни? Я тонимаю, конечно, вы скажете: я молод, я ее перевоспитаю, с милым рай в шалаше, ну... и прочее там... Хорошо-с! А о старости... О старости своей подумали ли вы, моло-

дой человек?! Кто вам — хворенькому, седенькому, сла-
бенькому подаст напиток?! Кто поправит вам подушку
и даст в чайной ложечке лекарство? Коза? Коза пригреет
вас, приголубит, утешит и облегчит в жизненных неуда-
чах и передрыгах?

На глазах престарелого судьи стояли слезы.

Декадент плакал навзрыд.

— Что же мне делать, господин судья? Теперь я и сам
вижу, что она мне не пара.

— Гоните ее от себя!

— Она будет очень страдать, — прошептал Декадент,
сморкаясь в носовой платок. — Мы так любили друг друга...

— Вы должны ее возненавидеть!

— Спасибо, господин судья. Возненавижу. А тут еще
у моего приятеля была собака... Очень красивая. Ее звали
— Леди. Если бы...

— Нельзя, — твердо сказал судья. — Тоже нельзя.
Гнать и ненавидеть!

— Тут еще кошку на днях я одну видел, — признался
Декадент. — Преппикантное создание!..

— Ни-ни! Гоните от себя всякие соблазны... Поселите
в своем сердце вместо любви — ненависть.

— Поселю, господин судья, — обещал растроганный
Декадент.

II

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья,
смотря на стоявшего перед ним Декадента. — Ну, скажите,
разве для воспитанного молодого человека подходящее
занятие — давить кошек веревками и травить собаками?

— А мы потом этих собак кипятком обливали, — по-
пытался оправдаться Декадент.

— Тоже нехорошо. Нет в вас меры. То вы хотите козу
осчастливить предложением руки и сердца, то собаку
кипятком шпарите. Ведь собака вам ничего дурного не
сделала?

Декадент подумал.

— Ничего.

— Так зачем же вы ее кипятком обливаете?

— Да, теперь я и сам вижу, господин судья, что это
было лишнее.

— Вот видите. А зачем кошек давить? Существо она
чистенькое, никому вреда не приносит, а, наоборот, в хо-
зяйстве полезное — мышей ловит — за что же ее убивать?

— На днях у тети моей, — оживился Декадент, — во
какую мышь поймала!

— То-то и оно. И тетенька ваша, наверное, ее любит,
молочком за это, печенкой кормит. А вы взяли ее, да
веревкой удавили! Покличет ваша тетушка свою Машку:
Машенька, Машенька, где ты? Ан нет Машеньки... На
веревке удушена... Померла! Не нужно ей уже ни молоч-
ка, ни печеночки...

Старый судья прослезился.

Декадент тоже плакал.

— Не буду больше, господин судья.

— То-то и оно. Вы бы лучше книжки читали, чем
животных мучить...

— Буду книжки читать, господин судья, — пообещал
Декадент.

III

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал ста-
рый судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента.
— Что дурного сделали вам книжки в Публичной биб-
лиотеке, что вы из них выдирали страницы?

— Я полюбил чтение, господин судья.

— Так зачем же страницы выдирать?!

— Я не все. Несколько страничек... И то в толстых
книжках. Если тоненькая — я понимаю, что нельзя. Она
оттого еще тоньше будет. А толстая — что ей
сделается?

— Ну, поставьте вы себя на место другого читателя...
Приходите вы, берете книгу, разворачиваете, ан от 16-й
до 86 страницы — и нет!

— Как нет? Есть! — возразил Декадент, полез в кар-
ман и вынул несколько измятых листков. — Вот они!

— Так это у вас! Поймите, у вас, потому что вы их
тайком вырвали... А возьмите вы другого читателя... Ну,
ученого какого-нибудь, профессора, скажем, медицины.
Нужно ему пополнить какой-нибудь пробел в теории,
которая приведет его к открытию лекарства, скажем, от
чахотки, поедет он в Публичную библиотеку, возьмет
нужную книгу и — что же! Необходимые страницы вы-
рваны. Что тогда получится: средство от чахотки не
открыто, больные будут умирать по-прежнему, — и все
это сделали вы!

Декадент заплакал.

— Когда вы так хорошо все объяснили, то я, действительно, вижу, что был не прав. Я больше не буду, господин судья! Но что же мне делать, посоветуйте?!

— Боюсь вам и советовать, — сказал судья. — Советовал вам гнать от себя козу, вы стали давить кошек, посоветовал читать — вы стали драть страницы... Разве вот что... начните писать что-нибудь!

— Это невозможно! — рыдая, воскликнул Декадент.

— Почему?

— Я уже пишу! В "Весах"!!

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ

"Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию".

(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залезалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

"...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте..."

— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: "Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте..."

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб... бавно! "Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте..."

— Не надо, — сказал издатель.

— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. — Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она, — указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под "все завертелось" не дам!!!

— Давайте под муху, — вздохнул писатель Кукушкин.

Через неделю издатель Залезалов получил две рукописи. Были они такие:

1. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. Мухи и их привычки

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушину — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

ЗОЛОТОЙ ВЕК

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

— Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой — он всегда делал несколько дел сразу — и отвечал:

— Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

— Я не "многий", — скромно возразил я. — Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами — встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

— Ты давно пишешь? — спросил Стремглавов.

— Что... пишу?

— Ну, вообще, — сочиняешь!

— Да я ничего и не сочиняю.

— Ага! Значит — другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

— У меня нет слуха, — откровенно сознался я.

— На что слуха?

— Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

— Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавил:

— Я умею рисовать метки для белья.

— Не надо. На сцене играл?

— Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

— И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

— Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумагу, бросил в корзину, вынул часы и, засவிстав, сказал:

— Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли — это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в разделе "Новости искусства" такую странную строку:

"Здоровье Кандыбина поправляется".

— Послушай, Стремглавов, — спросил я, приехав к нему, — почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

— Это так надо, — сказал Стремглавов. — Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

— А она знает — кто такой Кандыбин?

— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: "А здоровье Кандыбина поправляется".

— А если тот спросит: "Какого Кандыбина?"

— Не спросит. Тот скажет только: "Да? А я думал, что ему хуже".

— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

— Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: "В здоровье нашего маститого..." Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

— Можно писателем.

— "В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7".

— А портрета еще не нужно?

— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

"Вчера, — писала одна газета, — на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками".

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

"Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо ли это?"

С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому не ведомый капитан Ч*".

"Мы уверены, — писала другая газета, — что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли".

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

— Скажите, — спросили они, — что побудило вас дать капитану пощечину?

— Да ведь вы читали, — сказал я. — Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.

— Все равно. Великие имена должны быть святыней, — строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

— Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

— Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: "Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь".

— А какую вещь я начал?

— Драму "Грани смерти".

— Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

— Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сиденьем на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию "На заре жизни". Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому

(совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

— Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

— Какой юбилей?

— Двадцатипятилетний.

— Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

— Ладно, — сказал я. — Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

— Ты рассуждаешь, как Толстой, — восхищенно вскричал Стремглавов.

— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

— Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, — я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

— А, здравствуйте, — приветливо отвечал я, польщенный. — Как вы поживаете?

Все целовали меня.

БЕЗ ПОЧВЫ

Многие находят, что катанье на колесных коньках — очень трудная вещь... Конечно, в наш слабый развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике — этот спорт представляет некоторые трудности, но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скетинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова.

Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, по которой носи-

лись с треском и веселым гамом оживленные парочки, — стоял и думал:

— Только-то и всего? Да ведь сущий пустяк — покатиться на этих колесиках! Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта: стоит только стараться не упасть — и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений... Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уж — такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем.

Я подошел к слугителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена:

— Парочку коньков! Да получше!! Чтобы они обязательно были на колесиках!

— Да они и так все на колесиках, — возразил слугитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге.

— Да? — смутился я. — Это прекрасный обычай.

— Готово, господин!

Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими... Увы, твердой земли я не ощутил: мои ноги как будто болтались в воздухе.

— Это... всегда так? — робко спросил я.

— Что всегда?

— Так... скользко.

— А как же: колесики! Пожалуйста на площадку.

Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь.

Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней...

— Что же вы? Пожалуйста.

— Хи-хи, — засмеялся я. — Хи-хи... Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день... Тут у вас очень мило: тепло, уютно.

Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу.

Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как я. Но в этом человеке был дух героя! При Иоанне Грозном он, вместо Ермака, мог бы

завоевать Сибирь; при встрече с тигром он ударил бы его кулаком в темя и, ошеломя этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой... В этом человеке помещался дух героя! Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, а сразу встал, выпрямился смело во весь рост и — грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью.

Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие: я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру.

И вот — я остался один, судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка.

— Отчего же вы не катаетесь? — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками.

— Да я... катаюсь.

— Вы бросьте барьер! не держитесь за него — тогда легче.

Я послушался совета. Но мои ноги (никогда я не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства) заметили этот маневр и сразу разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино. При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в кэж-воке, и снова с судорожною поспешностью уцепился за барьер.

— Смелее, смелее! — кричал мне доброжелатель. Не льните так к барьеру, как к любимой женщине. Свободнее руки, отъезжайте от барьера.

— Очевидно, он знает, что нужно делать, — подумал я и отъехал от барьера.

И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые, я откидывался назад, изгибался, как угорь, и, наконец, видя, что позорное падение неизбежно — с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца.

— Что такое? — изумился он. — В чем дело?

Стискивая его руки, я тряс их, изгибался и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущими губами:

— А, здравствуйте!.. Как поживаете? Вы... меня не узнаете?

— Первый раз вижу. Пустите мои руки!

Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехали в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт.

— Упали? — участливо спросил мой доброжелатель.

Я сделал вид, что поправляю коньки.

— Нет, это я так сел. Затянул ремни. Они, знаете, от катанья ослабевают.

Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и — снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга.

— Если вы замечаете, что падаете, — сказал человек, сидевший за столом (теперь я подозреваю, что он был — случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт), — если вы замечаете, что падаете, — то немедленно поднимайте одну ногу... Равновесие установится, таким образом, сразу.

Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером... Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения, и для этого пришлось коснуться спиной асфальта, но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного.

Мимо меня пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилия скользя по асфальтовой глади.

— Попробую и я так, — подумал я. — Ну, упаду! Эка важность!

Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек десять, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой отправился снимать коньки.

На второй день я опрокинул всего двух человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей частью покровительственно похлопывая его по упругой спине... На третий день я не опрокинул уже ни одного человека (опрокинули меня — какой-то неуклюжий медведь, — чтоб его черт побрал, — и неизвестная девица, бездарная до обморока), на барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха... Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал им покровительственно: "смелее!", и теперь — если бы мне предложили приз за катанье, — я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.

III

Мои улыбки

ЧЕТВЕРГ

В восемь часов вечера Ляписов засхал к Андромаскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что? — спросил, покривившись, Андромаский.

— Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромаский саркастически улыбнулся.

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинка сделает радостно-изумленное лицо: "Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!" Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, — не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то, что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? "Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?" Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: "Были на лекции о Ведекинде?" А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! "Нет, скажешь, не был". — "Не были? Как же это вы так?" Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: "Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!"

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. "Видели танцы новой босоножки? Мне нравится". А другой осел скажет: "А мне не нравится". А третий отвечает: "Не скажете! Это танцы будущего, и они мне

нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане..." — "Ах, — скажет игриво m-me Пылинка, — вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!" Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? "Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?" А чайш-ко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом пахнет... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут такой, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

В девять часов вечера Андромаский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-me Пылинка увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иванович! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас! — ласково наклонил голову Андромаский. — Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где? — спросил Андромаский.

— Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромаского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты вообще мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного, — сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии, — вздохнула хозяйка. — Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь, — поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалею. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромашский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет, — сказал Ляписов. — Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины, — слышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. — Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый, — сказала полная дама. — Он был кассиром. Служил себе, служил и — представьте — ничего. Потом познакомился с какой-то кокеткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия! — сказал господин с густыми бровями. — Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с! — возразила хозяйка. — Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые, и сама скачет, как козел!

— А мне нравится! — сказал маленький лысый человек. — Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю! — предложила хозяйка Андромашскому. — Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять, — сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру, — уверенно ответил Ляписов.

Андромашский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?!! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромашского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромашский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходявшее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромашский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил? — спросил голос толстой дамы.

— К жене, — отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась.

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы! — удивилась толстая дама. — Разве он такой?..

— Он?! — сказал господин с густыми бровями.

— Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменя-

ет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, — сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому — а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — слышался голос хозяйки.

— Я и так уже засиделся, — отвечал голос Ляписова. — Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тсс!.. — прошептал Андромахский, указывая на окно. — Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов, — сказала хозяйка. — Не правда ли?

— Очень милый, — отвечал господин с густыми бровями. — Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности! — слышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я вернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба, — прошептал изумленный Ляписов. — Что она такое говорит!

— Хорошее оконце! — улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы?! Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее, — слышался голос лысого господина. — А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина, — донесся голос толстой дамы. — Кто это такой?

— Это удивительная история, — отвечала хозяйка. — Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: "Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?" А этот лысый и говорит мне: "А у вас четверги? Спасибо, буду". Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая, — прошептал огорченно лысый старичок. — Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, — обратился он к Андромахскому, — эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-Богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморюшка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек, — виновато улыбнулся старичок. — Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай верну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне, — сказал Ляписов. — Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский. — Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок. — А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский. — Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего

интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромашский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромашский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

— Хе-хе! — тихонько засмеялся Ляписов. — А вы знаете, старче, как Андромашский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хотя бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассеявшуюся на ступеньках лестницы компанию...

— Я уверен, — говорил увлеченный разговором Ляписов, — что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

— Ну да! — возражал Андромашский. — Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой — и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

— А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же — в будущий четверг!.

МОЗАИКА

I

— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

— Уверю тебя.

— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты производишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, — пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

— Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

— Оказывается, — меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

— Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

— Как же это вышло? — в ужасе спросил я.

— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие крас-

ные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

— Да, это действительно похоже на мозаику.

— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составила лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

— Как записываешь?

— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

— Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: "Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано".

Он почесал углом книжки лоб.

— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется — я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: "Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Ал. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти равнодушна ко мне"... Теперь дальше: "Китти... Сорванец, способный на

всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев."

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл "дорогой единственной своей Настей", а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова "спать". И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

— А они... тебе верны?

— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носить как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

— Нет, — отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. — Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.

— Как же ты устроишься?

— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то,

что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, — я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то сообщающий.

— Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

— Что ты делаешь?

— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

— А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

— Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

— А зачем ты кольцо снял с пальца?

— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей — надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.

— Несчастный ты человек, — участливо прошептал я.

— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

"2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это".

И:

"Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены".

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира, — для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

— Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, — от него самого.

III

... ..
— Как же это случилось?

— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

— А по памяти восстановить не можешь?

— Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю — нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи "Лотос" — Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи,

а кому-то поддюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — "я знаю кем!". Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я. — Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, "остерег. Елены"... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю — не прятать? Или нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

— Не з-наю, — простонал он, сжимая виски. — Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

— Еду к ней!

— Сними кольцо, — посоветовал я.

— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

— Тогда надень темно-зеленый галстук.

— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

— Ну? Что, как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

— Что же случилось?

— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. "Вот, дорогая моя Ляля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие"... Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. "Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, ко-

торую я так ненавижу". — "Маруся, — сказал я, — это недоразумение!"... — "Конечно, — закричала она, — недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!" От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: "Почему у моей Китти такие печальные глазки?..", лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова "спать", и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

— А остальные? — тихо спросил я.

— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с *целой гармоничной женщиной*, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

— Как так? — вскричал я.

— Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре?? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

— Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

— Милый! Познакомь!

РУБАНОВИЧИ

Есть целый класс людей, с которыми мы часто встречаемся, вступаем в деловые сношения, ведем длинные, горячие разговоры и которых мы вместе с тем совершенно не знаем.

Их души, логика, вкусы и стремления совершенно чужды нам, а их профессиональные привычки, действия своею загадочностью и неясностью только раздражают нас.

Это — портные.

— Я хочу заказать себе пиджачный костюм, — говорю я, обращаясь к одному из них, в то время как он, скривив набок голову, внимательно смотрит на мою грудь, руки и плечи.

У всякого портного есть болезненное, странное и ненужное ему стремление — изредка тяжело и неуклюже острить. Сапожники гораздо сосредоточеннее и серьезнее.

— Вы только х о т и т е? — прищуривается портной. — Так вы уж прямо лучше заказывайте.

— Да, закажи вам, — нерешительно возражаю я. — Ведь вы, небось, сдерете втридорога.

— Я сдеру? Ха-ха! Хорошие шутки, нечего сказать. Ну, хотите — я вам дам десять рублей, если вы найдете другого портного, который взял бы за такой материал и работу столько же, сколько я. Хотите?

Он прекрасно знает, что я не взвалю себе на плечи эту странную операцию. Если бы даже я и нашел другого такого портного, то мой портной нашел бы массу поводов отвертеться от уплаты десяти рублей. Костюм бы он признал сшитым прескверно, а материал — дешевым гнильем.

— Хотите? Покажите мне такого другого портного, — презрительно говорит он. — И я плачу вам кровных пятнадцать рублей.

— Нет, не надо. Но только я знаю, что переплачу вам.

— Вы? Переплатите? Ну, хотите, я даю сто рублей, если вы переплатите?!

Сто рублей я у него не возьму. Я прекрасно знаю, что он сдерет с меня больше, чем нужно, и он это прекрасно знает. Мы молчаливо считаем этот вопрос решенным в положительном для него смысле и переходим к дальнейшему.

— Сколько же вы возьмете?

— Сию минуту... Это мы до копейки высчитаем.

Он берет бумажку и пишет на ней ряд каких-то цифр. Значение их ни я, ни он не понимаем. Но цифры имеют гипнотизирующее значение своей абсолютной честностью и безотнотительностью. На бумажке стоит два косых 4, одно пошатнувшееся 7, три длинных художавых единицы и одно громадное 3, похожее на змеиную конвульсию. Впрочем, после некоторого колебания портной переставляет его в 8 и ставит сбоку две пятерки.

Губами он лениво бормочет:

— Семнадцать, да две — двадцать четыре, да сорок пять — итого четырнадцать, отсюда вычитываем шесть, да семь — множимое получается 62.

Он поднимает от бумажки голову и уверенно говорит:

— 71 рубль. Ну, рубль я, как на первый раз, то отбрасываю. Пойдите-ка поищите подобный костюмчик. Я вам сорок рублей положу на это место.

— Семьдесят рублей?! Что вы, голубчик!.. Да вот этот костюм, который на мне, — тридцать два рубля стоил!

Костюм мой, конечно, стоил шестьдесят. Но мы оба забываем всякую меру и перестаем церемониться с цифрами.

Портной берет меня за плечи, подводит к свету и, оглядывая, качает головой:

— Тридцать два? А я думал — восемнадцать. За такой костюм — тридцать два рубля?.. Вот видите — где не нужно, где вас обманывают — вы переплачиваете, а когда вам думают, что вы не будете торговаться, вы...

Он неожиданно схватывает меня за борт пиджака и, с бешеной силой, дергает к себе.

— Это работа?! Вы видите, она трещит, как тряпка... А фасон? Неужели вам было не стыдно носить такую работу? Вы посмотрите, как оно на вас сидит?!

Он хватает меня за бока, дергает вверх брюки, опускает сзади воротник, оттопыривает внизу жилетку так, что она торчит уродливым горбом, и загибает внутрь отвороты пиджака.

— Хорошенький фасончик, — критически говорит он, отходя вдаль и любясь, со скривленной набок головой, — очень хорошенький... Как корова на седле. И с вас не смеялись?

Раньше, конечно, мой костюм не вызывал ни в ком веселого настроения. Но умелые руки моего собеседника придали ему такой вид, который, в лучшем случае, испугал бы окружающих.

Я с трудом привожу одежду в порядок, а портной цепляется за рукава и торжествующе кричит:

— Это стоит тридцать два рубля? Это же бумага! Неужели вы не видите? Скверный лодзинский товар!

Я вспоминаю, что предыдущий портной, который также обрушился на мой предыдущий костюм, упрекал отсутствующего предшественника, что он подсунил мне лодзинский товар. Я возражал, что материя продана мне,

как английская, а он не верил и кричал: "разве этот жулик даст вам английский товар? У меня вы получите английский!"

* * *

Я до сих пор не знаю — что такое "английский товар". Каждый предыдущий портной облакал меня в него, и каждый последующий безжалостно разбивал мои иллюзии.

Теперьшний портной, с которым я веду разговор, тоже побоялся, что я хожу, одетый в "чистейшую лодзинскую бумагу" и, чтобы облегчить мое положение, принес торжественную клятву употребить в дело все самое английское...

— Ладно, — соглашаюсь я. — Снимайте мерку. Только брюки сшейте так же, как эти. Я люблю такой фасон.

— Эти брюки с фасоном? Дай Бог вашему прежнему портному, чтобы он на том свете ходил в брюках с таким фасоном! Они ведь такие же короткие, как зимний день в Санкт-Петербурге...

— Потому, что вы их слишком давеча подтянули... Вот они так должны быть!

— Так? Ну — поздравляю вас... Они такие же длинные, как рука нашего околоточного... С таким фасоном можно каждую минуту запутаться и разбить, извините, нос.

Мне приходилось часто слышать, как актеры отзываются об игре своего коллеги; приходилось узнавать мнение одного беллетриста о другом; но никогда в этих случаях я не замечал столько сконцентрированной ненависти и презрения, как в отзывах портных друг о друге.

В этом с ними могут состязаться только легковые извозчики, для которых каждый другой извозчик — личный враг, и в отношении к нему позволительны все средства: хлестнуть по спине кнутом, стать со своей пролеткой поперек дороги или, при невозможности сделать все это, просто крепко и ядовито выругаться...

Я не знаю, много ли у портного радостей, которые скрашивали бы его монотонную жизнь?.. Может быть, у него нет совсем радостей, кроме одной, которой он предается с диким исступлением, немецким постоянством и ослиным упорством.

Эта единственная, непонятная обыкновенному человеку и заказчику, портняжская радость и удовольствие — не сдать в срок работу.

Можно принимать все меры, пускать в ход угрозы, брать с него клятвы — это все излишне: ни один человек не получал в срок заказанное платье.

Давая клятву, всякий портной про себя думает:

— Э, нет, брат!.. Жизнь слишком скучна и не цветиста, чтобы я ради твоих прекрасных глаз пожертвовал лучшим наслаждением, которое дала нам человеческая культура: не принести работы в обещанный срок...

Я пробовал пускаться на хитрость: когда мне нужно было получить платье десятого декабря, я назначал пятое, уверив портного, что шестого утром уезжаю в Америку и каждый час промедления принесет мне неисчислимы убытки.

Но портной каким-то образом разгадывал мою тактику, догадывался о десятом числе и приносил заказ двенадцатого...

Он объяснял, что у него заболел мастер, что самому ему пришлось выехать на два дня в другой город и что он долго возился с маленьким сыном, который обварил руку... А в глазах его читалось: "никуда я не уезжал и сын здоров, как тыква... Но почему мне не доставить себе маленького невинного удовольствия?.."

* * *

Тот портной, о котором я говорил сначала, принес работу, просрочив только шесть дней. Когда я оделся в новое платье, то сразу увидел, что воротник поставлен невероятно низко, что из-под него видна заплата на затылке, что жилет, собираясь в десятки складок, лезет тихо и настойчиво вверх к подбородку, а брюки так коротки, что весь мир сразу узнает цвет моих чулок...

Но портной восторженно хлопал руками, смотрел в кулак и, подмигивая мне, смеялся счастливым смехом:

— Ага! Это вам не Рубанович...

— Черт знает что, — морщился я. — Брюки короткие, жилет лезет вверх и воротник сползает на самые лопатки...

— Где? — изумился портной. — Вы посмотрите!

Одной рукой он поднимал вверх воротник, другой оттягивал жилет и в это же время наклонял меня так, что край брюк спускались сантиметра на два ниже.

— Видите? Прекрасно!

— Может быть, — угрюмо возразил я, — пока вы держите. Может быть, если вы, не расставаясь со мной все время, пока я ношу это платье, будете бегать сзади, подтягивать вверх воротник, книзу жилет, при условии,

что я скорчусь под прямым углом, — может быть, тогда эти недостатки и не будут заметны! Но что же станется с вашим семейством и заказчиками, если мы год или два будем, как два каторжника, скованы одной цепью — отвратительно сшитым вами платьем?..

Есть случаи, когда портные не понимают юмора.

Он пожал плечами, взял семьдесят рублей и ушел.

Следующий портной оценил этот костюм в двенадцать рублей, заявив, что если бы сказать, что он сделан из лодзинского материала, то это было бы комплиментом (он сделан из белостокской бумаги), и что не нужно иметь никакого стыда, чтобы носить на себе костюм, сидящий, как лошадь на седле коровы...

ЧЕТВЕРО

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена — Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель — Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная — дорожная — скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

— Нам еще ехать пять часов, — сказала Симочка, сладко зевая. — Пять часов отчаянной скуки!

— Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, — наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

— И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет — стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

— Уже я не говорю о плацкарте!

— Главное, что скучно! — стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

— Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... Оттого, что все вы — не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

— То есть как мы не те? — обиженно возразил Сандомирский. — Мы вовсе — те. Я как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

— Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы — кто вы такой?

— Я? — поднял брови Сандомирский. — Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

— Ах-ха-ха-ха! — закатился смехом незнакомец. — Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

— Ватикан? — пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. — Я Ватикан?

— Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

— Извините, — сказал Сандомирский. — Но эти шутки мне не надо!

II

— Джузеппе! — серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. — Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

— Пустите меня, — в ужасе закричал Сандомирский. — Что это такое?!

— Тссс! — зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. — Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

— Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

— Господа! — сказал странный пассажир. — Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался — кто он такой?

— Я Сандомирский! — прошептал белыми губами коммивояжер.

— Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

— Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

— Я же не кардинал!! — в отчаянии прошептал Сандомирский.

— Он стесняется сказать вам, что он кардинал, — заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. — Но, вероятно, он кардинал.

— Не правда ли?! — подхватил незнакомец. — Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

— Есть! — с готовностью отвечал Четвероруков. — Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

— Пусть он скажет! — капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

— Ну, хорошо! — закричал Сандомирский. — Хорошо! Ну, я кардинал.

III

— Видите! — сделал незнакомец торжествующий жест. — Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.

Симочка фыркнула.

— При чем тут смех? — обиделся Сандомирский. — Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

— Нет, я вас не пушу, — сказал пассажир. — Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

— Какие прихожанки? Какая может быть интрижка...?!

При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

— Ну, были интрижки, — стоит об этом говорить...

— Говорите!! — бешено закричал незнакомец.

— Уберите ваш пистолет — тогда расскажу. Ну что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

— Графиня? — спросил пассажир.

— Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

— Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

— Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: "Ой, графиня, какая вы хорошенькая...!"

— Что вы путаете, — сурово перебил пассажир. — Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

— Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: "Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься".

— Исповедаться! — поправил незнакомец.

— Ну, исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: "Джузеппе, извините меня, но я вас люблю".

— Ужасно глупый роман! — бесцеремонно заявил незнакомец. — Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

— Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

— Ка...кой дар?

— Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто

и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

— Вы ошиблись, — насильственно улыбнулся Четвероруков. — Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

— Кардинал! — воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. — Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

— Наверное, баритон!

— Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

— Я не умею! — беспомощно пролепетал Четвероруков. — Уверю вас, у меня голос противный, скрипучий!

— Ах-ха-ха! — засмеялся незнакомец. — Скромность истинного таланта! Прошу вас — пойте!

— Уверю вас...

— Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

— Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

— Еще как! — нерешительно сказал Сандомирский.

— Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

— Какая тут скука! — вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. — Сплошное веселье.

— Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться — все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником.

Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой — баритоном. Не правда ли, кардинал?

— Вы говорите, как какая-нибудь книга, — печально сказал Сандомирский.

— И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас — снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, — тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

— Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

— Я... нич... чего... Я сам люблю красоту. Немножко раздеться можно, хе... хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

— Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

— Кардинал! — строго сказал незнакомец. — Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

— Симочка... — пролепетал Четвероруков. — Ты... немножко.

— Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

— Не правда ли, я интересная? — задорно сказала она, улыбаясь углами рта. — Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа — он, вероятно, позволит.

— Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

— Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

— Зачем же руку? — болезненно улыбнулась Симочка.

— Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

— Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

— Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет — я застрелю того. Ладно?

— Идите уж себе! — простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской.

Четвероруков взял ее и с недоумением прочел:

"Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я — весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала..."

ЛЕКАРСТВО

I

В глаза я называл ее Марьей Павловной, а за глаза Марусей, Мэри и Мышоночком... Сегодня когда я ехал к ней, то думал:

— Соберусь с духом и скажу!.. Если она ответит "да" — в груди моей запоют птицы и жизнь раз навсегда окрасится приятным розовым светом. Если — "нет"... я ничего не скажу, повернусь и выйду из комнаты... И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знако-

мых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне, одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин...

Это буду я.

Я вошел к Марье Павловне с сосредоточенно сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах.

— Что это вы такой? — удивленно спросила она.

— Я... должен иметь с вами один... очень важный для меня разговор!

В глазах ее засветились два огонька и — погасли.

— Хорошо. Только я раньше должна съездить в два места... Надеюсь, вы меня проводите?

— Конечно! Как можно задавать такие вопросы?..

— Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе. Ладно?

— Хотя бы к двум портнихам!.. — поклонился я.

Она призадумалась.

— К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите. Я скоро оденусь. Даша! Сбегай-ка за дворником!

— Зачем это вам дворник понадобился? — изумился я.

— Не могу же я выйти на улицу в одном платье?!

— А разве дворник...

— Это длинная история! Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделать свою ротонду. Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес, где работает ее сестра, — я и пошлю Дашу туда за ротондой.

— Так, так. Это и есть тот адрес — один из двух, — которого вы не знаете?

— Что вы путаете! Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?

— Смешные вы, женщины! — улыбнулся я.

Она показала мне язык и убежала в другую комнату.

Я уселся, взял газету и прочел ее от начала до конца. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась! После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:

— Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой. Целый час ищем!.. Почему вы не носите с собой крючка?

— Хорошо, — кротко отвечал я. — Теперь я буду носить его с собой. Во избежание задержек на будущее время я буду также теперь захватывать с собой щипцы для завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь — вы предупредите.

Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала:

— Нет, щипцы у меня есть. А вот головные шпильки, если бы вы носили — я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются.

Вошла Даша и спросила:

— Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то.

— Не знаю. Я пересмотрел альбом, — его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?..

И Даша меня тоже не поняла.

— Демьян! — закричала она, выбегая в переднюю, — не видел барышнинного крючка?

Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал:

— Придется мне поискать.

Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула:

— Только, ради бога, не смейте на меня смотреть!

Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, на стоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил:

— Вы эти ботинки и хотите надеть?

— Да... только вот крючка нет.

— Крючок можно купить, — отвечал я. — Его можно сделать, найти, украсть, но — увы — он будет вам бесполезен.

— Почему?!

— Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурах.

Она засмеялась.

— Да? А ведь и в самом деле! Даша! Не ищи крючка... А вы, сударь, уходите пока.

Я вышел и от скуки опять взялся за газету. Выглянула Даша и спросила:

— Барин, не видели барышниной брошки?

— Не знаю, где она. Впрочем, вы можете взглянуть на крышу соседнего дома. Не зацепилась ли она каким-нибудь образом за дымовую трубу.

Даша с озабоченным видом взглянула в окно, развела руками и ушла обратно в комнату барышни.

— Там нет... Под ковром смотрели?

— Смотрела. И в умывальнике нет.

— Ах ты ж, Господи!

Я нервно вошел в их комнату и спросил:

— Куда вы ее обыкновенно кладете? Какого она вида?

— Обыкновенно она у меня на груди. А вид у нее такой... знаете, что у лошадей на лапах бывает!

— На каких лапах?

— Ну, такое... Копыто называется...

— Я не помню у вас такой брошки-копыта. Вероятно, подкова?

— Да, да... такое, знаете, что стучит.

— Так бы вы прямо и сказали!.. Такое, что стучит — это всякий догадается. Подкову я помню. Ювелир, значит, уже вставил бирюзу, которая выпала? Помните, мы на той неделе вместе отдавали?

— Нет еще.

— Так она, значит, у ювелира? Скажите, сколько времени затрачиваете вы обыкновенно на поиски в этой комнате вещи, находящейся в другой улице?

— Действительно, она у ювелира! Даша, глупая, не ищи: я совсем и забыла.

Так как я был признан дамами очень сообразительным, толковым парнем, то меня оставили на всякий случай присутствовать при завершении туалета.

Все пошло гладко, если не считать того, что дамы тщетно пытались открыть флакон с духами, проклиная тугую пробку. Мне не стоило большого труда убедить их, что открывать его не имеет смысла, так как он совершенно пуст, и что, вероятно, можно достигнуть больших результатов, если открыть другой флакон, стоявший тут же и по горло наполненный духами.

II

Когда мы приехали в магазин, приказчик галантно поклонился нам, но сейчас же побледнел и взглядом, полным ужаса, уставился на розовую, улыбающуюся Марью Павловну.

— Покажите мне что-нибудь новенькое на блузку. Только — самое новое. Я всегда бываю у вас, и вы всегда показываете мне старое.

— Какой негодяй! — подумал я.

Приказчик полез на какую-то лестницу и стал сбрасывать на прилавок целый водопад разных разноцветных

тряпок, — с таким видом, будто бы он хотел устроить между собой и покупательницей крепкую надежную баррикаду, за которой можно укрыться.

В глазах его виднелось отчаяние и покорность судьбе.

— Вот это, сударыня... Прелестный рисунок.

— Этот? Вы смеетесь надо мной! Это бабы платки такие носят.

— Тогда вот! Самый последний крик делямод.

— Этот? Нет, вы, право, надо мной смеетесь!

Я никогда не видел, чтобы так смеялись. На лбу приказчика выступил пот, а губы пересохли и нервно дрожали... Куски материй сыпались с полок дождем, развертывались, забраковывались, скрывались под свежей струей новых материй, которые, отверженные, в свою очередь, стонали под тяжестью все новых и новых кусков, которые то были "аляповаты", то слишком в крупную, то слишком в мелкую клетку... А одна материя подверглась суровому осуждению даже за то, что клетка на ней оказалась слишком средней.

— Вот эта мне нравится, — робко сказал я, указывая на какой-то желтый угол, торчавший снизу.

Приказчик с благодарностью взглянул на меня, но потом вздохнул и сказал:

— Это не материя. Это оберточная бумага из середины куска. Вот это очень недурно, кажется.

— Это? — в искусственном восхищении вскричал я. — Это великолепно.

— Покажите еще что-нибудь в этом роде, — ласково попросила моя спутница.

Приказчик уже не стоял за прилавком, а лежал где-то наверху на огромной гряде измятых скомканных кусков. Мы должны были заирать головы, чтобы видеть этого доброго человека, который хриплым голосом кричал нам сверху:

— Вот тоже... рекомендую... Дерные крик делямод...

Образ действий приказчика меня изумлял.

Что могло удержать его от одного незаметного жеста руки, которым можно было бы опрокинуть на голову покупательницы часть этой груды "чего-нибудь на блузку"... Откапывание погребенной под развалинами покупательницы и вся последующая веселая суматоха дали бы приказчику некоторую возможность передохнуть и обратиться с силами, а покупательница на собственной голове и плечах убедилась бы, что бывает очень неудобно, когда "что-нибудь на блузку" весит от восьми до десяти пудов.

Последние "крики делямод", доносившиеся сверху, делались все тише и тише. Я понял, почему приказчик, увидев мою спутницу, побледнел от ужаса, а моя спутница в это время мягким, как серебряный бубенчик, голосом говорила:

— Этот цвет немного темен или, вернее, слишком для меня светел... Кажется, ничего я не подберу.

Она вздохнула и встала, ласково кивнув головой извинявшемуся где-то наверху телу приказчика.

— Мы уходим? — спросил я. — В таком случае, заверните мне, господин приказчик, вот этот кусок и этот... и этот!

— Для чего это вам? — изумилась Марья Павловна.

Я хотел сказать ей, что приказчик в самом худшем случае заслужил не этой бессмысленной для меня покупки трех кусков, а пожизненной пенсии и воспитания детей на казенный счет. Впрочем, едва ли ему нужна была пожизненная пенсия, так как, по своему наружному виду, бедняга мог дотянуть не дольше, чем до конца текущей недели.

III

Мы вышли из магазина — я, нагруженный громадным свертком, она, пустая, с победоносно веселым видом — и сели на извозчика.

— Ну? — спросил я.

— Ну?

— Куда же ехать?!

— Да к портнихе. Ведь я же говорила.

— Извозчик, к портнихе.

— На какую улицу прикажете?

— На какую улицу? — спросил я, оборачиваясь к своей спутнице.

— Такая... длинная. Я позабыла, право, как она называется.

— А, длинная! Так бы вы и сказали. Вероятно, еще по бокам стоят дома и у каждого ворот сидит дворник? Да?

— Да, да. Что-то в этом роде. Там еще есть четырехэтажный дом с такими воротами.

— С какими?

Она вытянула вперед пальцы и неопределенно пошевелила ими.

— Вот с такими, знаете?..

— Ах, вот такие ворота? Очень красивые. А улицы вы так и не знаете?

— Да я знала, да позабыла. Помню, сейчас нужно вправо завернуть.

— Извозчик! Направо.

— Да куда он едет?! Не туда! Направо!

— Он и едет направо!!

— Тогда, значит, налево.

— Эти извозчики вечно путают, — сурово проворчал я. — Дело в том, что у извозчиков и у прочих мужчин правая сторона случайно совпадает с правой рукой, а у женщин она совпадает — с левой! И мужчины так тупы, что не могут к этому привыкнуть.

— Вообще, вы, мужчины... — критически сказала Марья Павловна и улыбнулась с сознанием собственного превосходства.

Мы повернули на какую-то улицу и поскакали по ней, причем я бросал пронизательные взгляды на все дома с "такими" воротами. А моя спутница в это время украдкой перекрестилась.

— Что это на вас напала такая богомольность? — пожал я плечами. — Не хотите ли вы посвятить себя Богу?

— Нет, — сказала она. — Я так узнаю, где правая сторона.

— То есть... как же это?

— Да ведь крестятся правой рукой! Я перекрещусь и думаю: "ах, вот она где, правая сторона".

— Изумительно просто! И дорогу можно находить, и грехи в то же время замаливать. Если бы все знали этот остроумный способ — не было бы заблудившихся и грешных людей.

— Вы льстите мне! — кокетливо хлопнула она меня перчаткой по руке. — Да это и не я придумала. Подруга.

— Богато одаренная натура, — одобительно сказал я.

IV

Ввиду громадного количества домов с "такими воротами" портниху мы не нашли.

Когда через час ехали обратно, Марья Павловна вспомнила:

— А что вы мне хотели сказать такое серьезное? Помните, давеча дома говорили? Еще говорили, что это для вас очень важно!..

И я не назвал ее мысленно ни Мэри, ни Мышонком, а зевнул и сказал:

— Ах, да! Я хотел спросить только: где вы покупаете такое прекрасное печенье к чаю?

И с этого момента пустыня лишилась одного из лучших отшельников, которые когда-либо спасались в ней...

ЛОЖЬ

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль — чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени, — и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки, — сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китадца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех — масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

— Что же это, — весело вскричала жена Лязгова. — Около двенадцати, а публики еще нет?!

— Подойдут, — сказал Лязгов. — Откуда ты, Симочка?

— Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или — встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

— Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

— С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

— Как же не были? А я заезжал к Черножуковым — мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

— В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:

— Почему она должна была солгать?

— Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

— К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

— А он все-таки здесь!

— Не понимаю... — пожал плечами студент Конякин.

— Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

— Он, кажется, скрывается, — постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. — За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.

Но студент Конякин забеспокоился.

— Следят?! Кто следит?

— Эти, вот... Сыщики.

— Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, резко ответила:

— Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость — газетный рецензент Блюхин.

— Мороз, — заявил он, — а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

— А жена тоже сейчас только оттуда, — прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. — Встретились?

— Что вы говорите?! — изумился Блюхин. — Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

— Однако я там была. С Марьей Александровной Шемпуриной.

— Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, — все как на ладони.

— Мы больше сидели все... около музыки, — сказала Серафима Петровна. — У меня винт на коньке расшатался.

— Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

— Я уже отдала его слесарю.

— Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? — спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

— Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

— Извиняюсь, что опоздал, — раскланялся он. — Задержал прекрасный пол.

— На драматурга большой спрос, — улыбнулся Лязгов. — Кто же это тебя задержал?

— Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

— Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

— Как не читал? — обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. — Читал! Именно ей читал.

— Ха-ха! — засмеялся Лязгов. — Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

— Да, она со мной была, — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

— Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою "Комету".

— Вы что-нибудь спутали, — пожала плечами Серафима Петровна.

— Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурина мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так — спутать?

— Хотите чаю? — предложила Серафима Петровна.

— Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

— Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

— Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

— Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

— Ничего не понимаю! — изумился Селиванский.

— То-то и оно, — засмеялась Серафима Петровна.

— То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

— Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно.

— Да. С Шемшуриной.

— А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

— Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

— Конечно лжете. Я вас прекрасно видел.

— Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

— Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

— Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

— А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

— Вы этого не сделаете?!

— Отчего же не сделать?... Сделаю!

— Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

— Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

— А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы — ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

— А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что

этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в "Буфф", где и оставил.

— Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в "Буфф" повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:

"Да. Вот это ложь!"

ВИЗИТЕР

ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает — какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!

Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха; он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка — ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко.

Вот что проделывает визитер, собираясь уходить.

Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки; а на десятом визите галстук лихо передвинется набекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера, а в красном шелковом платочке, засунутом за

жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло.

Нет нужды! Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает.

Все его мысли и мироощущение — в настоящем.

* * *

Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненный нежной любви и ласки к прекрасному человечеству.

Мужчины по большей части переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два — приходятся в воздух.

Визитер этим не смущается: воздух так воздух — он поцелует и воздух. И воздух хороший человек.

С дамами визитеру приходится повозиться.

— Ах, я, простите, не целуюсь.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно.

— Помилуйте, такой праздник... Нужно обязательно поцеловаться.

— У меня принцип — не целоваться. Ах, ах!

У многих дам единственный принцип в жизни — не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкой-мысленной жизни они целуются без всякого порядка и смысла, и тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху.

Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух.

Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу.

— Закусите-ка... Рюмку рябиновой?

В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках и закусках чрезвычайно тонко: он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры; потом зубровки и — ветчины; напоследок — рюмку коньяку и отведаст кулича.

От коньяку поморщится, а кулич похвалит.

Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности: сначала он пьет какой-нибудь ли-

кер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича.

И чем дальше — тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью.

Налитое по ошибке, вместо белого вина, прованское масло он хочет закусить ветчиной; но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки — в рот.

— Хорошая семга, — одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу. — По... чем продавали?

Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо "покупали" — "продавали"...

Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка как живая пляшет на груди, в такт смеху веселого хозяина.

* * *

На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу.

Прием один и тот же:

— В какой церкви были у заутрени?

— В соборе.

— А где разговлялись?

— Дома.

— А хорошие у вас куличи вышли?

— Хорошие.

— А летом вы на даче?

— На даче.

— Как вообще поживаете?

— Да ничего. Ну, мне пора.

— Да посидите еще.

— Нет, нет, что вы!

Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей, но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным.

На вопрос:

— Где были у заутрени?

Он, зрело обдумав свой ответ, говорит:

— Четырнадцать. Да еще восемь позавчера.

— Что — восемь?

— Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня — чего там!

— Что?

— Вот вам и что! Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины?

На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех исподлобья.

В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться; или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал; или будет пытаться влезть в рояль, с категорической, не допускающей возражений просьбой:

— Разбудить его в половине шестнадцатого.

Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии, но автору этой статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер.

Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстия водосточных труб.

Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания... Вызывали к себе его интерес только пустяки.

Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе.

Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот.

— Человек! Где у вас склад ненужных отбросов?

— Чего-с?

— Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров.

— Да бросьте ее, — сказал, засмеявшись, дворник. — Чего там.

Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю.

— Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо.

— Да кому же она мешает? — сказал дворник.

— Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет... Умрет... без... миропомазания...

Он нагнулся, поднял снова спичку, вырыл под воротами пальцем ямку, облегченно вздохнул.

— Так-то оно и спокойнее... Прощайте, Никифор.

Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку.

Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька.

Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь.

— Бедненькая! — сказал он, глотая слезы. — Неужели ты уже умерла? Нет! Ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там в тепле и холе ты проживешь остаток дней твоих. О, жестокие, безнравственные люди!.. Господи, Боже ты мой! За что, спрашивается? За что?

И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием.

Потом вынул шелковый платочек, разостлал его на коленях, положил в него кильку и, с трудом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета.

Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида.

Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов.

Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом.

Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю, или раздуть ее, или изукрасить.

Да он был и слишком глуп для этого.

Кто знает хорошо институт пасхальных визитов — тому эта история не покажется особенно странной и небывалой.

Вот что он рассказал:

Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков.

Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно и около его кровати лежал тщательно вычищенный фрак.

Чиновник пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе:

— "Нынче нужно делать визиты — первый день Пасхи, слава Богу! Пора бы одеваться".

Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее.

— Вези меня на Дворянскую, номер 7.

Приехал на Дворянскую, отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 и позвонил.

— Дома? — спросил он горничную. — Принимают? Христос Воскресе.

— Пожалуйста-с! Воистину.

Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами.

— Да я не христосуюсь с мужчинами, — кокетливо заявила хозяйка.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно!

Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу...

— Рюмочку зубровки! Попробуйте нашего кулича — нынче, кажется, удачные.

— Попробую! Да, кулич прекрасный..

— Где были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В университетской церкви.

— А где разговлялись?

— Дома.

— Летом на даче думаете?

— На даче. Ну, мне пора.

— Да посидите еще! В кои-то веки соберетесь.

— Нет, нет, что вы.

Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку.

— Московская, 12, квартира 20.

Извозчик привез. Чиновник повонил, похристосовался с плутоватой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил допель-кюммель.

— Где были у заутрени?

— В университетской церкви.

— Летом на даче?

— Да, ну, мне пора. До свиданья-с.

— Куда же вы?

Третье место, куда поехал извозчик, было:

— Ивановская, 9, квартира 6.

После обычного христосования и двух рюмок коньяку хозяйка спросила:

— Где были у заутрени?
 — В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня.
 — Я думаю, — сказала хозяйка.
 — Да, — подтвердил чиновник. — Минут сорок нужно ехать.
 — Откуда?!!
 — Да от меня!
 — Помилуйте, что вы говорите!.. Как же от Харькова до Петербурга сорок минут езды?
 Чиновник встал, потрясенный до самого дна.
 — Это... какой город?
 Хозяйка засмеялась.
 — Вот тебе раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых, — да не знает, что это за город.
 — Так вы Сверчковы? — вскричал чиновник.
 — А у меня в книжке записан такой адрес: Ивановская, 9, квартира 6 — Чаплыгина. Вы, значит, не Чаплыгины?
 — Да нет же — мы Сверчковы.
 — Тогда извините, — растерялся чиновник. — Всего лучшего. Я уж пойду.
 — Куда же вы — посидите!

— Понимаете, — говорил мне, рассказывая об этом случае, чиновник, — экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и Московская, и Дворянская, и Ивановская. Я по петербургским адресам и ездил.
 — Да как же они вас принимали, незнакомого?
 — спросил я удивленно.
 — Да им-то что?.. Приехал визитер, во фраке, христосует, был у заутрени, пьет водку — значит, все как нужно, все как следует... А мое тоже положение — разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии — так бы никто ничего и не заметил.

Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации.

Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то повторяю: не мог же чиновник пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее!

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ) (1910—1911)

Книга первая

ПОЭТ

— Господин редактор, — сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, — мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

— Ничего, ничего, — ласково сказал я, — не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

— Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стишки не подошли.

— Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

— Эти стишки не подошли?!

— Да, да. Эти самые.

— Эти стишки?! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
 Каждое утро чесать
 И, чтоб не гневался Аполлон,
 Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

— Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

— Да вы бы их еще раз прочли!
— Да зачем же? Ведь я читал.
— Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

— Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! "Хотел бы я ей черный локон..."

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

— Стихи не подходят.

— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

— Нет, зачем же оставлять?!

— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

— Не надо. Оставьте их у себя.

— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

— До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.

Прочел:

Хотел бы я ей черный локон...
Каждое утро чесать
И, чтобы не гневался Аполл...

— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать... и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

— Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

— "Хотел бы я ей черный ло..." Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.

— Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом — в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

— Что такое?

— Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон...

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в злобном молчании подобрала несколько обрывков письма.

— От кого это?

— Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

— Да? А что это тут написано?.. Гм... "Целовать"... "каждое утро"... "черты... локоны"... Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаюсь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянкой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

— Папочка! — радостно закричал Володя. — Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

— Я тебя высеку, — злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: "Хотел бы я ей черный локон"... — ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это то — на продажных тварей) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало — кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

— Чья это ручонка? — спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

— Чья это маленькая ручонка?

Самое простое — жене нужно было бы ответить:

— Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

— Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

— Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

— Окрошка, на второе голубцы, а потом — крем.

Или:

— Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

— Да нет же! — хохотал он. — Что у нас должно родиться?

— Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

— Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

— Мальчик.

— Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным,

он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

— Котлеты под морковным соусом.

Но говорю:

— Инженера.

— Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

— Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

— Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

— Хороший нагрудничек.

— Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

— Панталончики?

— Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

— Видел. Три раза видел.

— Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

— Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. "Папочка, — скажет он мне, — папочка, дай мне карамельку!" Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

— Купи пуд, — советую я.

— Пуд, пожалуй, много, — задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

— А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

— А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

— Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

— Что?

— Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

— Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

— Эй! — кричу я. — Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

— А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

"Дорог Александр Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастлив. отец!!!! Ого-го-го!"

"Бедняга помешается от счастья", — подумал я, взбега по лестнице его квартиры.

Дверь открыл мне сам муж Митя.

— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

— Поздравь, — сухо ответил он.

— Жена благополучна? Здорова?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

— Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

— Ха-ха! Можешь поздравить... пойдем, покажу.

— Он в колыбельке, конечно?

— В колыбельке — черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

— Послушай! — закричал я, отскочив в смятении.
— Там, кажется, два!

— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

— Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

— А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

— Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

— Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

— Да как же! Теперь я погиб...

— Почему?

— Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут — учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать — она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: "А чья это ручка? Чьи ушки?"

— Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

— Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

— Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О, Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:

"Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования".

ЛЕНТАЙ

На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок со мной сидел человек.

Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внимание, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее нелепым и странным поведением... Он сидел, скорчившись, подняв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, которую он читал, лениво водя по строкам полужакрытыми глазами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал глаза кверху и начинал смотреть на маленькую, ползущую по небу тучку или переводил взгляд на металлическую решетку сквера.

Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шевелил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевавшегося соседа.

Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодушно-сонным видом.

Но, перевернув таким образом несколько страниц, ветерок превратился в ветер и, дунув на нас, свалил книгу с колен сидевшего около меня господина.

Господин скользнул равнодушным взглядом по валявшейся на дорожке книге и, закрыв глаза, задремал.

— Послушайте... Эй! Слушайте... у вас упала книга, — сказал я, дергая его за рукав.

Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на книгу.

— Да. Упала.

— Так надо бы ее поднять!

Он обернулся ко мне, и в его сонных глазах засветилась хитрость.

— Не стоит вставать из-за этого... И вы сидите... Кто-нибудь другой поднимет.

— Да почему же? — удивился я.

В этот момент из-за поворота показалась женщина в платке, с корзиной в руках. Поравнявшись с нами, она

увидела книгу, инстинктивно наклонилась и сказала, поднимая ее:

— Книжечка, господи, упала!

После чего положила ее на скамейку и, недоумевающе посмотрев на нас, пошла дальше.

Мой сосед открыл сонные глаза и подмигнул мне:

— Видите! Говорил я вам.

— Неужели вам было трудно самому поднять книгу?

— А вы думаете — легко!

Я разговаривал с ним.

Около меня сидел Лентяй, такой чистокровный и уверенный в своей правоте Лентяй, каких мне до сих пор не приходилось видеть.

— В сущности говоря, — жаловался он мне, — на человека взвалена в жизни масса работы! Он должен пить, есть, одеваться, умыться, а если он религиозный, то и молиться Богу... Я уже не говорю о том обидном факте, что это даже не считается работой. Вы подумайте! *Кроме всего этого, он еще должен работать!* Миленькая планета, черти бы ее разодрали по экватору надвое!

— Как же вы живете? — спросил я.

— Какая же это жизнь, — простонал он. — Это мучение.

Наморщив брови, он, с явным желанием ошеломить меня, сказал:

— Представьте себе: вчера я должен был ехать к портному заказывать костюм!

Так как я остался равнодушным, то он продолжал:

— Да... заказывать костюм! Чтоб он лопнул по всем швам! Выбирать материю, подкладку, снимать мерку...

Я не выразил ему никакого сочувствия.

— Поднимите, говорит, руки! Снимите пиджак... Не горбитесь, вытяните ногу! А? Как это вам нравится...

— Жизнь ваша ужасна! — серьезно сказал я. — Отчего бы вам не покончить ее самоубийством?

Он откровенно сказал:

— Я уже думал об этом... Но понимаете, такая возня с этими дурацкими крюками, веревками... А тут еще эти письма писать... поздравительные, или как их там, что ли... Повозился, повозился, так и бросил.

Он поднял глаза к небу и сказал:

— Ах, черт возьми! Солнце уже заходит... Не можете ли вы сказать мне, который час?

— Мои стоят, — сказал я, взглянув на часы.

— Э, чтоб она пропала, эта преподлая планетишка! Крутится, крутится, а чего — и сама не знает.

— Часы можно проверить в магазине напротив сквера, — посоветовал я.

— Можно, — сказал он, ласково посмотрев на меня.

Я встал.

— Я пойду, посмотрю.

— Ах, мне так совестно затруднять вас! — воскликнул он, не вынимая рук из карманов. — Может быть, подождем прохожего, спросим у него.

Возвратившись, я нашел его в той же позе.

— Без двадцати семь!

— Что вы говорите! Чтоб это бабье попало небесный огонь!

— Какое бабье?

— Да мне нужно сейчас в Александровский сад.

— Прекрасно! — сказал я. — Я тоже собираюсь туда.

Отправимся вместе.

Лентяй не обрадовался, а умоляюще посмотрел на меня.

— Ради Бога! Не могли ли бы вы оказать мне одну огромную услугу... Раз вы идете в Александровский сад, то это так кстати... А уж я вам потом чем-нибудь отплачу... Тоже схожу куда-нибудь... Или нет! Лучше подаю очень забавную вещь: китайский портабак... А?..

— Сделайте одолжение! — сконфузился я. — Я и так...

— Вот что... На третьей скамейке боковой аллеи будет сидеть барышня в сиреновой шляпе. Это — моя невеста. Я ее очень люблю, и мы назначили свидание друг другу...

— Так отчего же *вам* не пойти! — вскричал я, пораженный.

Он виновато улыбнулся.

— Я лучше здесь посижу. Знаете, придешь — расспросы разные, ласки... ухаживать за ней нужно, заниматься разговором... Это страшно утомительно... чтоб они треснули, эти романы! А потом нужно провожать ее домой... Я уж лучше после когда-нибудь.

— Что же ей сказать? — угрюмо спросил я.

— Скажите, что я болен, что у меня температура... что доктора с ног сбились...

— А если она все-таки захочет видеть вас?

— Скажите, что у меня заразительная форма. Может быть, она испугается.

Пожав плечами, я протянул ему руку.

— До свиданья!

— Всего хорошего... Вот мой адрес... Очень буду рад, если зайдете! К невесте вы успеете как раз... теперь около семи часов.

Он вынул часы. Я воскликнул:

— Оказывается, у вас есть часы?!

— Да, — добродушно подтвердил он. — А что?

— Ничего... Прощайте!

Барышню я нашел в указанном месте.

Подойдя, раскланялся и вежливо сказал:

— Я от вашего жениха. Он болен и прийти не может!

— Как болен?! Да я его видела сегодня утром...

— Но сейчас он в опасном положении... У него... гм... температура.

— Какая температура?

— Такая, знаете... высокая! Что-то градусов сорок. Должен вам сообщить тяжелую весть: он лежит!

— Да он всегда лежит! Как только дома, так и лежит.

— Он страшно убивался, что не может вас видеть.

Поставил себе термометр и говорит мне...

— Он поставил себе термометр? — строго спросила барышня.

— Да... знаете, Реомюра, такой никелиро...

— Сам поставил?

Я покраснел.

— Сам.

Она посмотрела мне в глаза.

— Зачем же вы лжете? Он *сам* никогда не мог бы сделать этого... Боже! Что это за человек? Нет, довольно! Передайте ему, чтобы он и на глаза мне не показывался!

— Если вы хотите ему насолить, то прикажите показываться вам на глаза три раза в день, — посоветовал я.

— При его лени это лучший способ мщения.

Она рассмеялась.

— Ну, ладно. Скажите ему, чтобы он приехал завтра с утра. Мы поедем с ним по магазинам.

— Так его! — жестко проворчал я.

Расстались мы друзьями.

Я стал бывать у Лентя, и между нами возникла какая-то странная дружба. При встречах я ругал его, на чем свет стоит, а он добродушно улыбался и говорил:

— Ну, бросьте... ну, стоит ли... ну, охота...

Вчера я зашел к Лентею и застал его по обыкновению лежащим в кровати.

Около него валялась масса изорванной газетной бумаги и пальто, очевидно, снятое и брошенное на пол впопыхах, по возвращении с обычной прогулки в сквере.

Лентя повернул ко мне голову и радостно сказал:

— А-а, это вы! Признаться, я уже жду вас с полчаса...

— А что случилось?

— Не можете ли вы оказать мне одну дружескую услугу?

— Пожалуйста!

— Нет, мне, право, совестно! Я так всегда затрудняю вас.

— Да говорите! Если это для меня возможно...

— Я знаю, это вас затруднит...

— Э, черт! Вы меня больше затрудняете вашими переговорами!.. Скажите, что вам нужно?

— Не могли ли бы вы дать мне зонтик, который стоит в углу в передней?

— Что это вы! Неужели на вас дождь каплет?

— Нет, но проклятый портсигар, чтоб ему лопнуть вдоль и поперек, завалился за кровать.

— Ну?

— А в зонтике есть ручка с крючком. Я зацеплю его и вытащу.

— Так лучше просто засунуть руку за кровать.

Он почтительно посмотрел на меня.

— Вы думаете?

Я достал ему портсигар и спросил:

— Что это за бумага валяется вокруг вас?

— Газетная. Дурак Петр, чтоб ему кипеть на вечном огне, забыл на кровати разостланную сегодняшнюю газету.

— Ну?

— А я пришел и лег сразу на кровать. Потом захотелось прочесть газету, да уж лень было вставать...

— Ну?

— Так я вот и обрывал ее по краям. Оторву кусочек, прочту и брошу. Очень, знаете ли, удобно. Только вот с фельетоном я немного сбился. Как раз на середине его лежу.

Я открыл рот, чтобы обрушиться на него градом упреков и брани, но в это время в открытое окно ворвался чей-то отчаянный пронзительный крик.

Мы оба вздрогнули, и я подскочил к окну.

На воде канала, находившегося в двадцати шагах от дома, барахтался какой-то темный предмет, испуская

отчаянные крики... На почти безлюдном в это время берегу бестолково бегали какая-то женщина и мальчишка из лавочки... Они махали руками и что-то визжали.

— Человек тонет! — в ужасе обернулся я к Лентяю.

Под ним будто пружина развернулась.

— Э, проклятый! — подбежал он к окну. Конечно, тонет, чтоб его перерезало вечерним поездом!

И, сбросив пиджак, он камнем вывалился из окна. У Лентяя был такой вид, что, будь окно в третьем этаже, он вывалился бы из него так же поспешно. К счастью, квартира Лентяя была в первом этаже.

Помедлив минуту, я выпрыгнул вслед за ним и помчался к берегу.

Лентяй был уже в воде. Он плыл к барахтавшемуся человеку и кричал ему:

— Как можно меньше движений! Делайте, как можно меньше движений!

Я уверен, что этот совет он давал просто из присущей ему лени.

Но сам Лентяй на этот раз обнаружил несвойственную ему энергию и сообразительность. Через пять минут мы уже вытаскивали на берег плачущего извозчика, который имел глупость упасть в канал, и моего Лентяя, — безмолвного, мокрого, как умирающая мышь.

Зубы у него были стиснуты и глаза закрыты.

Извозчик сидел на берегу и всхлипывал, а какой-то подошедший лавочник наклонился к лежащему Лентяю, пощупал его и сказал, снимая фуражку:

— Шабаш! Кончилась христианская душа!

— Как кончилась? — в смятении воскликнул я. — Не может быть! Он отойдет... Мы его спасем... Братцы! Помогите отнести его в квартиру... Он тут же живет... тут...

Мокрый извозчик, баба, лавочник и мальчишка подняли тело Лентяя и, предводительствуемые мною, с трудом внесли в его квартиру.

Вся компания взвалила его на кровать, дружно перекрестилась и тихонько на цыпочках вышла, оставив меня с телом одного.

Тело пошевелилось. На меня глянул хитрый глаз Лентяя:

— Ушли? — спросил он.

— Боже! Вы живы!! А я думал...

— Вы извините, что я вас затруднил. Мне просто не хотелось мокрому возвращаться на своих ногах, и я ду-

маю: пусть это дурачье, чтоб их перевешали, понесет меня на руках. Я вас не затрудню одной просьбой?

— Что такое?

— Нажмите кнопку, которая над моей головой! Хотя мне, право, совестно...

СЛАВНЫЙ РЕБЕНОК

I

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем, пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья... Звали доктора, пахнувшего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан — что было тоже неожиданно любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запереть ящик с красками в комод и заперал их, таким образом, целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и пробовал, заперт ли он? Расчет у Сашки был простой — забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод...

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее: со вчерашнего дня он все время носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный был здесь.

Полюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к "этим паршивым яйцам".

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, — она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну, что же это такое? Ну, как же это можно? Ну, как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в пуговицы... Проигравшись дотла, он оборвал с себя все, что было можно: штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кровати, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера

и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

— Не понимаю... Как она могла догадаться, что это я? — поражался Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так.

— Как — так?

— Да так.

— Ну, так знай же, котлет ты не получишь!

— И не надо.

Сашка бьет наверняка. Он с деланной слабостью отходит к углу и садится на ковер.

— Бледный он какой-то сегодня, — думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просит.

— Не хочу! Сама ешь.

— А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота...

Мать встает и отправляется на кухню.

Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?

— Надо.

— Да для чего?

— Надо!

— Надо, надо... А для чего надо? Вот — не дам.

— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала... Думаешь, не видел?

— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив

в баночку, доливает водой, насыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

IV

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваныч! — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

— Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и все может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши, да за дверь... Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

— Тиш!.. Чего ты кричишь, — шипит квартирант, зажимая Сашку рот. — Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчик...

— Ма-а-ма! Он меня прогоняет!

— Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу, — входит мать. — Он вам, вероятно, мешает?

— Нет, ничего, — помилуйте, — морщится квартирант. — Пусть сидит.

— Сиди, Сашенька, только смирненько.

— Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой, — думает квартирант, а вслух говорит:

— Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит...

— Да, уж он такой, — подтверждает мать.

V

За обедом Сашке — сплошной праздник.

Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и, когда результатом

соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистой жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху.

— Я котлет не желаю!

— Почему?

— Они с волосами.

— Что ты врешь! Не хочешь? Ну, и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом, решив, что наголодался за этот промежуток достаточно — пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее — голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

VI

Обед кончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашки.

До отхода ко сну нужно успеть еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожника Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеет и обдумывает последний план: выждавши, когда все заснут, — пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах...

Они очень и очень пригодятся Сашке.

СПЕЦИАЛИСТ

Я бы не назвал его бездарным человеком... Но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих... Кроме того, он был добр и это было скверно. Услужлив, внимателен — и это наполовину сокращало долголетие его ближних.

До тех пор, пока я не прибегал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку: Усатов все знал, все мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости.

Однажды я сказал:

— Экая досада! Парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться.

Усатов бросил на меня удивленный взгляд.

— А ты сам побрейся.

— Я не умею.

— Что ты говоришь?! Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею.

— А ты... умеешь?

— Я?

Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно.

— Тогда, пожалуй.

Я принес бритву, простыню и сказал:

— Сейчас принесут мыло и воду.

Усатов пожал плечами.

— Мыло — предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами не верят. Я побрею тебя без мыла!

— Да ведь больно, вероятно.

Усатов презрительно усмехнулся.

— Садись.

Я сел и, скосив глаза, сказал:

— Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок.

— Ладно. В конце концов, это не так важно. Сиди спокойно.

— Ой, — закричал я.

— Ничего. Это кожа не привыкла.

— Милый мой, — с легким стоном возразил я. — Ты ее сдереешь прежде, чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет.

— Это кровь, — успокоительно сказал он. — Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной.

Он прилежно занялся другой стороной. Я застонал.

— Ты всегда так стонешь, когда бреешься? — обеспокоенно спросил он.

— Нет, но я не чувствую уха.

— Гм... Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим... Смотри-ка! что это... У тебя ус отвалился?!

— Как — отвалился?

— Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая...

— Разве это плохо?

— Да. Это у парикмахеров считается опасным.

— Тогда, — робко спросил я. — Может, отложим до другого раза?

— Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?

Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.

Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.

— Милый, — сказала мне жена. — Кстати, я вспомнила: пригласи настройщика для пианино. Оно адски расстроено.

Усатов всплеснул руками.

— Чего же вы молчите! Господи... Стоит ли тратить на настройщика, когда я...

— Неужели вы можете? — обрадовалась жена.

— Господи! Маленькое напряжение слуха...

— Но у тебя нет ключа, — возразил я.

— Пустяки! Можно щипцами для сахара.

Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам.

Пианино взвизгнуло.

— Правая сторона хромает! Необходимо ее подтянуть.

Он стал подтягивать, но, так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.

— Разве? Ну, ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше.

Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощупывал педаль.

После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:

— Скажи, дружище... Черные тебе тоже подвинтить?

— Что черные? — не понял я.

— Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество.

Я взял из его рук щипцы и сухо сказал:

— Нет. Не надо.

— Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся.

Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день не потерянным,

потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в резервуар и вывести камфарным маслом пятно с бархатной скатерти.

Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:

— К тебе не дозвонишься!

— Звонок оборвал кто-то. Вот приглашу монтера и заведу электрические.

— Дружище! И ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником... Кто же тебе и проведет звонки, если не я...

На глазах его блеснули слезы искренней радости.

— Усатов! — угрюмо сказал я. — Ты меня брил — и я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино — и мне пришлось звать настройщика, столяра и полировщика.

— Ах, ты звал полировщика?! Миленький! Ты мог бы сказать мне, и я бы...

Он уже снял куртку и, не слушая моих возражений, засучивал рукава:

— Глаша! Пойди, купи тридцать аршин проволоки. Иван! беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления.

Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин "звонок двойного давления" вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы доверить моему странному другу.

— Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист. — Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста:

— Слушай... Ведь она не изолированная?

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов.

— Что — от чего?

— От чего не изолированная?

— Ни от чего! Сама от себя.

— А для чего тебе это нужно?

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать.

— Отверстие в двери мы уже имеем. Надо протащить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто!

— А где же у тебя элементы?

— Какие элементы?

— Да ведь без элементов звонок звонить не будет!

— А если я нажму кнопку посильнее?

— Ты можешь биться об нее головой... Звонок будет молчалив, как старый башмак.

Он задумался.

— Брось проволоку, — сказал я. — Пойдем обедать.

Ему все-таки было жаль расставаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой, дикой души...

— Я возьму его с собой, — заявил он. — Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать.

Кое-что ему действительно удалось сделать.

Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка, и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом.

Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатова с худой, костлявой старухой болезненного вида.

— Вы говорите, что доктора не могут изгнать вашего застарелого ревматизма? Я не удивляюсь... К сожалению, медицина теперь — синоним шарлатанства.

— Что вы говорите!

— Уверю вас. Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете.

— Помогите, батюшка...

— О-о... должен вам сказать, что лечение пустяковое: ежедневно ванны из теплой воды... градусов так 45—50... Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном наваре... или еще лучше по два порошка цианистого кали в четыре килограмма. Перед обедом прогулка — так, три-четыре квадратных версты, а вечером впрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь!..

ПРАВЕДНИК

Бледные лучи лунного света робко прокрадываются сквозь маленькое запыленное окошечко и причудливыми бликами ложатся на лицо человека, сидящего с опущенной головой в каморке, убого меблированной.

Глубокие, черные тени пугливо прячутся во впадинах его изможденного, худого лица и только слегка бледнеют, ежатся и сокращаются, когда лицо поворачивается к окну.

Против него, совсем затушевываясь в густой тьме, помещается его собеседник. Последнего совсем не было бы заметно, если бы он по временам, в пылу горячего разговора, не приближал своей головы к полосе лунного света.

И тогда на его лице можно прочесть ужас и негодование.

Он изредка вставляет свои замечания и вопросы. Речь же другого, тихая и монотонная, льется как дождик в пасмурный осенний день.

— ...И хотя вы исходите весь мир, не найдете ни добра, ни справедливости... Поверьте-с! Со-о-орок лет! Сорок лет ищу ее, подлую, шарю по целому свету... И нет ни одного справедливого человека! Да-с! На что народ, народ-то наш православный, и то!.. Намедни говорю я Афимье, что через крыльцо у акцизного живет: "Эй, говорю, Афимья, не по-хорошему живешь! Солдат-то, что каждый вечер ходит на кухню, не муж ведь, чай, а? А ведь это грех... Уймись ты, говорю, Афимья, брось солдата, живи по-хорошему!" Так что же вы думали? Возьми она, да расскажи это своему хахалю... Встречает он меня в переулке, к вечеру я шел, и шепчет: "Ты, говорит, барин, тово... Афимье не пой! А то я те, говорит, такое пение пропишу, что как по нотам..." Да кулачищем на меня...

— Известно, необразованность... — вздыхает хозяин.

— Какое! А выше-то лучше? — машет рукой оратор.

— Один грех... Дело тоже такое вышло на днях. Сидим мы у Перепойкина, консисторского, пьем чай. Был и Турухтанов, знаете, что опекуном над Карпычевскими сиротами назначили. Уж не знаю, как он их там опекает; а только, думаю себе, дело-то такое... соблазнительное. До греха рукой подать. А ежели что, то сирот жалко. Ежели, то есть, не по правде... И говорю я ему при всех, чтобы чувствительнее было и чтобы понял он, что я по правде. "Вот, говорю, Поликарп Семеныч, упредить тебя я хочу. Оно, конечно, ты, может, и честный человек... только не делай ты этого и сироток пожалей... Жалко ведь. Махонькие оне". И так это я хорошо сказал, что сам прослезился. А он, понимаете, вскакивает да на меня. "Это, говорит, что за намеки глупые!" — "И никаких

намеков, скромно я ему отвечаю, нет; а плоть слаба, опять же махонькие оне... А ежели ты, говорю, пылишь и дымишь с первого слова, так это что-то подозрительно... Нет дыму без огня!" Не успел я этого, представьте, сказать, как он меня ручищей за воротник, да об пол!.. Это за мою-то правильность! Тут шум, конечно, все повскачили; а я поднялся с полу, отряхнулся, взял шапку и говорю с христианским смирением: "Бог тебя простит, Поликарп Семеныч, только вижу я теперь, что подлец ты первостатейный, и сироток-то уж, без сомнения, обидишь, коли меня обидел..." Теперь, слышь, в суд на меня подаст за оскорбление словами... А какое тут оскорбление? Одно назидание!..

В каморке наступает мертвая тишина.

Слушатель долго, с благоговением, смотрит на гостя и наконец полуукоризненно произносит:

— И охота вам, Фома Еремейч, в чужие дела мешаться... Пользы никакой для вас, все больше неприятности!..

Фома Еремейч сокрушенно ударяет себя по колену и шепчет:

— Не могу, брат, хоть ты что!.. Правду эту самую уж больно люблю. Ох, смерть моя! Где вижу несправедливость, на стену лезу!..

Он угрюмо молчит, но вдруг лицо его озаряется каким-то новым воспоминанием:

— А вы думаете, меня не били? Били-с! — язвительно шепчет он, наклоняясь к слушателю и пронизывая его во тьме своими слезящимися глазками.

У того на лице появляется выражение ужаса, и он инстинктивно защищается рукой, как будто от чего-то страшного.

— Били-с! Это уж купцы такие. Вдовица одна, которая бедная, покупает у него фунт сахара, можно сказать, на последнюю лепту. А он, представьте, ей чуть не полфунта бумаги оберточной на сахар наворотил. Ну, на что вдове бумага, посудите сами? Я не вытерпел и говорю: "Бога ты не боишься, Сиволдаев, — зачем вдову обижать? Мало, что обвесил, наверное, да еще и бумагу..." Горько!

Рассказчик замолчал...

— Ну?!

— Били меня приказчики в те поры сильно... Мне говорили: "Поддай на него!" А зачем? Я только для справедливости, чтоб по правде...

По лицу слушателя видно, что он страдает еще больше, чем страдал его собеседник во время избиения при-

казчиками. Благоговение, жалость, гнев на непонимающих праведника людей — быстро сменяются на лице его. Наконец, он вскакивает, делает четыре шага вперед, потом поворачивается, как на оси, и шагает назад. Для чувств, которые его обуревают, мало комнаты длиной в четыре шага.

А Фома Еремеич уже рассказывает о каком-то капитане, который самовольно заложил золотые часы Фомы Еремеича, заставив его же и проценты платить.

Эти проценты — последняя капля в чаше невыносимо-удрученного состояния хозяина каморки.

Он, с нервно искаженным лицом, хватается рассказчика за плечи и поворачивает его лицо к лунному свету.

— Да вы что, — истерически взвизгивает он, — блаженной, что ли, или в раю живете? Зачем же, зачем вы все это делаете? Разве эти купчишки да капитаны поймут?! Не поймут они! Господи! А вы, — смотрите! Вы даже не возмущаетесь...

Фома Еремеич устремляет неподвижные глаза на взволнованное лицо хозяина и тоскливо шепчет:

— А правда-то! Велика правда! И не терплю я несправедливости, каковой много на свете!..

И потом через минуту добавляет:

— Каковой о-очень много на свете...

Наступает долгое молчание. Слышны мягкие шаги хозяина и хриплое дыхание катарального горла Фомы Еремеича. В окно смотрит любопытная луна, вероятно, досадуя, что слой пыли мешает ей видеть происходящее. Гость машинально водит головой за шагающим хозяином и жуёт губами, очевидно, желая, но не решаясь что-то сказать.

Наконец он прерывает молчание.

— От дочки-то... от Верочки, говорю, известий не имеете?

— Ах, не напоминайте мне про нее! — досадливо машет рукой хозяин, и по его лицу пробегает мимолетная судорога боли. — Счастья захотела, отца не спросила, ну, и что ж!.. Полюбуйтесь! Какое счастье... С офицером-то оно лучше, чем с отцом!.. Э-эх!

Он прислоняет лоб к окну и глядит прямо в желтое, нахальное лицо луны.

Глядит долго-долго... И до Фомы Еремеича доносится хриплый голос:

— Проклял я ее, вот что...

Гость неодобрительно качает головой.

— Проклял! Сами бы вы на себя посмотрели, а потом и проклинали... дочку-то! Что греха таить, не сладко ей было у вас. Сами вы... и денег куча, а живете в какой-то собачьей будке; она же девица молодая, ей жить хочется, ну, театры там, конфеты и все такое... А какие у вас конфеты? Ничего такого нет у вас! И живете вы бобылем сейчас, и никто вам глаз не закроет, ежели что...

Хозяин сначала удивленно прислушивается к словам Фомы Еремеича, но потом вдруг бледнеет от злости и начинает кричать, заломивши руки:

— Позвольте! Что же это такое? Как это вы мне?.. Да это вас не касается!! Мои семейные отношения, они мои и есть; а вы... вы зачем же мешаетесь? И такие слова...

— Нет-с, вы позвольте! — вскакивает с места Фома Еремеич.

Его нельзя узнать. Он преобразился... Глаза у него уже не мутные, а грозные, сверкающие. Он делается выше ростом, и указательный палец его твердо и значительно устремляется на хозяина. Как боевой конь при звуке трубы, он выпрямляется при одном намеке на когда-то и кем-то совершенную несправедливость.

— Вы мне позвольте! Я долго молчал, полагал, может, одумаетесь; ан, оно вот что... Проклял! Это по правде, а? А тебя бы, старого дурака, проклясть, — ты бы что запел? Она девица молодая, ей кон...феты...

Дальше он начинает хрипеть, потому что рука хозяина схватывает его за ворот.

— А, так ты меня же... и упрекаешь! Я, может, страдал, как в аду, два года; а ты... конфеты! Я тебе дам конфеты... Не смей! Уходи, пока я не распатался! Плохо будет... И не смей никогда ко мне ходить с такими словами... Уходи!

Через минуту Фома Еремеич, еще более похудевший и печальный, шагает по улице. Во впадинах под глазами сверкает по слезинке, и губы дрожат от недавней обиды.

Он бросает взгляд на залитую холодным лунным светом улицу, на прозрачное звездное небо и шепчет сокрушенно:

— Такой широкий мир, и так мало правды... Гм... Даже странно!

ДВОЙНИК

Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком.

Приятеля называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку, разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим и колесакиновыми приятелями.

Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тетки.

Его радовало все: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком — все это вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодушную улыбку.

Неожиданно за его спиной раздалось:

— А-а! Сколько зим, сколько лет!!

Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестевшим от скупого вокзального света, как медный шар.

Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти все колесакинское недоумение:

— Ну как же вы, батенька, поживаете?

— Черт его знает, — подумал Колесакин, — может быть действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню.

И ответил:

— Ничего, благодарю. Вы как?

Медный толстяк расхохотался.

— Хо-хо! А что нам сделается?! Ваши здоровеньки?

— Ничего... Слава богу, — неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил:

— Отчего вас давно не видно?

— Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает... Ах, черт возьми — вспомнил! Ведь вы меня, наверное, втайне ругаете?

— Нет, — совершенно искренно возразил Колесакин. — Я вас никогда не ругал.

— Да, знаем... — хитро подмигнул толстяк. — А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.

— Неужели?

— Уверяю вас! Кстати, что вспомнил... Позвольте рассчитаться. Большое мерси!

Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.

В Колесакине стала просыпаться его веселость и юмор.

— Очень вам благодарен, — сказал он, принимая деньги. — А скажите... не могли бы вы — услугу за услугу — до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный... послезавтра я вам пришло, а?

— Сделайте одолжение! Пожалуйста! В клубе как-нибудь столкнемся — рассчитаемся. А, кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежащее.

— Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.

Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые как будто глянули на свет Божий.

— Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?

— Да! — решительно и твердо сказал Колесакин. — У меня есть свои соображения, которые... Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне — вот и все. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!

— Спасибо! — сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. — Кстати, что Эндименов?

— Эндименов? Ничего, по-прежнему.

— Рипается?

— Ого!

— А она что?

Колесакин пожал плечами.

— Что ж она... Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.

— Совершенно правильно, Вадим Григорьевич! Золотые слова. До свиданья.

Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чухлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных теткинских дел.

Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура, и послышался радостный голос:

— Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако, как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?

— А она прехорошенькая! — подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора. — Мо-ему двойничку инженеру живет, очевидно, превесело.

— Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? — любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением. — Поцелуй меня, деточка.

— Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?

— Я много передумал с тех пор, — сказал Колесакин дрожащим голосом, — и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь... Тут темно. Садись ко мне на колени...

— А знаешь что, — продолжал он потом, тронутый ее любовью, — переезжай послезавтра ко мне! Заживем на славу.

Девушка отшатнулась.

— Как к тебе?! А... жена?

— Какая жена?

— Твоя!

— Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра... Она — моя сестра!

— Но ведь у вас же двое детей!

— Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк... Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов... Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.

— А... сестра?

— Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей... Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера... Поцелуй меня, мое сокровище.

— Господи... Я, право, не могу опомниться... В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи...

— Оставь. Брось... До послезавтра... Мне теперь так хорошо... Это такие минуты, которые, которые.

В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры.

Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.

— Давненько не изволили... забыли нас, Вадим Григорьевич. Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйста-с!

На эстраде играл какой-то дамский оркестр.

Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.

Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться...

После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:

— Молчите, проклятые струны!

В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей...

Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.

Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному свое имя и фамилию:

— Вадим Григорьевич Зайцев, инженер.

Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.

— Только, пожалуйста, послезавтра!

Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.

Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошел высокий щеголеватый господин и строго сказал:

— Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались... Вы — инженер Зайцев?

— Да!

— Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?

— У Заварзеевых? Ни капельки! — твердо ответил Колесакин.

— Так вот вам. Получите!

Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.

— Милостивый государь! — вскричал Колесакин, пошатнувшись. — За что вы деретесь?..

— Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!

И повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он — не Зайцев, что он пошутил... Но решил, что уже поздно.

Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съезжилось...

И при всей смешливости своей натуры, — веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.

ДАЧНЫЙ ТЕАТР

В каждом дачном театре есть режиссер, и каждый режиссер — фармацевт. Это загадочное свойство дачного режиссера наблюдалось многими, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения... Те редкие случаи, когда дачный режиссер оказывался не фармацевтом, объяснялись тем, что он имел брата или дядю — фармацевта, или сам в дни золотой юности мечтал, забившись в уголок, об этой почтенной, любопытной профессии.

Обязанности дачного режиссера заключаются в том, что он всегда безошибочно разрешает запутанные вопросы театрального быта, вроде таких: в ту или другую дверь нужно войти герою пьесы; или: как объяснить авторскую ремарку — *"она на коленях умоляет графа не покидать ее"*?.. Спрашивается: на чьих коленях она должна умолять: на своих собственных или графовых?

Авторитет режиссера в этих случаях стоит вне сомнений.

На его же обязанности лежит — выбрать пьесу. Пьеса может быть трудная, легкая, умная, глупая, сложная — это не затрудняет никого. Главное, чтобы в ней не было горничных.

Лакей, в крайнем случае, может быть терпим: всегда можно отыскать глупого, мрачного гимназиста, которому нечего терять в своей злосчастной жизни. Что же

касается горничной, то ни одна барышня не поддается на эту удочку...

Конечно, можно было бы переделать горничную в лакея, но как это сделать, — никто не знает.

Я знаю случай, когда одну барышню уломали-таки сыграть роль горничной. Ей нужно было выйти и сказать хозяйке во втором акте несложную, но необходимую в театральном обиходе фразу:

— Барыня! Чай в столовой подан.

Барышня надела для этого случая белое атласное платье, перчатки выше локтя, бриллиантовую брошь, а волосы украсила гирляндой из красивых роз... Войдя в нужную комнату, в гостиную, она, помявшись немного, сказала:

— А я к вам, моя дорогая... Здравствуйте! Сейчас проходила мимо столовой и вижу, что самоварчик уже подан.

Хозяйке ничего не оставалось делать, как пригласить ее садиться и, ведя с ней светский разговор, перепутать всю пьесу.

Героя пьесы играет всегда гимназист, обыкновенно самый взрослый из всех, которых можно найти в данной дачной местности.

Укоренившийся обычай этого гимназиста состоит в том, чтобы за две недели до спектакля с ролью в руках бродить днем и ночью по окрестностям, появляясь неожиданно в самых отдаленных местах, пугая влюбленные парочки, изумляя мужиков, натываясь на дремлющего рыболова...

В день спектакля гимназист начинает гримироваться. К этой загадочной для него операции он приступает с трех часов дня, если спектакль назначен в 9 часов, и с половины третьего, если спектакль — в половину девятого.

Все замыслы и стремления гримирующегося направлены обыкновенно к тому, чтобы как можно больше изменить свою наружность, сделать себя не похожим на свой обычный человеческий облик и услышать на спектакле восторженно-удивленный шепот знакомых:

— Да неужели же это Федя Мамахин?! Ни капельки нельзя узнать!

Густая черная борода, ярко-красные щеки и ряд морщин, проведенных в направлении, прямо противоположном и пересекающем обыкновенное место расположения будущих Фединых морщин, — все это делает Федю личностью загадочной, неузнаваемой.

При этом лиловые морщины, перемежающиеся с зелеными и красными, приятно разнообразят Федино мертвенное лицо, свидетельствуя о том, что Федя ни одной из красок не оставил в обидном пренебрежении.

Кроме пугающего, страшного опасения, как бы не провалиться, гимназиста Федю тревожит еще задернутый занавесой будущего вопрос: что скажет о нем пресса?

Представитель прессы сидит тут же в первом ряду и на все бросает критические, полные глубокого анализа взгляды.

Это тоже гимназист, но страшный, зловещий в своей таинственности гимназист: он пишет статьи и уже печатается, пишет заметки и уже печатается и пишет театральные рецензии и тоже уже печатается...

Что-то он напишет?

Зловещий гимназист-рецензент при самом поднятии занавеса вынимает из кармана громадную записную книжку, карандаш и, взглядывая искусственно-рассеянным взглядом на сцену, начинает делать в книжке отметки.

И публика, увидя это, начинает перешептываться, и все бросают на самоуглубленного гимназиста благоговейные взгляды, а он никого не замечает и пишет, пишет...

Судя по тому времени, которое он затрачивает на писание своих впечатлений, предстоящих опубликованию, можно быть уверенным, что на следующий день половина столичной газеты уйдет под правдивый отчет об этом спектакле...

Но на самом деле читатели встречают на последней газетной полосе такие строки, напечатанные нонпарелью:

"Вчера в нашем дачном театре состоялся спектакль. Давали: "Перепутались, а потом распутались". Исполнители были все на своих местах. Публики было много. Почаще бы устраивать, вместо пьянства и карт, подобные разумные развлечения!"

Бывает и так, что ни одной строки не появится в газете о спектакле, хотя рецензент накануне исписал всю записную книжку.

Тогда рецензент уходит от людей, оскорбленный, в лес и долго бродит там, шепча запекшимися губами:

— Подлецы!

В день спектакля с самого утра у дачных актеров-любителей такое выражение лица, будто бы их пообещали высесть, или они, сговорившись поджечь ночью чей-нибудь дом, не знают, куда до вечера деть свои досуги.

Режиссер-фармацевт один сохраняет непоколебимое спокойствие. Но оно — наружное. Втайне его булбуруют относительно спектакля самые черные мысли, вплоть до опасения, что актеры или публика могут его поколотить.

За два часа до спектакля выясняется, что режиссер, или его помощник, или суфлер, или кассир — ибо никто не знает, от кого это зависит, — совершенно упустил из виду одно обстоятельство: в третьем акте требуется декорация леса, а ее нет!

Гостиная есть, павильон есть, бедная комната есть, а леса нет.

И вот в этом случае нет ничего находчивее режиссера: театральный плотник командирится в близлежащую рощу с категорическим приказанием вырубить тайком и принести лес, в количестве пяти-шести малолетних деревьев, которые потом и прикрепляются гвоздями впереди "бедной комнаты", знаменующей собой необъятную лесную даль.

Таким же образом вид "скалы на взморье" получает полную иллюзию с помощью венского стула, обернутого серой бумагой, а луна просто выбрасывается, как светило второстепенное и всем достаточно намозолившее глаза в действительной жизни...

Двенадцать часов дня.

Так как объявлена "предварительная продажа билетов", то кассир уже на месте. До восьми часов вечера предварительная продажа дала такие результаты: какая-то старушка спросила билет в десятом ряду, но, узнав, что он стоит 60 копеек, — обиделась и ушла; ее заменил толстый отец семейства, сделавший кассиру заманчивое предложение продать семь билетов — "гуртом", за что и требовал сорока процентов скидки; получив отказ, он уступил место бойкой барышне, которая очень настойчиво просила кассира:

— Передать сестрам Дубининым, если они придут, что Иван Алексеевич завтра не придет... так и сказать: завтра не придет!

Чем предварительная продажа билетов и заканчивается.

Кассир дремлет, рассматривая от скуки лицо красного здоровенного парня, поставленного около кассирской будки с целью регулировать напор толпы.

За отсутствием толпы, парень регулирует наплыв тучи комаров, нанося звонкие удары по своему лицу, шее и прочим частям упитанного тела.

Скучно. Жарко.

К 8 часам начинается сходиться публика.

Раздается звонок, еще и еще. Услышав три звонка, публика стремглав бросается занимать места и потом сидит около часу перед опущенным занавесом:

— Время! Давай! Начинай!! Три звонка было!

Потом публика получает через знакомого с артистическим миром дачного юношу конфиденциальное уведомление, что звонки эти по ошибке были даны малолетним сынишкой инженерно-драматик, нашедшим в углу звонок, но это публику не успокаивает.

— Врремя! Вррремячко!

Давно жданный момент... Поднимается занавес!

Перед публикой черный, зияющий провал неосвещенной сцены, и оттуда доносится неизвестно чей голос:

— Эти яркие, солнечные лучи, льющиеся в комнату, напоминают мне детство...

— Ничего не вижу! — раздается чей-то откровенный голос из публики.

Пользуясь темнотой, лицо, вспоминая свое детство, высказывает за кулисы и шепчет режиссеру:

— Рампа не освещена! Забыли лампы зажечь!!

Минут через пять парень, состоявший ранее в роли сдерживающего элемента против наплыва публики, перелезает через барьер и начинает возиться с рампой... Шарит по карманам, перелезает обратно через барьер и, по-товарищески, обращается к зрителю первого ряда:

— Нет ли спичечки?

У того нет. Поиски переходят во второй, в третий ряд, и, наконец, парень, довольный своей судьбой, в третий раз перелезает через барьер.

Лампы сияют.

— Эти яркие солнечные лучи, — говорит героиня, — напоминают мне дет...

— Вы это уже говорили! — замечают ей из заднего ряда.

— Тише!

— ...Я помню высокий, высокий лес, птичек, которые...

Потный, озабоченный кассир входит в сопровождении незнакомца, таща за собой, во избежание кражи, остаток билетов и коробку из-под гильз с деньгами — и обращается к господину в первом ряду:

— Нет ли у вас 25 рублей разменять? Вот они покупают билет, так им сдачу нужно.

Кто-то меняет. Сначала считает деньги меняющий, потом кассир; потом господин, купивший билет. У кассира не хватает 30 копеек; меняла сомневается в доброкачественности двадцатипятирублевки, а господин, купивший билет, рассыпает мелочь, после чего первый ряд и часть второго принимает деятельное участие в розысках.

Внимание остальной публики приковано к трем лицам, запутавшимся в сложной финансовой комбинации. Артисты в это время терпеливо ждут, причем героиня даже "играет": с деланным любопытством смотрит в окно из крашеного полотна.

Все деньги собраны, пересчитаны, и владелец их вежливо обращается к сцене:

— Извините, господа! Можно продолжать.

— ...Эти яркие солнечные лучи... — надрывается суфлер.

— Эти яркие солнечные лучи... — аккуратно повторяет героиня.

Входит жизнерадостный дачник и, изумленно смотря на сцену, кричит:

— Петька! Ты! Я тебя сразу узнал!

— Он самый, — отвечает комик. — Только ты не мешай мне сейчас: я играю.

— Ну, играй! А после конца можно к тебе в уборную?

— Заходи!

— Эти яркие солнечные лучи...

— Бис!! — как выстрел раздается со стороны экспансивной галерки.

Так весело и разнообразно проходит спектакль.

В третьем акте живой лес вызывает восторги публики, но когда одно дерево, не выдержав напора первого любовника, валится на публику — поднимается суматоха... Любовник и комик перескакивают через барьер, забирают обратно свое дерево и тут же, увидя знакомых, мимоходом здороваются:

— Здравствуйте, Марья Евграфовна.

— Неужели это ты, Федя? Прямо бы не узнала тебя.

— А Ваську узнали? Вон он играет старого банкира.

Рецензент в уголке прилежно пишет:

— "Спектакль прошел с большим успехом... Все исполнители были на своих местах..."

А исполнители в это время садятся на свободное место во втором ряду, и пока плотник снова приколачивает дерево — заводят дружеский разговор с соседями, беззастенчиво разоблачая тайны святого искусства Мельпомены.

ДВА МИРА

I

Два человека шли по пыльной, залитой светом луны улице города Чугуева и беседовали:

— Так, значит, так-то, брат Перепелицын...

— Именно так, Никеша.

— В Питер, значит... Только как же ты поедешь, если не знаешь, что там еще с тобой будет?

— Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому приятелю Шелестову, чтобы он узнал — как и что. Скажем — три дня письмо туда, три дня — ответ обратно. Ну... да день ему на справки. Итого — через неделю получу.

II

Два человека лежали на диванах в большой мебелированной комнате, выходившей окнами на шумную петербургскую улицу, и тихо беседовали:

— Сегодня Стрелка, завтра — Стрелка. Сегодня Аквариум, завтра — Аквариум... Скучно, брат Шелестов... Правильно сказал великий психолог Гоголь: скучно жить на этом свете, господа!

В дверь постучали.

— Вам письмо, господин Шелестов!

— От кого это? — лениво спросил приятель Шелестова, забрасывая ногу на спинку дивана.

— Недоумеваю... Гм... Какой-то Перепелицын... Чего ему нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуева... Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с которым мы во дни оны играли в перья и воровали огурцы на огородах.

— Наглец! — сказал, зевая, приятель Лошадятников.

— Не хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений, шантажировать тебя?

— "Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на меня за то, что я за эти шесть лет не удосужился

написать ни строчки, но что поделать — такова уж городская шумная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело — недавно приезжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хорошо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень удивит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой Звездич".

— Кто сей Пальцев? — спросил Лошадятников.

— Понятия не имею!

— Так что выбор акушерки Звездич и ее дальнейшая судьба тебя не заинтриговывает?

— Ты видишь, — я остаюсь совершенно хладнокровен. Продолжаю: "У меня к тебе есть маленькая просьба, которую, надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати Шанкс — нельзя ли достать "Вестник Моды" за прошлый год № 9, — ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом. Твой Илья Перепелицын".

Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принялся складывать из письма петуха. Когда это занятие ему надоело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.

— Ты бы хотя адрес его заметил... — сказал Лошадятников.

— Чей адрес?

— Куропаткина.

— А на что он мне?

— Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.

III

Прошла неделя.

— Вам письмо, барин!

Шелестов повернулся на кровати и прищурился на горничную.

— Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойти ближе.

У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображения и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.

— От кого бы это?

Писал Илья Перепелицын.

— "Дорогой Петруша! Прошла неделя, а от тебя ответа нет. Сомневаюсь — получил ли ты мое письмо?"

На всякий случай, прошу тебя, кроме политехника заехать на фельдшерские курсы и узнать условия приема и программу. Кстати, можешь Кате Шанкс "Вестник Моды" не высылать. Она нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми — ты не поверишь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна заполз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда уходила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да, забыл я прошлый раз написать — кланялся тебе Гриша Седых. Представь себе, он уже в аптеке фармацевтом. Дорогой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта и узнай — есть ли пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть — вышли наложенным платежом. Буду весьма благодарен... А Пальцев уже ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии. Твой Илья Перепелицын".

В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.

— А у меня есть ложа на Крестовский... товский, товский, товский, кий!

— Можешь представить себе, Митя, потрясающую новость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.

Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрытыми глазами:

— Какой Пальцев? Какого Ионы?

— Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нужным поставить меня в известность Илья Перепелицын.

— Какой Перепелицын?

— Боже ты мой! Перепелицын — знаменитый чугуевский Перепелицын. Но ты — сущее дерево... Ты способен остаться равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фармацевтом?

— Ах, это тот... чудака пишет? Еще что-нибудь поручает?

— Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за граммофонными пластинками.

— Что ж ты?

— Ну конечно, я моментально. Сейчас же лечу, как молния.

— Однако слушай... Брось глупости. Поговорим о серьезном. Ты едешь завтра в Павловск? Будет Мушка и Дегтяльцева.

— Вам телеграмма, — сказала горничная, просовывая в дверь руку.

Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развернул ее.

— От кого? — спросил Лошадятников.

— Ну конечно же... от Ильи Перепелицына. "По некоторым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встретить меня на Николаевском вокзале завтра утром Илья Перепелицын".

— Шелестов?!

— Ну?

— Ведь он дурак?

— Форменный.

За окном заиграла шарманка.

Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это несложное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:

— Сегодня свободен?

— По горло. В двенадцать — отель "Де Франс", в половине второго — банк, в четыре к Уржумцеву, в семь — у Павлищевых и десять — Крестовский.

— И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе акушерки Звездич и поведении Пальцева?

— Что делать! Такова участь о. Ионы, — вздохнул Шелестов.

IV

Через три дня Шелестов получил письмо:

— "Дорогой Петруша! Я страшно перед тобой виноват. Ты, наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня. Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятельства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но ты не беспокойся — я сообщу тебе точный день выезда. Пластинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю почему: вероятно задержка в дороге. Можешь представить — о. Иона узнал обо всем и вышел большой скандал. У нас открылся новый биоскоп — уже по счету третий. Помнишь Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил тебе кланяться. Он еще здесь. Твой Илья Перепелицын".

Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:

— Знаешь, твой этот Перепелицын начинает мне нравиться. Роскошный юноша!

Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова, Лошадятникова и Перепелицына.

Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на политехнические курсы, а просто жившим в столице на те 100 рублей, которые присылали ему родители.

— Перепелка! — сказал, входя, Шелестов. — Вот тебе письмо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.

— От кого?! Решительно недоумеваю...

Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.

— "Дорогой Ильюша", — прочел он. — Тебе все кланяются. Пишу тебе это я, Никеша... Голубчик, большая к тебе просьба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических принадлежностей и узнай — сколько стоит "Кодак". Если недорого — вышли наложенным платежом. Еще просьба — вышли дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно. Какне у вас стоят погоды? А знаешь — вчера видели Пальцева с Корягиной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи в письме, не родственник ли Леонид Андреев купцу нашему Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим вопросом. Твой Никеша Чебурахин".

— Слушай, Перепелка, — сказал Шелестов, выслушав содержание письма. — Ведь этот Никеша, очевидно, дурак?

Перепелицын пожал плечами.

— Форменный.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОМЕРА 24345

I

Видел кто-либо лицо Судьбы?

Она все время вертится, суетится около нас; забежит вперед, отстанет и некоторое время держится позади; взвьется кверху и, сдернувши с карниза строящегося дома кирпич, укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим, плохо защищенным шляпой, теменем. Сейчас же она, не обращая больше на вас внимания, привяжется к другому прохожему, остановит его у окна модного магазина, высунув язык, помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку, обязательно притащит ее

к тому же самому окну... И прохожий посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бестолковая Судьба ковыляет за ними, пока прохожий не разговорится с дамочкой и не пригласит ее поужинать с ним в каком-либо укромном ресторане... Здесь Судьба на минуту бросает парочку и мчится, как вихрь, за женой вышеуказанного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке, куда выходит подъезд в кабинеты ресторана.

И, конечно, жена застает мужа с незнакомой дамой, и разражается скандал у подъезда, а Судьба уже забыла о проведенной мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает холодным, смертоносным ветром и через неделю валит его в черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному лодырю и лежебоке неожиданное, полумиллионное состояние.

Для чего нужно ей все это?

II

В ночь с 23-го на 24-е число недалекая, бестолковая Судьба обратила внимание на скромного легкового извозчика № 24345 и, со свойственной ей дикой энергией и суетливостью, занялась номером 24345.

Она остановила его на углу большой улицы и тихого переулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые могли бы нанять номер 24345, а сама хлопотливо заковыляла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно номер газеты, в котором была помещена публикация о новом большом кафешантане.

Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко потянулся и сказал:

— А отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и поедем вместе.

Через десять минут мировой судья Колесников вышел на улицу и крикнул:

— Извозчик!!

Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал — и скоро Колесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи.

Извозчик завез судью на длинную, тихую улицу, где они захватили красивую, худощавую женщину в громадной шляпе, а потом поехали в кафешантан.

Извозчик завел было разговор с седоками об околоточном, который неправильно записал его адрес, но седоки его не слушали, а говорили о своем.

— Мы просмотрим программу и выпьем бутылочку бургундского... Ладно?

— Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское?

— Еще бы.

Извозчик прекратил разговор об околоточном, покачал головой и прошептал:

— Бурхунцкое... Поди ж ты!

Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, лениво затрусил к стоянке.

III

В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день утром, когда № 24345 мыл на извозничьем дворе свою пролетку, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало около восьмисот рублей.

— Бурхунцкое, — укоризненно проворчал извозчик.

Потом снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, значительно поджав губы, сказал:

— Нельзя! надо отдать. Господин с переулку потеряли. Которые бурхунцкое пьют.

Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумажником радостно, видимо, втайне пораженный его честностью. Тут же под их ногами вертелась Судьба, скаля зубы, носясь от одного к другому и заглядывая в лицо, то извозчику, то мировому судье.

Извозчика пригласили в кабинет.

Мировой судья Колесников, взявши бумажник, пожал номеру 24345 руку, угостил папиросой и минут пять любезно беседовал с ним о тяготах извозничьей жизни.

На прощанье поблагодарил, еще раз пожал руку и дал, в виде благодарности, пятнадцать рублей.

IV

Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, посмотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво сказал:

— Дурные деньги! Надо их не иначе пропить...

В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, переоделся и пошел в трактир "Перепутье путников" — заведение, пользовавшееся славой лучшего извозничьего отеля.

— Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки попопнее и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек.

Извозчик был честный малый, но в нем преобладала свойственная многим ординарным людям жилка тщеславия: он вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь. Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того, чтобы они были ближе на случай расходов; попросил, чтобы ему поставили водку в такую же металлическую посудину, как у его соседа, пившего вино...

После чего принялся пить и есть.

Часы все время неловко болтались на груди, попадая от времени до времени в тарелку с котлетами; деньги держали извозчика все время в тревожном состоянии, так как он боялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино; и полбутылка водки в серебряном ведре все время тонула в массе льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, чтобы выловить ее из ведра.

Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на седьмом небе.

После третьей полбутылки он принялся за пиво, а, почувствовав себя пьяным, потребовал чаю...

V

Все могло бы этим и кончиться, но бестолковая Судьба прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его толстые, могучие плечи и красную мокрую шею...

— Чего бы такоича еще выпить? — задумался извозчик. — Эге! Как его... А право! Что ж мы не люди, или как? Могу я себе доставить удовольствие? Явное дело — могу. Господин человек!!

Над ним наклонился грязный официант.

— Что прикажете?

— Бурхунцкаго. Полбутылки бурхунцкаго с закуской.

— В полбутылках нет. Есть в бутылках.

Извозчик неожиданно для себя захохотал.

— Шут его бери! Давай бутылку! Только это самое... полнее!

И пил извозчик номер 24345 бургундское, пил, мокрый, багровый, пока окончательно не захмелел.

А к буфету в это время подошел длинный, костлявый человек, которого Судьба только что затащила в трактир, и заказал себе рюмку водки.

Извозчик подмигнул ему.

— Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунцкое!

— Вам какое дело! — сердито возразил костлявый человек. — Вас не трогают!

— Дурашка... — поднял удивленно брови номер 24345. — Разве я что...

— Сам дурак! — злобно крикнул человек. — Зубы чешутся?

— То есть, как чешутся? — ухмыльнулся добродушно извозчик.

— Почистить их надо — вот как!

Номер 24345 неожиданно для себя встал.

— Ах ты, прохвост! Забияка паршивый! Дьявол нечесаный! Шкилет разнесчастный. Мне зубы чистить? А этого не хотел?

Многим известно, что на воспитанных интеллигентных людей бургундское производит действие легкого, веселого, благодородного опьянения. Но редко кому приходилось наблюдать действие бургундского на извозчиков.

Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул буфетную стойку. Через пять минут на тротуаре перед трактиром в ночной мгле возилась странная черная куча, из которой вырывались свистки и доносились голоса:

— Крепкая, черт!.. Бей его сюда! Так...

— Ах, собака. Гляди, руку прокусил!

— Ой-ёй, братцы!.. Часы... кто серебряные часы оборвал? Да пусти, дьявол!

— А, ты так?.. Вот же тебе...

VI

Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный тряпками извозчик номер 24345 и давал показания.

Тут же в камере находились официанты, буфетчик, городовые и ночной сторож.

Сначала Колесников не узнал почерневшего забинтованного извозчика. Он спросил его:

— С чего же вы это так разгулялись?

— Дык с тех же пятнадцати... Что ваша милость намеренно пожертвовала за кожаный портмоне. Не признали?

Мировой судья Колесников был умный человек. Он вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность номера 24345...

И подумал:

— Если бы я не поехал в шантан, то не потерял бы бумажника, он бы его не нашел, я не наградил бы его пятнадцатью рублями, он не напился бы на них и не устроил бы безобразного побоища...

Судья упустил только одно звено из этой цепи: если бы он не заговорил с женщиной о бургундском — извозчик номер 24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой дороге жизни.

Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца-буфетчика и, улыбнувшись в усы, сказал:

— Гражданский иск в сумме сорока рублей 20 копеек будет удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспокойтесь. Гм... А дело о нарушении тишины за... гм... недоказанностью — прекратить!

А Судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив входившего в камеру письмоводителя из участка, оставила извозчика в покое и увязалась за ним.

В тот же день письмоводитель взял взятку так неудачно, что его уволили.

ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

I

У Суры Фрейберг из местечка Выркино было семеро детей и ни одного мужа.

Сначала был муж, а потом его посадили за какие-то слова в тюрьму, и тогда он, — как говорила, качая головой, мадам Фрейберг:

— Постепенно сошел на нет.

Сура, не вступая в неприличную перебранку с равнодушным небом, обидевшим ее, поступила чисто по-женски: стала торговать на базаре шпильками, иглами и лентами, перекрашивать заново старые платья выркинских франтих, вязать по ночам чулки, жарить пирожки, которые потом через маленького Абрамку выгодно сбывались выркинским гастрономам, шить мужские рубашки и метить носовые платки.

Впрочем, эти веселые, забавные занятия не должны были отрывать Суру от ее прямых обязанностей: придя в сумерки из лавки, — разыскать семерых маленьких человечков, которые за долгий день успевали, как раки из корзины, расползтись по всему местечку, — вернуть их в отчий дом, обругать их, проклясть, перекололотить всех до одного, вымыть, накормить и, перецеловавши, — уложить спать, что давало возможность приступить на покое к одному из перечисленных выше веселых занятий.

А утром хлопот было еще больше.

Все просыпались сразу и сразу же начиналась комичная путаница и недоразумения с тринадцатью башмаками (Давиду в свое время телегой отрезало одну ногу), с тринадцатью чулками и с целым ворохом тряпья, пока все разобранное не рассасывалось по худым ногам и узеньким плечикам обладателей этих сокровищ.

Сортировка башмаков отнимала у Суры столько времени, что она не успевала проклясть всех семерых, и колотушки по утрам распределялись крайне неравномерно: некоторым счастливым выпадала двойная порция, а некоторым приходилось дожидаться вечера.

И, дожевывая кусок хлеба, мадам Фрейберг хватала шаль, вязанье, стремглав бежала из комнаты и, наткнувшись в дверях на какого-нибудь маленького Семку, торопливо спрашивала:

— И когда этого ребенка от меня черти возьмут, чтоб он не путался под ногами?

Маленький Семка открывал рот — не то для того, чтобы точно ответить на материнский вопрос, не то — просто захныкать, но мадам Фрейберг уже не было.

Она уже летела по узким улицам Выркина и рассчитывала убогим женским умом — сколько продаст она за сегодня шпилек и булавок и что ей от этого будет...

II

Не так давно, вернувшись вечером с базара, мадам Фрейберг с материнским беспристрастием прокляла детей — всех до единого, дернула за ухо Давида, толкнула Семку и, взяв на руки двухгодовалого Арончика, стала плакать привычными, надоевшими ей самой слезами.

Покончив со слезами, она нечаянно остановила взгляд на сияющем от съеденного масла лице Арончика и — ахнула...

— Что это? Что это? Что это с твоим глазом, мой маленький хорошенький цыпленочек? Что это с твоим глазом, чтоб ты провалился сквозь землю, паршивый мальчишка, который только и мечтает, чтоб напортить своей мамаше. Ой! У него глаз-таки красный, как мак, и со слезой, как какой-нибудь водопад... Ой, мое горе!

Теперь плакали три глаза: два — мадам Фрейберг и один — маленького Арончика, красный, слезящийся, полуприкрытый отяжелевшим веком.

А около прыгал на одной-единственной ноге Давид, и высасывала из порезанного пальца кровь девочка Рачичка.

Было пресесело.

III

На другой день глаз Арончика, вместе с его равнодушным ко всему в свете обладателем, был вытащен из дому и представлен на строгий суд добросердечных соседей мадам Фрейберг.

— Ты, мальчик, что-нибудь видишь с этим глазом? — спросила мадам Перельмутер.

— Уй, — неопределенно пропищал мальчик.

— Что он понимает... — сказала старая Гительзон. — Что он понимает, — маленькая глупая крошечка? Его нужно везти к главному доктору!

— К тому, который глаза лечит, — подтвердила мадам Штильман.

— Который живет десять часов по железной дороге, — любезно сообщила мадам Перельмутер.

— Десять часов туда — десять часов обратно, — разъяснила старая Гительзон.

— Мадам Фрейберг! — сказала зловеще спокойно мадам Перельмутер. — Глаз этой малютки обойдется вам до пятнадцати рублей.

Мадам Фрейберг стиснула зубы, напустила на лицо каменное выражение и спокойно сказала:

— Хорошо. Для моего ребенка я это сделаю.

Она взяла сына за руку и добавила:

— Пойдем домой, чтобы черти сегодня же отнесли тебя в нечистое место!

IV

Мадам Фрейберг последние дни очень спешила.

Денег было всего около восьми рублей, глаз Арончика краснел, как рубин, а спрос на шпильки и ленты упал до смешного.

Поэтому Абрамка продавал теперь двойную порцию пирожков, мадам Фрейберг спала только в то время, когда умывала, проклинала и целовала детей, а все ночи — шила, вязала, и такую роскошь, как плакать — позволяла себе не больше десяти минут на день.

Когда у нее накопилось двенадцать рублей, то пришли утром соседки: мадам Перельмутер и мадам Штильман и старая Гительзон и сказали:

— Что значит! Возьмите еще пять рублей у нас, мадам Фрейберг. Они же вам сейчас — да, нужны.

Так как несколько минут было свободных, то мадам Фрейберг заплакала, беря деньги, и сейчас же перейдя на деловой тон, решила ехать с Арончиком сегодня вечером...

V

С базара Сура прибежала за сорок минут до поезда. Так как сорок минут нужно было ехать до станции, то Сура схватила Арончика, закутала его в большой платок, перелетела к столу, схватила узелок с провизией, перелетела к Раичке, дала ей тумака, крикнула Давиду: "смотри, не бей детей — ты старший!", пощупала в кармане деньги, уронила узелок с провизией, подняла его и — скрылась с последними словами:

— Умойте, накормите маленьких!

Когда мадам Фрейберг села в вагон, она вздохнула свободно и сказала себе:

— Мадам Фрейберг, теперь ты можешь до утра поспать! Хе-хе... Я думаю, ты-таки заслужила это, мадам Фрейберг.

Утром Сура сидела в приемной окулиста, держа на руках спящего Арончика, закутанного в теплый платок, и нервно ждала очереди.

— Пожалуйте!

Сура поднялась, вошла в приемную и низко поклонилась доктору:

— Здравствуйте, господин врач! Как поживаете? Принесла вам свою малютку. С глазом что-то такое делается, что ума не постижимо. Чистое мучение.

Доктор подошел, помог Суре развернуть платок и, открыв мальчику глаза, посмотрел на них.

— Гм... — пробормотал он. — Странно... Ничего снаружи не заметно.

И здесь раздался странный, хриплый, надтреснутый крик матери:

— Господин врач! Я не того ребенка захватила!

VII

Если бы Бог с высоты небес посмотрел на мокрую от осеннего дождя землю, Он увидел бы ползущего по небыстрому пространству червяка.

Этот червяк — поезд, в котором едет обратно с маленьким Семкой мадам Фрейберг.

Она едет и думает:

— Мое сердце теперь крепко стучит. Так крепко, что если бы оно разорвалось, то от грома его оглохли бы люди и жить на свете — сделалось бы окончательно скучно... Охо-хо. Бог все видит!

ПРЕСТУПНИКИ

Спавшего пристава 2-го стана Бухвостова разбудили и сообщили, что мужики привезли на его усмотрение двух пойманных ими людей: Савелия Шестихатку и неизвестного, скрывшего свое имя и звание.

В препроводительной бумаге из волости сообщалось, что присланные люди нарушили "уголовные узаконения на предмет наказаний за гражданские несоответствия"...

Ниже писарь простым человеческим языком сообщал, что оба пойманные вели себя ниже всякой критики: Шестихатка ворвался к арендатору еврею Зальману, перебил и переломал все его вещи, ранил ручкой от сковороды жену арендатора, а арендаторову сыну оторвал ухо; доставленный в волость, избил волостного старшину, выбил десятскому два зуба, а ему, писарю, пытался повредить передние конечности...

Оторванное ухо и два выбитых зуба препровождались здесь же при бумаге, завернутые в заскорузлую, пропитанную кровью, тряпку.

Второй — неизвестный человек — был уличен в том, что, пойманный на огородах, не мог назвать своего име-

ни, а при обыске у него нашли пачку прокламаций, бомбу и рыжую фальшивую бороду.

Пристав Бухвостов прочел препроводительную бумагу, засвистал и, почесав небритую щеку, проворчал:

— Прохвост — народ.

И по его лицу нельзя было узнать, о ком он это думал: о мужиках, нарушивших его сон, Шестихатке, оторвавшем ухо арендаторову сыну, или о неизвестном, занимавшемся темным, таинственным и ужасным делом.

Пристав открыл дверь из канцелярии в переднюю и крикнул десятскому:

— Пускай по очереди!

В комнату вошел высокий черный мужик в коротеньком армячке, с узенькими калмыцкими глазками и волосами, веером топорщившимися на его шишковатой костистой голове.

Он остановился у стола и угрюмо потупил взор на носок левого разорванного сапога.

Пристав Бухвостов быстро подошел к нему, энергичным движением руки взбросил кверху его опущенную голову и, прищурясь, сказал:

— Хорош!.. Эх ты, Шестихатка! Тебе не Шестихаткой быть, а...

Пристав хотел сказать что-то очень забавное, что заключало бы в себе юмористическое переименование фамилии Шестихатки и вместе с тем звучало бы насмешкой над его поведением, но, вместо этого, пристав неожиданно dokonчил:

— ...А сволочью!

Потом пристав Бухвостов перешел на серьезный, деловой тон.

— На тебя вот доносят, что ты устроил арендатору погром, оторвал его сыну ухо, избил старшину и выбил десятскому зубы. Правда это?

Черный мужик посмотрел исподлобья на пристава и прогудел:

— Правда.

— Извольте видеть, — всплеснул руками пристав. — Он же еще и признается! Что тебе сделал арендатор?

Мужик еще раз внимательно поглядел на пристава и сказал:

— Я жидов завсегда бью.

— За что ж ты их бьешь?

— Они Христа мучили, а также не уважают начальство. Я за неуважение больше.

— Гм... — замылся пристав. — Но драться ты все-таки не имеешь права!

— Да как же, — развел руками мужик. — Я им говорю: дайте срок, господин губернатор всех вас перевешает, а он мне, — арендатор, — говорит: что мне твой губернатор — я его за три рубля куплю!

— Неужели так и сказал?

— Форменно! Обожди, говорю, будет известно господину приставу об твоих словах! А он, паскуда, смеется: ежели, говорит, губернатор у вас три целковых стоит, так пристава за полтинник приобрести можно. А-а, говорю... так?

Пристав неожиданно захохотал.

— Так ты... значит... сыну... ухо?

— Начисто! Форменно. Потому я так рассуждаю: ежели ты оскорбил мое начальство, господина пристава, — имею я право твоему щенку уши пооборвать? Имею. Форменно!

— Ха-ха! Ах ты... чудак! Этакая непосредственная душа. Но ты, однако, вот пишут — целый кавардак там устроил. Зачем арендаторшу сковородкой вздул?

— Она, ваше благородие, насчет супруги вашей неправильно выразилась. Насчет добродетелей.

— А-а... — криво улыбнулся пристав. — Хорошо-с. Мы об этом расспросим арендаторшу. Вот нехорошо только, братец, что ты старшину оскорбил и зубы вынул десятскому. Зачем?

— Они тоже. Я говорю: — не смейте меня брать, я за господина пристава старался, а они мне: а что твой пристав за такая цаца? Так и сказали — цаца! Потемнело у меня. Об начальстве так?!! Ну, развернулся...

— Ха-ха! Ха-ха! Ты, я вижу, — не глупый парень... с правилами! А дело твое придется прекратить — прекурьзное оно уж очень... Ступай, Шестихатка. Постой! Водку небось пьешь, Шестихатка?

Пристав Бухвостов порылся в кармане и вынул полтинник.

— На... выпьешь там где-нибудь.

— Форменно. Я бы, ваше благородие, насчет сапожников взыскать к вашей милости. Нет ли каких? Пообдержался я с сапогами.

— Ладно уж! Веселый ты парень... Я тебе свои дам, ношенные — два месяца всего и носил. Так сковородкой ты ее?

— А мне что? Трахнул, да и все. С ними так и нужно.

Пристав вышел из канцелярии в спальню и через минуту вынес сапоги.

— Вот, — сказал он. — Бери. Ступай, брат! Иди себе.

— Ваше благородие! Может пальтишко какое...

— Ну, ну... иди уж! Довольно тебе! Не проедайся. Эй, Парфен! выпусти его — пусть идет себе... Да тащи сюда другого. Прощай, Шестихатка. Так — цаца, говорят? Ха-ха! Ха-ха!

— Прощайте, ваше благородие! Оно дальше еще смешнее будет. Желаю оставаться!

Десятский ввел другого человека, привезенного мужиками, и, толкнув его для порядка в спину, вышел.

— А-а, сокол ясный! Летал, летал, да и завязил коготь... Давно вашего брата не приходилось видеть... Как Эрфуртская программа поживает?

Перед приставом стоял небольшой коренастый человек, с бычачьей шеей, в жокейской изодранной шапчонке и, опустив тяжелые серые веки, молча слушал...

— Конечно, об вашем социальном положении нечего и спрашивать: лиддит, меленит, нитроглицерин и тому подобный бикфордов шнур...

Потом, переменяя тон, пристав посмотрел в лицо неизвестному и сухо спросил:

— Сообщники есть?

— Не было, — тихо ответил неизвестный.

— Ну конечно. Я так и думал! Что ж, господин ниспровергатель... Зверь вы, очевидно, красный: в город нам с вами ехать придется. Ась?

— Да я из городу и есть.

— Вот как?... Какой же это ветер занес вас на синюхинские огороды?

— Зачем мне на синюхинские огороды? Я на Боркино ехал, ваше благородие!

— Ну, да! Так что старшина, и писарь, и мужики оклеветали вас? Бедненький!

— Черт попутал, ежели так сказать!

— Не-уже-ли? Что вы говорите! Первый раз слышу об участии этого господина в ваших организациях... Небось и на убийство шли не сами по себе, а наушаемые сим конспиратором.

— Да убийства никакого и не было! Так хотел... попугать.

— Конечно! Бросишь ее под ноги — легкий испуг и нервное сотрясение... Ха-ха! Ваша платформа, конечно,

предусматривает любовь и великодушие к ближнему? А? Что же вы молчите?

Неизвестный переступил с ноги на ногу и сказал:

— Пьян был!

— Что-о-о?

— Пьян был. А они... За сено... тридцать копеек. Разве это возможно?

— Какое сено? Что вы?..

— Ихнее. Я им говорю: — Христа на вас нет, а они: — там, говорят, есть или нет, а мы без расчета — Васьки не отпустим.

— Ничего не постигаю! Какой Васька?

— Чугреевский. Я на чугреевском ехал. И так мне обидно стало! Ах, вы, говорю, такие-сякие... Пыли вашей не останется...

— Стой, стой, милый! Я ничего не разберу. Кому ты это сказал?

— Арендателю.

— Да бомба-то здесь при чем?

— Бомба ни при чем.

— Так чего же ты, черт тебя возьми, арендатора путаешь?! Бомбу ты где взял?

— Не брал я ее, ваше благородие. Зачем нам... нам чужого не нужно.

Пристав побагровел.

— Да ты кто такой?!

— Опять же чугреевский. Они: — тридцать копеек, говорит, дозвольте. Ка-ак? Где такой закон, чтоб за гнилое сено?.. Ну и пошло.

— Что пошло?

— С пьяного человека что взять, ваше благородие? Известно — ничего.

— Ты, брат, что-то хвостом виляешь... Бестолковым прикидываешься! Мужичком-дурачком!!

— Дурачок и есть. Нешто вумный будет жидятам ухивать? С пьяну. Зуд у меня ручной. А как очухаешься, видишь — да-а-а... Завинтил!

Пристав Бухвостов прыгнул к неизвестному и вцепился ему в горло.

— Ты... ты... Как тебя... зовут?

— Меня-то? А Савелием. У Чугреева в амбарных. Савелий Шестихатка по хвемелии.

Пристав Бухвостов оттолкнул от себя Савелия и с ревом вылетел в переднюю.

— Ушел? Упустили мерзавца?!

Оставшись один, Савелий поднял недоуменно брови и сказал, обращаясь к портрету в золотой раме:

— Вот поди ж... Не выпьешь — ничего, а выпьешь — сейчас в восторг приходишь: тому ухо с корнем выдрал, этому зубы... Ежели с таким характером, то ухов, брат Шестихатка, для тебя жидята не напасут. Жирно!

НЕРВЫ

I

Когда Царапов проснулся, его неприятно поразило, что платье его не было вычищено и ботинки валялись тут же около кровати, забрызганные грязью.

Сердце Царапова сжалось, сделалось маленьким, злобным и провалилось куда-то вниз, пронизавши тело, и простыню, и пружинный матрац.

— Черт их всех раздери! — прошептал, передернувшись мелкою дрожью, Царапов. Потом вскочил, сжал губы в мучительную складку и стал одеваться.

Забрызганные грязью ботинки вызывали в нем решительное отвращение... Он натянул их на ноги и стал шарить концы шнурка. Через минуту обнаружилось, что концы влезли вместе с ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зубами и громко выругаться. Он сел на стул, злобно взмахнул обеими ногами, и ботинки слетели с ног, причем один попал на подзеркальник, свалив хрустальный pulverизатор.

Царапов пришел в неистовство. Поймал оба ботинка, снова натянул на ноги и стал нервно зашнуровывать их. Но на половине этого утомительного занятия шнурок не выдержал бешеных движений Царапова и лопнул.

Царапов сорвал с ног ботинки и стал топтать их, шепча прыгающими губами что-то нечленораздельное. Вынул из шкафа новые лакированные туфли и надел их, хотя через окно было видно, что шел дождь и улицы покрылись липкой грязью.

— Пусть! — шипел он. — Пусть!

Одевшись, Царапов вышел из комнаты и с какой-то злобной радостью встретил идущую с подносом горничную Лушу.

— Что? Чай пить? Ты мне еще керосину предложи, дурища! За что вам, дармоедам, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки грязные...

— Да ведь вы сами, давеча, барин, комнату свою на ключ закрыли... я хотела взять, а вы не открыли.

— Молчи!! — визгливо закричал Царапов и, хлопнув дверью, стал спускаться с лестницы.

— Какая отвратительная лестница, — подумал он. — Здесь каменщикам каким-нибудь жить или слесарям... а не порядочным людям. И швейцар — дрянь преизрядная. Небось вчера ночью на чай не дал, так эта упитанная морда сегодня и не подумает распахнуть дверь...

Швейцар снял фуражку и распахнул перед ним дверь на улицу.

— Подхалимы все! — подумал Царапов и зашагал, осторожно ступая лакированными туфлями по мокрому тротуару.

Трамвая пришлось ждать долго — минут десять. Царапов прошептал по адресу заправил трамвая несколько слов, осуществление которых сделало бы несчастными не только этих толстокожих людей, но и их семейства. Потом, подождав еще немного, крикнул извозчика. Когда он садился в пролетку, из-за угла показался ожидаемый им трамвай, но извозчик в это время уже тронул, и через двадцать шагов обнаружилось, что лошадь не бежала, а шла, еле переступая с ноги на ногу...

II

На службу Царапов опоздал.

— Если хотите служить, — сказал ему желтый бородастый старший бухгалтер, — то служите!.. А не хотите — сделайте одолжение! На ваше место найдутся другие.

Царапов молча повернулся к своей конторке и, развернув книгу, задумался.

— Вот, — думал он, — бухгалтер... Если бы сейчас я был атаманом каких-нибудь разбойников, то приказал бы им поймать этого бухгалтера и привести его ко мне в какое-нибудь подземелье... Привязал бы его к столбу и стал бы над ним издеваться: "Здравствуйте, господин бухгалтер! Так вы на мое место хотели найти другого?.. Позвольте вам плюнуть в лицо..." Плюю. Он молчит и испуганно смотрит на меня. "А что ваша борода крепко держится, господин мерзавец? Позвольте за нее дернуть! Что? Больно? А теперь мои молодцы выжгут вам глаза, отрубят руки и вырежут язык. Видите ли... я мог бы вас убить, но не хочу сразу прекращать ваших мучений...

А без глаз, языка и рук вы не очень-то разболтаете о том, что с вами сделал Николай Царапов. Ха-ха!.."

— Опять у вас журнал за три дня не записан?! — услышал Царапов сбоку себя. — И зачем вы служите, если не хотите?.. Есть люди более полезные и более любящие то дело, от которого вас, очевидно, тошнит...

От бороды старшего бухгалтера идет едкий старый табачный запах, такой противный, что мысли Царапова принимают другое направление:

— Неужели такую жалкую лягушку, от которой пахнет, как из старого табачного мундштука, могут целовать женщины?.. А жена у него в веснушках, беременная, и ей, от старости, лень ему изменять. Гнездо гадин!

Потом, когда бухгалтер отошел, Царапову приходит в голову мысль, леденящая мозги своей безысходностью:

— В Петербурге полтора миллиона народу... И все они желчные, в ботинках, забрызганных грязью, ненавидят друг друга... Всякий желает гибели другого, и все полтора миллиона, свалившись в груды жирных червей на гниющем теле, едят друг друга, размножаясь в то же время со стонами отвращения и ненависти... Хорошо было бы взять сейчас какое-нибудь безболезненное средство и отравиться.

Мимо Царапова прошел директор правления.

Царапов сделал вид, что прилежно пишет в большой, толстой книге, но на самом деле он думал:

— Я умру, а другие будут жить и веселиться. Вспомнит разве кто-нибудь обо мне? Дудки! Даже сестра забудет. Хорошо бы, если бы могли умереть все сразу... весь земной шар. Начинить его динамитом — несколько миллионов пудов (я думаю, если на всех заводах начать вырабатывать динамит, то можно) и потом, нажавши кнопку, трах! Если бы сейчас около меня была такая кнопка для взрыва — ни минуты, то есть ни одной секунды бы не задумался!

Бьет четыре часа.

Царапов складывает книги и отправляется обедать. Ест он "домашние обеды".

III

За обедом против него сидит чиновник контрольной палаты и студент... А сбоку барышня с противно-светлыми волосами, старая, с длинным носом, плохо напудренная, и чертежник из адмиралтейства.

Суп — с кусочками жира, который Царапов ненавидит всеми силами души. В голубцах ему попадают нитки, а хлеб черствый, похожий на губку...

— Что новенького? — благодушно спрашивает его лысый чиновник.

Царапов бледнеет.

— Скажите... вам не надоело каждый день, методически, обращаться ко мне с этим вопросом? Что это значит! Что новенького? Где? В какой сфере? Вчера мы расстались в шесть часов вечера, так что прошло менее суток. Может быть, на службе новенькое? Или у меня в меблированных комнатах? Да ведь, в сущности, вы и вопрос этот задали так — зря! Если бы вас действительно интересовали новости, вы бы купили за пятак газету и узнали бы обо всем — в более связной литературной форме, чем от меня.

Чиновник берет фуражку и уходит.

Царапов вынимает из кармана томик Чехова и, прихлебывая с отвращением жидкий кисель, погружается в чтение.

— Николай Львович! — обращается к нему плохо напудренная барышня, капризно надувая губы. — Отчего вы все читаете, да читаете... Поговорили бы лучше со мной.

Царапов долго, прищурившись, смотрит на нее.

— Я могу... но, конечно, при условии, если ваша беседа будет не менее остроумна и содержательна, чем эта книга. Беретесь?

— Отчего вы сегодня такой угрюмый?

— Людишки дрянь!

Царапов берет книгу и задумывается.

— Вот у этой ободранной кошки нет ни родных, ни друзей, которым она доставляла бы удовольствие... Отчего бы ей не умереть? На земле не образовалось бы никакого пустого места. Но странные наши уголовные законы: если я убью Льва Толстого или эту бесполезную старую кошку — наказание мне будет одинаковое... А, по-моему, за нее следовало бы дать легкий выговор или даже просто обязать убийцу взять на себя расходы по похоронам...

— Отчего вы такой задумчивый? — тоскливо спрашивает барышня.

Когда Царапов вышел на улицу, тротуары были уже сухи. И небо очистилось, и высоко в прозрачном воздухе висела чистая, прозрачная луна.

Впереди себя Царапов увидел двух дам. Они шли, нарядные, легко неся свои крупные, красивые тела и бойко стуча каблуками подъемистых щегольских ботинок.

Царапов обогнал дам и заглянул с любопытством в их розовые, слегка улыбающиеся лица.

— Какой интересный! — донесся до него тихий, подавленный женский шепот.

— Да... такие... редко... — уловило его ухо начало ответа другой.

И сердце Царапова остановилось... и сладко, с веселым шумом, оборвалось, уйдя далеко, далеко...

Царапов распрямил плечи, изменил вялый, развинченный шаг на упругий и крепкий и бодро взглянул на свежее небо.

Придя домой, легко взбежал по лестнице и, встретив в коридоре Лушу, ласково пошутил:

— Ну, как... от жениха давно письмо имела? Если нужно черкнуть ему ответ — приходи, напишу. Хе-хе!

И, запев матчиш, он стал бодро переодеваться.

НИНОЧКА

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста... Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробежали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

— Почему же? — удивилась Ниночка. — Я за это жалованье получаю.

— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

— Грудь не болит.

— Я очень рад. Вам не холодно?

— Отчего же мне может быть холодно?

— Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

— Оставьте мои руки в покое!

— Милая... Одну минутку... Пойдите... Зачем вырваться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

— Мерзавец, — прошептала Ниночка. — Я тебе этого так не прошу.

Она надела на пишущую машинку колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

"К кому же мне идти? Пойду к адвокату".

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.

— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.

— В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

— Ну, притяните.

— У вас есть свидетели?

— Я — свидетельница, — сказала Ниночка.

— Нет, вы — потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

— Покажите руку, — сказал адвокат.
— Вот тут, под кофточкой.
— Вам придется снять кофточку.
— Но ведь вы же не доктор, а адвокат, — удивилась Ниночка.

— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличие преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка. — Как вы смее?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе:

"Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии".

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.

Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

— Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

"Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели".

Ниночка прошла несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился, как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

— Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.

— Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

— Однако руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их.

Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:

"Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!"

V

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

— Меня сегодня обидели, Ихневмонов, — садясь, скорбно сообщила Ниночка.

— Ну!.. Кто?

— Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

— Чем же они вас обидели?

— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

— Так... — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — это нехорошо.

— У меня рука болит, болит, — жалобно протянула Ниночка.

— Этакие негодяи! Пейте чай.

— Наверно, — печально улыбнулась Ниночка, — и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент.

— Есть синяк — я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

— До сих пор рука горит, — пожаловалась Ниночка.
— Может, примочку какую-нибудь надо?

— Не знаю.

— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, — я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

— Зачем же вас затруднять... Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.

Ниночка закусил губу и, встав, упрямо сказала:

— А вы все-таки посмотрите.

— Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?... Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

— Вы бы одели в рукав, — посоветовал Ихневмонов.
— Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, — сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

— Экий негодяй! — мотнул головой студент.

— Показать?

Ниночка закусил губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей же Богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

— Отчего же, помилуйте, — сказал Ихневмонов, энергично трясая на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

— Какие все мужчины негодяи!

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
(Рождественский рассказ)

Серое, темное небо нависло над землей... Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника...

Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, спешащих людей.

— Боже, — думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. — Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребятам, лишенным этого — хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой... Сколько на свете холода, горя и несчастья!

Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, — вышел из дому.

Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал:

— Какие они все равнодушные, сухие... Никому ни до кого нет дела... А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия...

Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.

— Бедная, бесприютная собачка, — сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней. — Бродишь ты по улицам и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.

Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.

— Вы зачем, черт вас забери, мою собаку дразните? — послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.

— Я хотел собачку... домой отвести... согреть.

— Ха-ха! — грубо расхохотался офицер. — У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не домой!.. Неро, ici!¹

А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда-то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами...

Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал:

— Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник... Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода... Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного, и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку... И он идет, сторбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука...

Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.

Мимо него прошел, сторбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек.

Сердце Слякина сжалось.

— Послушайте... эй! Путник! Обождите.

Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку три рубля.

Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.

— Это... что значит?

— Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют...

— Да как вы смеете! — взревел прохожий. — Да вы знаете, кто я? Да я вас в 24 часа... Этакая наглость!

Его щегольская шинель распахнулась и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.

— Извините... — пролепетал Слякин.

¹ сюда (фр.).

— Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!

Ветер все крепчал.

Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную, широкую улицу, печально размышлял:

— А сколько детей, этих — по выражению поэта — цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы, — не для них... Не для этих пасынков на жизненном пиру.

Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось.

У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфеты.

— Бедное дитя! — пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. — Несчастный бесприютный ребенок... Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.

— Maman! — закричала испуганная девочка. — Maman! où m'ê tire-t-il?¹

Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.

— Оставьте ее, скверный старикашка, — закричала она. — Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!

— Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы, — сказал господин, проходя мимо.

— Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..

— Уверяю вас, — сказал Слякин. — Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая...

— Вы негодяй! — сказала возмущенная дама. — Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее...

А снег все падал...

Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал:

— О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку... Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья... Нужно

¹ Мама! куда он меня тащит? (фр.)

много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния.

С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.

— Вот оно, — подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:

— Погода дурная, не правда ли?

— Погодка сволочная, — согласился незнакомец.

— Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? — деликатно спросил Слякин. — Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимообразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос... А?

— Нет, ты мне лучше пальто дай, — возразил незнакомец. — Снимай-ка его, живей!

— А... как же я?.. — удивился Слякин.

— А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя. Тут больше? Ну, все равно. А часики... золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?

Вьюга разыгралась, и снег непрерывными хлопьями падал на белую землю.

По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полупубке и изорванных сапогах и что-то ворчал про себя.

Маленький, одетый в женскую кацавейку мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал:

— Дядинька... Ради праздничка...

— Ради праздничка?! — закричал Слякин. — Вот тебе, маленький негодяй!

Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши...

И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши...

ЕРОПЕГОВ

I

Недавно ко мне зашел мой приятель Еропегов и среди разговора вдруг, будто что-то вспомнив, всплеснул руками.

— Да! Чуть не забыл... С тобой очень хочет познакомиться Демкин.

— Какой Демкин?

— Демкин! Очень симпатичный парень. Я ему много о тебе говорил. Тебе с ним обязательно нужно познакомиться.

Я пожал плечами.

— Ему что-нибудь от меня нужно?

— Ну, вот видишь, вот видишь, какой ты сухой, черствый человек. Сейчас — "нужно"! Просто он тобой очень интересуется — я ему так много рассказывал о тебе... Почему же вам не познакомиться?

Еропегов был известен мне за человека крайне порывистого, нелепо-суетливого и восторженного.

Поэтому я еще раз пожал плечами и спросил:

— Да он что же, по крайней мере, интересный человек?

— Он? Удивительный! Стихи пишет.

— Да что ж тут удивительного: и я пишу стихи.

— И ты удивительный человек. Я знаю, ты о себе преувеличенно скромного мнения, но... эх, брат! О чем там говорить. Так можно его привести к тебе? В нем, между прочим, есть еще одно драгоценное качество: незаменимо рассказывает анекдоты!

— Ну что ж — приводи.

— Очень тобой интересуется. А анекдоты — ты животики надорвешь.

II

На другой день, сидя в кабинете, я услышал звонок и потом шум какой-то борьбы в передней.

— Да пойдем! Чего ты, чудака, стесняешься? — слышался голос Еропегова.

— Уверяю же тебя, что неудобно. Ну, как это так вдруг, ни с того ни с сего, явиться к незнакомому человеку знакомиться! — доносился до меня другой голос.

— Пустяки! Он тобой очень интересуется. Я так много рассказывал ему о тебе. Ты ему доставишь только удовольствие! Расскажешь два-три анекдота — посмеемся. Раздевайся! Тут запросто.

— Да почему ему так хотелось со мной познакомиться?

— Ну, как же! Он тоже стихи пишет...

Дверь открылась, и на пороге показался оживленный Еропегов, таща за руку конфузливо упиравшегося черно-

го человека с кривыми ногами и мрачным, унылым взглядом впалых глаз.

— Вот он, проказник! Насилу приволок... Ффу!.. Познакомьтесь, господа!

Демкин застенчиво пожал мою руку и сел, скривив голову набок.

— Вот, брат, тот Демкин, о котором я говорил. Стихи пишет! Поэт.

Поэт сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернул под кресло, а на носок другой стал пристально смотреть, будто не веря глазам, что он еще обладает этой частью тела.

Руки решительно затрудняли его: сначала он сложил их на коленях, непосредственно за тем перенес их на грудь и, в конце концов, подпер одной рукой бок, а другой стал обмахивать лицо, покрасневшее от уличного холода.

— Вы действительно пишете стихи? — спросил я, желая ободрить его.

— Пишу, — отвечал он надтреснутым голосом. — Только так, для себя...

Этот человек трогал меня до слез своим жалостным видом. Я решительно недоумевал: зачем Еропегов притащил его?

— Нет ты, брат, расскажи лучше анекдотик какой-нибудь. Изумительно анекдоты рассказывает, — обратился ко мне оживленный, веселый Еропегов. — Право, расскажи!

Демкин потупил голову и гудящим, унылым голосом покорно начал:

— Один купец пришел в ресторан. Видит — висит клетка с соловьем. "Сколько, — говорит, — стоит". — "Триста рублей". — "Зажарьте".

— Этот анекдот мне известен, — сказал я. — Купец, когда зажарили, сказал: отрежьте на три копейки. Да?

— Да, да, — кивнул головой Демкин. — А то другой анекдот есть: армянин застал жену с приказчиком на диване. Они целовались, и он...

— Знаю! — перебил я. — Потом он еще диван продал.

Демкин тяжело вздохнул и замолчал.

— Ты расскажи об еврее, который пришел в театр, а потом ушел, не желая ждать, когда прочел в программе, что между вторым и третьим действием проходит полтора месяца, — подсказал Еропегов.

Мрачный Демкин покорно рассказал анекдот об еврее.

Анекдот был тоже мне знаком, но я сделал вид, что впервые услышал его, и поэтому насильственно смеялся.

Еропегов громко хохотал и одобрительно повторял:

— Этаким весельчак! Удивительно! Вот ему бы, — об-
ратился он ко мне, — с Подскокиным познакомиться!
Надо будет их познакомить. Да что, брат, там думать...
Пойдемте сейчас все к Подскокиным. Они будут очень
рады.

Я категорически отказался, ссылаясь на работу.

Демкин встал и стал прощаться со мной. Еропегов
хлопал его по плечу, одобрительно говоря:

— Уморушка с тобой! То есть, откуда у него берутся
эти анекдоты?! Прямо удивительно!

Потом я слышал, как Еропегов говорил Демкину
в передней:

— Ты, брат, к нему запросто приходи! Он очень будет
рад. Ну, как он тебе понравился? Не правда ли — душа
человек?.. А сейчас мы к Подскокиным поедem.

— Да я ж с ними не знаком!

— Пустое! Они очень будут рады.

III

На днях я собирался ехать в Москву. Услышав об
этом, Еропегов всплеснул руками и спросил меня:

— Ты где же думаешь остановиться?

— В гостинице. Мне на два дня.

— Ну не чудак ли?.. Я всегда говорил, что ты — фор-
менный чудак! Поезжай прямо к Коле Полтусову и ос-
тановись у него.

— К какому Коле Полтусову?

— Ты не знаешь Кольку? Он не знает Кольку! Тебе
стоит только явиться к нему и сказать: "привез вам
поклон от Алеши!" Он тебя в объятьях задавит.

Глаза его увлажнились слезами.

— Да... — прошептал он, будто охваченный потоком
нахлынувших воспоминаний. — Коля Полтусов... Сколь-
ко у меня связано с этим именем... Наши кутежи, попой-
ки... Милый, непосредственный Коля... Нет, брат! Ты его
обидишь, если не приедешь прямо к нему. У него ты
великолепно устроишься на эти два дня.

— Но как же мне поехать к незнакомому человеку?
Ведь это ты с ним друг. А мне он не знаком.

— Колька не знаком?! Николай Полтусов не знаком?
— вскричал Еропегов. — Ну, ты, милый, меня уморить
хочешь. Вас через час водой не разольешь! Прямо скажи
— поклон от Алеши! Ну, согласишься... ведь ко мне ты бы

поехал? Почему же к нему не хочешь? Ты скажи только
— я друг Алеши! И довольно. И довольно!!

Я спорил с Еропеговым около часа и, наконец, он
победил меня своей стремительностью, взяв торжествен-
ное слово, что я, по приезде в Москву, направлюсь прямо
к Полтусову.

— Но ведь не могу же я ему сказать: "приютите
меня". Это неудобно!

— Этого и не надо. Он сам в тебя вцепится. Да. Коля
Полтусов... Что-то ты сейчас делаешь там, в своей Моск-
ве?! — растроганно прошептал Еропегов.

IV

Приехав в Москву, я прямо с вокзала поехал по
данному мне адресу и действительно увидел подъезд
с металлической дощечкой на дверях:

"Николай Карпович Полтусов, присяжный поверен-
ный".

Меня впустили и через минуту ввели в кабинет Полту-
сова, высокого пожилого господина, недоумевающе под-
нявшегося мне навстречу.

— Здравствуйте, — сказал я, отрекомендовавшись.
— Привез вам поклон от Алеши.

— От какого Алеши? — спросил он.

— От Алексея Петровича Еропегова, вашего друга.

— Алексея... Агапеньева?.. Что-то... такого я не знаю,
— задумчиво сказал Полтусов.

— Не Агапеньева, а Еропегова.

— Еропегова?.. Гм... Да он какой из себя?

— Высокий такой, костлявый. Вечно суетится.

Полтусов потер лоб.

— Не припомню... Что за странность!..

— Да вы Полтусов? Ваше имя Николай?!

— Да.

— Ну как же вы его не помните?! Он еще вспоминал
о ваших попойках, о каком-то кутеже в "Славянском
Базаре"...

Полтусов задумался.

— Он не брjнет ли такой, с размашистыми движе-
ниями?.. Еще всех знакомить любит?..

— Он! — вскричал я. — Конечно, Еропегов!

— Теперь я припоминаю. Мы с компанией однажды
сидели в "Славянском Базаре" за столиком, а этот
господин, сидя рядом, со своим знакомым, подошел

потом к нам и сам представился. Помню, помню. Он еще предлагал мне выпить на брудершафт, да я отказался... Ну что за смысл пить с почти незнакомым человеком... Не правда ли?

Я встал, пробормотал несколько слов извинения и, опрокинув стул, поспешно ушел от Полтусова, боясь оглянуться, чтобы не встретиться с его глазами.

V

— Ну что, — спросил Еропегов, радостно приветствуя меня по возвращении из Москвы. — Как Коля?

— Ничего. Просил тебе кланяться, — усмехнулся я.

— Вот видишь! Ты, конечно, у него остановился?

— О, да. Он меня принял, как родного. Одно твое имя раскрыло передо мной все двери.

— Ну, вот видишь! Я всегда говорю, что человеческие отношения должны быть самыми простыми и душевными.

Он посмотрел на меня, помолчал и потом, подумав немного, сказал:

— Тебе нужно отдохнуть среди природы. Тебе нужно поехать в Новоузенский уезд.

— Почему именно в Новоузенский?

— Там живет семья помещика Козулевича. Прекрасные люди! Право, поезжай. Они тебя, как родного, примут. Чего, в самом деле.

— Ты хорошо знаком с ними? — усмехнулся я.

— Я не знаком, но мне Демкин много говорил о них. Славные такие люди! Они будут тебе бесконечно рады...

АПОСТОЛ

I

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников.

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке... Человеку, желающему быть миллионером, достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Ев-

ропе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это — вы совершили почти все... Остаются пустяковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свинины, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где-либо в Англии — племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионеров... В лучшем случае ему попадут несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику — тем дядюшка все беднее... Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч, какая-нибудь Самара — тощий засаленный пучок кредиток и, наконец, есть такой предел, такая граница — где дядюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и втайне мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но я им в общем доволен: он живет в Сибири.

II

Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса, и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.

— А я к тебе, брат племянник! Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники... Хо-хо!

Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и — отшатнулся.

— Что вы, дядя?

Он прохрипел, нахмутив брови:

— Убийца!

— Кто убийца, — озабоченно спросил я. — Где убийца?

— Ты убийца! Что это такое? Это вот...

— Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..

— Чтобы я ел тело убитого в муках животного?.. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!

— Вы что же, дядя... вегетарианец?

Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:

— Надеюсь, и ты им будешь. Надеюсь.

Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска, я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.

— Конечно, дядя... Если вы находите это для меня необходимым — я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущности, возмутительно: питаться через насилие, через боль... Впрочем, этот ростбиф я могу доесть, а?

— Нет! — энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф. — Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!

— Дядя! Ведь животное это все равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку — я бы, конечно, его не тронул... Но у него даже нет ног... Не думаю, чтобы этот бедняга мог что-либо чувствовать...

— Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует... Его уже убили злые, бессердечные люди. Но ты — ты должен спать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении божьего творения...

До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожении одного или двух кусков божьего творения. И наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.

Но так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное — я закрыл руками лицо и с мучительной болью в голосе прошептал:

— И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц... Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по-новому!..

Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:

— Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час все будет готово: мы пообедаем очаровательно!

III

На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.

— Мы, брат, чудесно обедаем, — добродушно говорил дядя. — За первый сорт. Я голоден как волк.

Он взял яйцо и вооружился ложкой.

— Дядюшка! — изумленно вскричал я. — Неужели вы будете есть это?!

— Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю...

— Ну, нет! По-моему, это такое же убийство... Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.

Он вскочил и бросился в мои объятия.

— Прости меня. Ты прав... Ты гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:

— Хотя оно уже вареное... Цыпленок из него едва ли получится.

— Дядюшка! — укоризненно отвечал я. — Дело ведь не в нем, а в вас. В вашей чистой совести!

— Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной капусты.

— Дай я тебе налью, — любовно глядя на меня, сказал дядюшка.

Я печально покачал головой.

— Не надо мне этого супа.

— Что такое? — встревожился дядя. — Почему?

— Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историю... На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде росла цветная капуста. Радостно тянулась она к ласковым лучам своей яркой зеленью... Любо ей было купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни... Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди... Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул на меня.

— Ты думаешь... Она что-нибудь чувствует?

— Чувствовала! — прошептал я со слезами на глазах.

— Теперь уже не чувствует... Учеными ведь доказано, что всякое растение — живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку...

Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.

— Мне стыдно перед тобой... Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же замаскированным убийством... Ты прямолинейнее и, значит, — лучше меня.

Мы сидели молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.

— Но... — прошептал наконец дядя, задумчиво глядя на меня. — Чем же мы должны питаться?

— Молоком, — сказал я. — Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев, и поэтому жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и изготавливать суррогат муки.

Дядя вздохнул.

— А я заказал кухарке на второе спаржу.

— Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историю: на одном огороде росла спаржа... Радостно тянулась она к яркому...

— Знаю, — кивнул головой дядя. — Потом пришли злые огородники и сделали ей больно...

Он почесал затылок и сказал:

— Ну что ж делать... Попьем молочка! Может, до сбора сухих листьев можно с кусочком хлеба... Он ведь мертвенький...

— Дядя! — сурово и непреклонно сказал я. — Будьте же мужественны! Ведь дело не в мертвеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!

IV

Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:

— Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком...

— Босиком? Зачем, мой друг, босиком?

— Дядя! — укоризненно сказал я. — Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных... Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!

— Ты мог бы, — сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, — делать башмаки из дерева... Как французские крестьяне.

— Дядюшка... Позвольте вам рассказать одну печальную историю. В тихом дремучем лесу росло деревцо. Оно жадно тяну...

— Да, да, — кивнул головой дядя. — Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?! Вот, у тебя сейчас деревянные полы...

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

— Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет... Я закажу стеклянные полы...

— По... чему стеклянные?

— Стекла не больно. Оно — не растительный предмет... Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки...

— А... матрац и... подушки? — робко смотря на меня, спросил дядя.

— Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну...

— Знаю, — печально махнул рукой дядя. — Хлопок рос, а пришли злые люди...

Он встал со стула. Вид у него был расстроенный, и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.

— Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? — спросил я. — Мне нужно кое-чем заняться, а вы погуляйте.

Он встал, робкий, голодный, и заторопился:

— Хорошо... не буду тебе мешать... Пойду погуляю...

— Только, — серьезно сказал я, — одна просьба: не ходите по траве... Она вам ничего не скажет, но ей больно... Она будет умирать под вашими ногами.

Я обнял его, прижал к груди и шепнул:

— Когда будете идти по дорожке — смотрите под ноги... У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который...

— Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце...

Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне он, очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.

Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осмат-

ривая землю под ногами... Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его ко рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели — до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях.

Смерть его не особенно меня удивила.

Удивился я, только узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток — так, тысячи три.

ДУШЕВНАЯ ДРАМА (Жизнь человека)

Начало этой печальной и трагической истории такое.

В шестом этаже большого каменного дома стояли в разных позах трое лиц и вели между собой оживленный разговор.

Женщина прижимала красивыми полными руками к груди простыню, забыв, что простыня не может нести двойную службу и прикрывать в то же время ее стройные обнаженные колени; женщина плакала; и в промежутке между рыданиями женщина говорила:

— О, Иван! Уверю же тебя, что я не виновата... Это все он... Вскружил мне голову, увлек меня и все это, уверяю тебя, против моей воли! Я боролась...

Один мужчина, не снимая пальто и шляпы, сильно жестикулировал и укоризненно говорил третьему в этой комнате:

— Мерзавец! Я тебе докажу сейчас, что ты подохнешь, как собака, и закон будет на моей стороне! Ты расплатишься за эту кроткую страдалицу, подлый змей-искуситель!!

Третьим в этой комнате был молодой господин, одетый в настоящий момент хотя не совсем тщательно, но державшийся с большим достоинством...

— Что ж я... Я ничего, — возражал он, печально смотря в пустой угол комнаты.

— Ты — ничего? Так вот же тебе, негодяй!

Мощный мужчина в шляпе распахнул окно, выходившее на улицу, схватил в охапку не совсем тщательно одетого молодого господина и выбросил его в окно. .

Очутившись в воздухе, молодой господин стыдливо застегнул жилетку и, прошептав себе в утешение: "Ничего... Неудачи закаляют!" — полетел вниз.

Не успел он еще в своем полете достигнуть следующей, пятого, этажа, как из груди его исторгся тяжелый вздох.

Воспоминание о женщине, которую он сейчас только покинул, отравило своей горечью всю прелесть ощущения полета.

— Боже ты мой! — горестно подумал молодой господин. — Ведь я ее любил... А она не нашла в себе даже мужества во всем признаться супругу! Бог с ней! Теперь я чувствую, что она для меня далека и безразлична...

С последней мыслью он достиг уже пятого этажа и, пролетая мимо окна, с любопытством заглянул в него.

За покосившимся столом, подперев голову руками, сидел молодой студент и читал книгу.

Пролетавший господин, увидя его, вспомнил свою жизнь, вспомнил, что он до этого проводил все свое время в светских забавах, забывши о науке, о книгах, и его потянуло к свету знания, к раскрытию пытливым умом тайн природы, к восхищению перед гением великих мастеров слова...

— Милый, милый студент! — хотелось ему крикнуть читавшему. — Ты разбудил во мне дремавшие стремления и излечил от того пустого увлечения суетой жизни, которая довела меня до такого печального разочарования в шестом этаже...

Но, не желая отрывать студента от занятий, молодой человек не крикнул этого, а пролетел до четвертого этажа, и здесь мысли его приняли другое направление.

Сердце сжалось сладкой и жуткой болью, а голова закружилась от восхищения и восторга.

У окна четвертого этажа сидела девушка и, имея перед собою швейную машину, что-то шила.

Но ее прекрасные белые руки забыли в настоящий момент о работе, и голубые, как васильки, глаза смотрели куда-то вдаль мечтательно и грустно.

Молодой господин не мог оторвать взора от этого видения, и в сердце его росло и ширилось какое-то новое, большое и властное чувство...

И понял он, что все его прежние встречи с женщинами были не более как пустыми увлечениями и что только теперь он познал это странное, загадочное слово: любовь.

И его потянуло к тихой, семейной жизни, к ласке беззаветно любимого существа, к улыбке радостного и умиротворенного бытия.

Следующий этаж, который он в настоящий момент пролетал, еще более укрепил его в этом стремлении.

В окне третьего этажа он увидел смеющуюся мать, которая, подбрасывая на коленях полненького улыбающегося ребенка, пела ему тихую песенку, и в глазах ее светилась любовь и ласковая материнская гордость.

— И я хочу жениться на девушке из четвертого этажа и хочу иметь таких же розовых, пухленьких ребят, как в третьем этаже, — подумал господин. — И я весь отдамся моей семье и в этом самопожертвовании найду свое счастье...

Но приближался уже второй этаж. И картина, которую в окне этого этажа увидел молодой господин, заставила сжаться его сердце.

За роскошным письменным столом сидел господин с блуждающим взглядом и взъерошенными волосами. Он беспрестанно поглядывал на фотографическую карточку, которая стояла перед ним. При этом правой рукой писал какую-то записку, а в левой держал револьвер, прижимая дуло его к виску.

— Безумец! Остановись!! — хотел крикнуть ему пролетающий молодой господин. — Жизнь так прекрасна!

Но какое-то инстинктивное чувство удержало его от этого.

Роскошная обстановка квартиры, богатство и уют навели молодого господина на мысль, что в жизни есть что-то другое, что может развеять и этот уют, и довольство, и семью, что-то более сильное, властное и ужасное...

— Что же это такое? — подумал с тяжелым сердцем молодой господин, и, как будто нарочно, жизнь дала ему суровый и бесцеремонный ответ в окне первого этажа, которого он теперь достиг.

У окна, почти совсем скрываясь за драпировкой, сидел молодой человек без сюртука и жилета, а на коленях у него сидела полуодетая дама, любовно обвивши шею возлюбленного круглыми розовыми руками и жарко прижимаясь к нему пышной грудью...

Молодой господин вспомнил, что он видел эту нарядную даму на прогулке с мужем, но этот человек не был ее мужем... Тот был старше, с черными полуседеыми кудрями, а этот имел прекрасные белокурые волосы.

И вспомнил молодой господин свои давешние планы — ученья, по примеру студента пятого этажа, женитьбы на девушке четвертого этажа, мирной семейной жизни на манер третьего этажа — и тяжело сжалось его сердце.

Увидел он всю эфемерность, непрочность счастья, о котором он мечтал, увидел в будущем около себя и жены целый ряд молодых людей с прекрасными белокурыми волосами, вспомнил муки господина второго этажа и те меры, которые тот принял для избавления от этих мук, — и понял он его.

— После всего виденного жить больше не стоит, это и глупо, и мучительно, — с болезненной, саркастической усмешкой подумал молодой человек и, сдвинув брови, решительно подлетел к самому тротуару улицы.

И не дрогнуло сердце его, когда он коснулся руками тротуарных плит и, сломав эти бесполезные теперь руки, разбил голову о твердый, равнодушный камень.

А когда около его неподвижного тела собрался любопытствующий народ, никому и в голову не пришло, какую глубокую и сложную душевную драму пережил за момент перед этим молодой господин!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете... Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

"Чтоб тебе лопнуть, жила!" — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!

— Ну-с... ваше здоровье! А я простой вышью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки... Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра... — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры... Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостью тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши... Да так, к слову сказать, знаете, почему теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен... на хлеб... да в рот... Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще... "Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он", — как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостью ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины... Неужели вы стесняетесь?

— Что вы! Я чувствую себя как дома!

"Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал", — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

— И с икрой, добавьте, — правоучительно произнес гость. — Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил... Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда... Совершенно незаметно!

— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

— Да это грибки, — добродушно сказал гость.

— А вы... чего же хотели?

— Икры. Там еще есть немного к блинам.

— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

— Что такое?

— Кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

— Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте... Кушайте побольше.

— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте... Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!

— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед... Оставим место и для шампанского и для ананасов... Пока я — сию брүнечку. Кажется, немного еще осталось?

— Куш... кушайте! — сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. — Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам

нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркала... Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого... Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.

РЫЦАРЬ ИНДУСТРИИ

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, — и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. — Конечно же можете.

— Зайдите ко мне в таком случае, — сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам — да, так — нет! Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я. — Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же, — удивленно возразил я, всматриваясь в него. Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я. — Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться — на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам Бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться, — замотал я головой. — Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин "Оборот"... Наша фирма...

— Господин Цацкин, — возразил я. — Ей-Богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

— Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе, — раздражительно сказал я. — Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

— Что такое лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться,

а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост...

— Ничего мне не нужно! — сказал я, сжимая виски. — Простите, но вы мне действуете на нервы...

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты "Мигренин" — фирма уж сама доставит вам на дом...

— Извините, — сказал я, закусывая губу, — но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью...

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин. — Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три — десять...

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства. — Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощущая пресс-папье на моем письменном столе. — Этим пресс-папье... Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать, — покачал головой господин Цацкин. — Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестидесять копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

— Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и прищуря сказал:

— В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор два рубля сорок копеек, за три — шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

ДЕНЬ ГОСПОЖИ СПАНДИКОВОЙ

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче "хронической дурой" и "рыжей тетехой", а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга выставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песка, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

— Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделан легким и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

— Мука моя мученская! — простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться и, так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

— Чего ты? — спросил господин Спандиков.

— Я потеряла обручальное кольцо в воде, — всхлинула госпожа Спандикова.

— Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать — потеряла, значит, и нет его. Пойдем.

— Как пойдем? — вспыхнула госпожа Спандикова. — Так может говорить только старый осел!

— Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

— Ты.

— Ну ладно, ну я... Пойдем, милая.

— Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

— Я куплю другое. Пойдем, милая.

— Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит — большое несчастье.

— Первый раз слышу!

— Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

— Ну, я иду домой.

— Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

— Купить другое? — пошутил муж.

Госпожа Спандикова всплеснула руками.

— Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

— Да мне не хочется.

— Лезь.

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

— Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

— Ищи же тут! Нырни еще.

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

— Разве ты в этом месте купалась?

— Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

— Да течение не оттуда, а отсюда.

— Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной роши, течение было отсюда?

— Потому что мы были на том берегу реки.

— Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку, грустный с искаженным лицом...

— Не могу больше! — прохрипел он.

— Это еще что за новости?!

— Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.

— Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

— Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный эстер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но тем не менее господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали

коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.

На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром "хронической дурой" и "рыжей тетехой".

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

— Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

— Ну? — спросил муж хронической дуры.

— Ну — и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупое покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами, и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

— Я не хочу вашего супа с битком, — говорил он обиженно. — Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так.

Съесть, нагнувшись на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла,

и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир "Черный Лебедь".

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название "Черный Лебедь", что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпировавшись в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он тайственно озибался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с, — говорил обычно слуга. — Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! — грубо смеялся он, хлопая себя по карману. — Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

"Дельце" Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво!! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, "домашних местах" и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская гольтьба, он думал: "Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто, — будет со страхом спрашивать, — стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это — страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть..."

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

"Хорошо бы, — подумал он, — если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал".

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека ("эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся").

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

— Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло ыиниществу большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки Мотья, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотья робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

— Бы-ло? — спрашивал Мотья, дрожа всем телом.

Химиков злое ще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое.

— А что же вы с купцом сделали? — тихо спросил бледный Мотья.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха, по квитался с ним!

— Кричал? — умирающим шепотом спрашивал Мотья, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

— Не цыкнул. Нет, это что... Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

— Какой... старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотья.

— Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил... Ну, и мне попало! две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотья смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько... вы вообще человек... уложили?

Химиков задумывался:

— Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь властью... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал, — просил Мотья.

— Вот он, старый друг, — оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. — Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Хах-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озираясь, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну, Мотя, устал я после всех этих передраг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотья.

— Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев — это царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотья, засыпал тяжелым сном.

Мотья долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупое покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотья заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность, — закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала, — влюбился.

Его идеал, — бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, — нашел воплощение в девице без определенных занятий — Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными репшительными шагами по улице, закутан-

ный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это не тактично приставать к незнакомым девушкам.

— Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей... Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорила... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но, когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к дон-жуану и смотря на него снизу вверх. — Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Ч-черт з-знает, что такое, — пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. — Черт знает... репшительно не понимаю... — оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

— Сударыня, — сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. — Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими

грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! — злоеце захохотал Химиков. — Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

— Кто вы такой? — спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

— Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным сообразоваться дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

— Ну что ж, можно, — усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, беззащитны, — прошептал Химиков, тронутый ее историей. — Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

— Покатайте меня на автомобиле, — сказала девушка, шуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желанье женщины было для него законом.

— Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет

в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепанную прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

— Дайте папиросу, — попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! — в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир "Черный Лебедь", добрый кувшин пива — все это поглотило молодое поэтическое чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги злоеца авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед. Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже "доброй яичницы" в трактире "Черный Лебедь", ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время, как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфект.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, — печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, — улыбнулся торговец. — С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений. Ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он. — Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. — В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойдешь, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотья и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

— Да... брат... Мотя, — подмигнул ему Химиков, — много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

— Мама говорила, что, может, не умрете, — попытался обрадовать страшного счетовода Мотья.

— Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя. Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, — мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью:

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков. — Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, — тогда начинайте действовать. Пусть лется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь, — с трудом сказал Химиков, открывая глаза, — тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом всевыш... Засни, Красный Матвей!

И затих.

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ

Предисловие

Всякий, кому довелось читать мои произведения, заметил, что все они проникнуты теплым, ярким светом недюжинного таланта и оригинальности. Я не помню ни одного своего рассказа, который не вызвал бы массы толков и восторженных похвал. Например, вчера: зашел ко мне приятель, с целью перехватить кое-что "до следующей среды". Получив деньги, он положил их в карман, похлопал меня по плечу и дружески сказал:

— Читал я на днях твою штучку... Ничего!

Да всего и не упомянешь!

Читатель обыкновенно замечает хорошие стороны писателя только тогда, когда поднесешь их ему под самый нос. Исходя из этого, я должен обратить внимание читателя на то, что во мне нет и в помине тривиальности и пошлости других жалких писак. Например, в нижеследующем рассказе я пишу о таких невероятных вещах, что всякий здравомыслящий читатель ни крошки не поверит, что это правда... Зная об этом, мои презренные коллеги прибегают в таких случаях к невероятно пошлому и навязшему в зубах приему: они разглагольствуют о самых небывалых, невозможных вещах в продолжение всей повести, и в самом конце вскользь упоминают об очевидце рассказанной им чепухи:

— Но тут он... проснулся!

Подумаешь, будто читатель без этого поверил бы всем выдуманному нелепостям. И автор, полагающий, что он — крайне хитрый, себе на уме человек, в тысячный раз ставит между "но тут он" и "проснулся" многоточие. Он уверен, что читатель, прочтя, "но тут он" все еще будет думать обо всем рассказанном, как о голой правде, и слово "проснулся" застанет его врасплох, — изумленным и не подготовленным к ошеломляющему разоблачению автора.

Всего не так поступаю я.

Нижеследующее покажется читателю неслыханным, странным и необъяснимым, но я утверждаю, что *все это было*, и малейший признак недоверия к рассказанному глубоко уязвит мою чуткую, впечатлительную душу.

Глубокой ночью сидел я в своем тихом уютном кабинете и писал для оккультного журнала статью о загробной жизни.

Фактов о загробной жизни у меня было столько же, сколько у любой торговки апельсинами, и это немало огорчало меня.

Приходилось фантазировать, что вовсе мне не по душе.

Написав несколько строк о том, что души покойников после смерти переселяются на верхушки стоящих около могил деревьев, занимаясь потом, при появлении живых родственников, печальным киванием этими верхушками, я недоверчиво пожал плечами и задумался.

— Вот, — говорил я сам себе, — за моей спиной в глубине кабинета висит женский скелет, подаренный

мне приятелем... И этот нелепый, никому не нужный костяк знает о загробной жизни в сто раз больше меня, живого человека и царя природы... Я не пожалел бы остатка своей жизни за то, чтобы эта женщина открыла свои костлявые уста и приподняла хотя маленький краешек таинственной завесы загробной жизни.

Сзади послышался глухой вздох.

Я вздрогнул и насторожился.

— Ах! где я? — заскрипело что-то в глубине кабинета.

— Какой это идиот осмелился меня повесить?

Я вскочил с глазами, готовыми от ужаса выпрыгнуть на пол, и обернулся к скелету. Обладательница его пошевелила рукой и приняла стыдливую позу Венеры, выходящей из воды. Я не мог отвести от нее испуганных глаз и стоял без единого звука, а она, наклонивши череп, застенчиво сказала:

— Ах! Не смотрите так на меня!

— Как — так? — машинально спросил я.

— Так... Все вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забыли, что я не одета. Ну, чего же вы стали, как столб? Пошевелитесь! Принесите скорее мне какую-нибудь простыню, да отцепите от этого проклятого гвоздя. Только не смотрите на меня, пока я не оденусь. У-у... Шалун.

Она погрозила мне костяшкой пальца и закуталась в поданное мной одеяло. Я снял ее с гвоздя, причем заметил, что она прижалась к моему плечу больше, чем это было нужно.

— Боже! — сказала она, запахиваясь в одеяло.

— Я одна, в глухую ночь, в кабинете молодого мужчины... Надеюсь, вы не употребите во зло мое безвыходное положение?

— Помилуйте, сударыня, — возразил я, незаметно отодвинувшись от нее. — Как вы могли подумать...

— Да, да... знаю я вас! Все вы сначала говорите одно и то же...

Оглядевшись, она взяла со стола скомканную бумажку, потеряла ее о рыхлую землю цветочного горшка и стала пудрить свои белые костлявые скулы.

— Не смотрите на меня так! Я всегда чернею от смущения, когда мужчина смотрит на меня.

— Простите, — пробормотал я. — Я не буду смотреть...

— Вы не будете смотреть? — лукаво улыбнулась она страшным оскалом челюстей. — Разве я вам не нравлюсь?..

— О, помилуйте! Вы мне очень нравитесь... гм... Я очень люблю таких... худощавых дам!

Я бессовестно лыстил ей, надеясь выведать у нее многое из того, что знала она и что было для меня таким недоступным.

Она же приняла мои слова за чистую монету.

Почернела, потупилась и, подняв обе руки к черепу, воскликнула:

— Ах, какой вы кавалер! Скажите, пожалуйста... У меня прическа не растрепалась?

— Нет! — совершенно искренно ответил я, так как прическа ее не могла растрепаться ни при каких условиях.

Она лукаво поглядела на меня пустыми глазницами, и я, собравшись с духом, сказал:

— Мадам!

— Ах! — что вы... — сконфузился скелет... — Я пока мадемуазель.

— Неужели? Простите, я не знал. Сударыня! У меня к вам есть большая просьба...

Скелет закутался плотнее в одеяло и захихикал:

— Ах, нет, нет! Что это вы... Ни за что!

— Что — нет? Я вас не понимаю, сударыня...

— Да, не понимаете... Все вы, мужчины, не понимаете!..

— Уверю вас! У меня есть к вам важная просьба: расскажите мне что-нибудь о загробной жизни!

— Вы не знаете? — улыбнулась она, кокетливо помахивая кончиком ноги, выставившейся из-под одеяла.

— Ах, это так интересно!.. Это страшно, безумно интересно!

— Да что вы! — обрадовался я. — Так вы расскажете...

— Конечно, конечно! Вы себе и представить не можете, что там делается!.. Только... гм... и вы должны сообщить мне кое-что...

— О, сколько угодно!

Она наморщила надбровную дугу и деловито сказала:

— Merci¹. Скажите мне: что теперь носят?

Будучи уверен, что ее мысли заключены в узкий круг мертвецких похоронных интересов, я ответил, покачив головой:

— Носят? Да все. И мальчиков, и стариков, и цветущих женщин, и младенцев.

— Нет! я вас спрашиваю, что в этом сезоне носят?

¹ Спасибо (фр.).

— Холерных больше, — подумав, сказал я.
— Не-е-ет! Какой вы, право, непонятливый... Что у вас носят женщины? Ну, узкие рукава — в моде?
— Ах, так! Да, бывают узкие, — неопределенно ответил я.
— Вы не заметили — на груди есть складки?
— Складки? Иногда портнихи их, действительно, делают.
Она задумчиво покачала черепом.
— Гм... Так я и думала. А скажите... Как нынче юбки?
— Юбки? Черные пьют, красные, зеленые...
— Нет, нет... А фасон?
— Такой, знаете... обтянутый.
— Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что к этому вернутся.

Она натянула на своих бедрах одеяло и повернулась передо мной.

— Так?
— Сударыня! — робко напомнил я. — Вы мне обещали о тамошнем кое-что порассказать...
— Да, да... Шляпки, конечно, по-прежнему большие?
— Большие. Сударыня, осмелюсь...
— Боже мой! Что вы от меня хотите?
— Вы обещали...
— Ага, простите! Что же вам рассказать?
— Все, подробно... Как там, вообще...
— Ах, вы и вообразить не можете! Надо вам сказать, что умерло нас трое: я, потом одна толстая лавочница и жена адвоката. На мне было белое платье с розовой отделкой, волосы зачесаны назад и на ногах...

— Сударыня!
— Ну? Не перебивайте! А жена адвоката... Можете представить: она была в черном шерстяном и в туфлях без каблуков... Ха-ха! Без каблуков! Ха-ха-ха!

Она так расхохоталась, что закашлялась. Потом встала с кресла и, прохаживаясь перед зеркалом, продолжала:

— Ну вот, умираем мы... В тот же день с нами похоронили одного молодого чиновника... Длинный такой был, красивый. С усиками. Мне рассказывали, что на похоронах его была молодая женщина, плакавшая над гробом, и старик, который...

— Сударыня!
— И старик, который все качал головой, глядя на него... Понимаете, седой весь... качает и качает головой! А молодая дама, можете представить...

— Сударыня!
— Ну, что там еще?.. А потом говорили над его гробом речи. Какой-то толстый сказал: "обнажим, говорит, наши головы перед прахом этого молодого человека"... Ужасно было трогательно.

— Сударыня!.. Я вас просил о загробной жизни, а вы...

— Ах, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали... Загробная жизнь наша состоит в том, что...

Она остановилась перед зеркалом и повернулась к нему спиной.

— А сзади меня хорошо облегает?

— Хорошо! Так вы говорите, что загробная жизнь...

— Да!.. Она состоит в том, чтобы... Ах, досада! Никак я не могу спины увидеть...

Она повернула голову так, что затрещали позвонки.

— Загробная жизнь наша заключается в том, что мы...

Она свернула череп чуть ли не совсем на затылок... Неожиданно проволока, скреплявшая позвонки, лопнула, и голова с двумя позвонками глухо упала на ковер...

Моя собеседница зашаталась и рухнула, рассыпавшись грудой белых костей.

— Проклятая, болтливая баба! — злобно вскричал я, вытряхивая ее из одеяла.

Потом долго не мог успокоиться, шагая из угла в угол, и только под утро заснул тяжелым сном, томимый неразрешенной загадкой, которая почти давалась в руки:

— Что же, наконец, делается на том свете?

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с женой теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, оставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптыкает ложкой в противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно, — вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал — ликование и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

— Я вас не понимаю...

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-Богу, лично против вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: "Благодарю вас, хорошо", — вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: "А Женя еще спит?" — хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться, — говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще не известное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

— Вы тяжелый грубиян и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хо-

рошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

На улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что поделяетесь?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я бишь говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

— Извините, — страдальчески говорит Хрякин, — мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделяю. А поделяю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что поделяю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. "Приезжайте, — говорит, — завтра к нам"...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натякуюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же, — говорю, вздыхая. — Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги все собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует...

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: "Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик". А тот его спрашивает: "А вы курите?" — "Нет". — "Значит, есть домик?" — "Нет". — "Ха-ха!" Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свидания. Заходите.

— Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — черти побрали?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Перед лицом смерти

В этот день я был на поминальном обеде.

Стол бы уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.

— Слышали? Какое у меня несчастье-то...

Конечно, я слышал... Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да, да...

Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий...

Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя... Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да, — вздыхает сивый старик в грязном скюртуке. — Юдоль. Жил, жил человек да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так... Вот вы говорите — жил, жил да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробеньким смехом.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я одобряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк. — Жить бы ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы:

— Бог дал — Бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под Богом ходим, — говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем, — шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — "как это говорится", — соглашаюсь я. — А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

— Да, — вздыхает толстяк. — Он уже там!

— Ну, там ли он — это еще вопрос... Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал... Дуралей был преественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, тово... Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

Веселье

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.

— Да спойте!

— Право же, не могу...

— Да спойте!

— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!

— Да спойте!

— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...

— Да спойте!

— Говорю же — я не в голосе...

— Да ничего! Да спойте!

— Что уж с вами делать, — засмеялась барышня.

— Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышнинного пения, а она не хотела петь... На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

"Сейчас, — подумал я, — все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: "Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете..."

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевым голосом сказал:

— Да-а... Неважно, важно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

— Давайте поболтаем, — предложил я, садясь. — Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

— Шесть штук.

— И все хотят замуж?

— Безумно.

— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?

— А то как же... Все.

— И обирать будут мужей и изменять им — все?

— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.

— И вы тоже такая?

— И я.

В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко, и благодарно поцеловал ее, и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.

Перед сном

Дома жена встретила меня слезами:

— Зачем ты обидел тетку утром?

— А зачем она разговаривает?!

— Нельзя же все время молчать...

— Можно. Если сказать нечего.

— Она старая. Старость нужно уважать.

— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупы, оба пыльные.

Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой:

— Все вы, мужчины, одинаковы.

Ложусь спать.

— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..

ТАЙНА

I

Он уверял меня, что с детства у него были поэтические наклонности.

— Понимаешь — я люблю все красивое!

— Неужели? С чего же это ты так? — спросил я, улыбаясь.

— Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко всему красивому...

— В таком случае, я подарю тебе книжку моих стихов!!

Он не испугался, а сказал просто:

— Спасибо.

Я спросил как можно более задушевно:

— Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овечку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-высоко... Так, саженой в 60 высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, он прошептал:

— Люблю до боли в сердце.

— Вот видишь, какой ты молодец. А еще что ты любишь?

— Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое пение... Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю тайну, которая всегда красива.

— Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого раньше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн... Знаешь ли ты, например, что между женой нашего швейцара и приказчиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как он делал ей заманчивые предложения...

Он болезненно поморщился.

— Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, грубая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты знаешь, что я сделал сегодня?

— Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, — уверенно сказал я.

— Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И знаешь, что я сделал?

— Что-нибудь красивое, поэтичное?

— Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки. Это маленькая грациозная тайна. Я люблю все грациозное. Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... И неизвестно от кого... это тайна.

— Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие брюки!

— Друг, — страдальчески сказал он. — Не будем говорить об этом. Цветы... Из нездешнего мира... Откуда

они? Из чистого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.

— Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? — едко сказал я.

— Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив... Ты понимаешь — она *никогда* не узнает, от кого эти цветы... Это маленькое и ужасное слово — *никогда*. Never-more¹.

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что если бы этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы, чем мои.

II

Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас такой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сначала даже отступил за Васю Мимозова.

— Василий Валентиныч! — воскликнула прелестная хозяйка. — Признавайтесь... Это вы прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко открыв глаза:

— Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.

— Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту очаровательную вещь.

— О чем вы говорите?

— Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!

Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цветов:

— Какая роскошь! Кто это вам преподнес?

Хозяйка удивилась.

— Неужели это не вы?

Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней зое грустное, меланхолическое лицо и твердо сказал:

— Конечно, не я. Даю вам честное слово.

Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:

— Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?

Я отвернулся и, с деланным смущением, возразил:

— Что вы, что вы!

Она подозрительно взглянула на меня.

¹ Никогда (англ.).

— А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Признавайтесь, шалун!

Я глупо захохотал.

— Да почему же вы думаете, что именно я?

— Вы сразу смутились, когда я спросила.

Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умоляющие знаки.

Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуговицу на жилете:

— Ах, оставьте.

— Ну конечно же вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!

Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззастенчиво ответил:

— Стоит ли об этом говорить!

Она схватила меня за руку.

— Значит, вы?

Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился и хрипло воскликнул:

— Это не он!

Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.

— Так, значит, это вы?

Лицо моего приятеля сделалось ареной борьбы самых разнообразных страстей: от низких до красивых и возвышенных.

Возвышенные страсти победили.

— Нет, не я, — сказал он, отступая.

— Больше никто не мог мне прислать. Если не вы — значит, он. Зачем вы тратите такую уйму денег?

Я поболтал рукой и застенчиво сказал:

— Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги, деньги... Что такое, в сущности, деньги? Они хороши постольку, поскольку на них можно купить цветов, окропленных первой чистой слезой холодной росы. Неправда ли, Вася?

— Как вы красиво говорите, — прошептала хозяйка, смотря на меня затуманенными глазами. — Этих цветов я никогда не забуду. Спасибо, спасибо вам!

— Пустяки! — сказал я. — Вы прелестнее всяких цветов.

— Мерси. Все-таки рублей двадцать заплатили?

— Шестнадцать, — сказал я наобум.

Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов, донесся тихий стон:

— Восемнадцать с полтиной!

— Что? — обернулась к нему хозяйка.

— Он просит разрешения закурить, — сказал я. — Кури, Вася, Лидия Платоновна переносит дым.

Мысли хозяйки все время обращались к букету.

— Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот букет? Но он молчал.

— Мальчишка, очевидно, дрессированный, — одобчительно сказал я.

— Мальчишка! Но он старик!

— Неужели? Лицо у него было такое моложавое.

— Он весь в морщинах!

— Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненормальное положение приказчиков, десятичасовой труд... Об этом еще писали. Впрочем, сегодняшний заработок поправит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он ударит меня, но он сурово сказал:

— Едем! Нам пора.

При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и прошептала:

— Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Merci за букет. Приезжайте одни.

Мимозов это слышал.

III

Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил задумчивым тоном:

— А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят радостным благовестом и румяные детские личики резвятся около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе дорога летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое ласково греет травку и птичек... Или первый поцелуй теплых губок любимой женщины...

Падая с пролетки и уже лежа на мостовой, я успел ему крикнуть:

— Да здравствует тайна!

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР

I

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского про-

спекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто... Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои 25 лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами оболыщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

— Мужчина!.. Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик — очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право, а?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городского, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а, наоборот — он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

— Мужчина, поедem в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право, а?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и, с видом шутника, ба-ловня дам, спрашивал:

— А может, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот и, схватившись за бока, хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

— О-о-ой, чудак! Уморил!.. Ну, и скажет же...

В общем, ей не так было смешно, как она прикидывалась: может быть, прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной с водкой, что, — принимая во внимание сырую погоду, — было бы совсем не плохо.

II

Сегодня прохожие были какие-то угрюмые, необщительные: несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение угоститься совместно ветчиной и водкой — послали ее "ко всем чертям", а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развес-ти в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно... Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые слова, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время ей навстречу шли два человека. Один приостановил другого, указал на девицу и шепнул:

— Давай, Вика, ее пригласим!

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед.

— Знаешь, Петерс, она, кажется, очаровательна.

Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

— Сударыня! — сказал Петерс. — Приношу вам от имени себя и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытные. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, но скромно и интеллигентно!

Девица захохотала, взявшись за бока.

— Ой, уморили! Да и комики же вы!..

Господин, по имени Петерс, всплеснул руками.

— Это очаровательно! Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

— Настоящая воспитанность именно и заключается в благородной простоте и безыскусственности. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам одно нескромное предложение...

— Что такое? — спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

— Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

— Мы даем вам слово, — заявил Петерс, — что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и вскричать: "ой, уморили!", но руки ее опустились, и она, молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

— Что вам нужно?

— Ради Бога, — суетливо воскликнул Вика, — не подумайте, что мы бы хотели употребить во зло ваше доверие, но... скажите: не согласились ли бы вы отужинать с нами, конечно, где-нибудь — в приличном месте?

— Ну, да, да, конечно, поужинаю, — согласилась повеселевшая девица.

— О, мы вам так благодарны!..

Петерс нагнулся и, взяв за грубевшую большую руку девицы, тихо прикоснулся к ней губами.

— Эй, мотор! — крикнул куда-то в темноту Вика.

Девушка, сбита с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но, вместо этого, к ним, пытаясь, приблизился автомобиль. Вика открыл дверь, бережно взял девушку под руку и посадил ее на мягкую пружинную подушку.

— Матушки ж вы мои, — подумала пораженная, потрясенная девушка. — Что же это такое?

Ей пришло в голову, что самое лучшее — в благодарность за автомобиль — обнять Вика за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым ее знакомым это доставляло удовольствие... Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

— А ведь мы еще не знакомы! Моя фамилия Гусев, Виктор Петрович, инженер, а это мой приятель — Петерс, Эдуард Павлович — писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девушка помолчала.

— Меня зовут Катериной. Катя.

— О, помилуйте! — ахнул Петерс. — Разве мы осмелимся называть вас так фамильярно... Екатерина... как по отчеству?..

— Степановна!

— Мерси. Вика... Куда же мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в "Москву" — неудобно?

— Да, — сказал Вика. — Туда с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее — к Контану!

— Прекрасно! Вы, Екатерина Степановна, не беспокойтесь: это ресторан очень приличный и туда смело можно повести порядочную даму.

Девушка внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве...

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль:

— Ее серьезно приняли за даму из общества!

III

У Контана заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья шляпы были при ярком свете электричества убийственны, но друзья, не замечая этого, разоблачили девушку и, усадив, сказали:

— Позвольте вам предложить закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров, фуагра... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы пьете вино?

— Пью, — тихо сказала девушка, упорно смотря в цветочки на обоях.

— Прекрасно! Петерс, ты распорядись!..

Весь стол был уставлен закусками. Девушке налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную прозрачную водку. Девушке, вместо шампанского, хотелось водки, но она ни за что не сказала бы этого, предпочитая молча прихлебывать шампанское. Заедала ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ярко выделялся протертый рукав кофточки и грудь, покрытая белым пухом от боа. Поэтом девушка искусственно-равнодушно сказала:

— А за мной один полковник ухаживает... Влюблен — невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

— Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

— Никак. Они живут в Пскове.

— Вы, вероятно, — сказал участливо Петерс, — приехали в Петербург развлечься? Я думаю, молодой, неопытной девушке в этом столичном омуте — страшно.

— Да, мужчины такие нахалы, — сказала девушка и скромно положила ногу на ногу.

— Мы вам сочувствуем, — тихо сказал Вика, взял руку девушки и деликатно поцеловал ее.

— Послушай, — пожал плечами Петерс, — может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты целуешь ей руку, а она стесняется сказать это... Ведь мы же обещали вести себя прилично.

Девушка густо покраснела и усмехнулась:

— Ничего, что ж... Пусть. Когда я жила у папаши, у меня все всегда целовали руки.

— Да, конечно, — серьезно кивнул головой Петерс.

— В интеллигентных светских домах это принято.

— Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки!

— Вы какая-то скучная, — участливо сказал Вика.
— Вероятно, у вас мало развлечений? Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой. Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселее выезжать в театры и концерты...

Девушка с непонятным беспокойством в глазах встала и заявила:

— Мне пора. Спасибо за компанию.

— Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле!

— Ой, нет, нет, спасибо... Ради Бога, не надо, я сама... Ой, нет, нет — не надо.

IV

Когда девушка вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на ковер...

...Девушка шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:

— Мм... мамочка! Идем со мной.

Девушка злобно обернулась.

— Ты, брат, разбирай к кому пристаешь! нельзя порядочной даме по улице пройти... Сволочь паршивая!!

ДРУЖБА

Посвящается Марусе Р.

Уезжая, Кошкин сказал жене:

— Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет, вместо меня, мой друг Бултырин. Он, правда, недалеко и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтобы тебе не было страшно.

— Да мне и так не будет страшно, — возразила жена.

— Ну, все-таки! Мужчина в доме.

А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал:

— Друг Бултырин! Оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, кото-

рые, как только отвернешься, сейчас же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут напештывать ей разные идиотские слова.

— Кошкин! — сказал сурово, с непреклонным видом, Бултырин. — Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо: жена моя таки удрала с каким-то презренным молокососом! Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не поддамся.

Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча многообещающе пожал руку Кошкина. Кошкин уехал.

Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикалывала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:

— О чем вы шептались с Жоржем?

— Так, вообще. Он поручил мне быть все время около вас.

— Зачем? — удивилась Мурочка.

Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:

— Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?

— Послушайте! — вспыхнула Мурочка. — Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна.

— Да! — подумал Бултырин. — Хитра ты больно... Меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас.

А вслух сказал:

— Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет.

Этим словами он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но Мурочка надулась и на извозчика села злая, молчаливая.

Бултырин был совершеннейший медведь: в экипаж вскочил первый, занявши три четверти места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с нею раскланявшись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком.

Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой.

Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки сак, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухватившись за руку:

— Ну, идем, что ли!
— Пойдите... куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто же хватает за кисть руки?!

— А как надо?
— Возьмите вот так... под руку... И, пожалуйста, оставьте свои нелепые выходки. А то я сейчас же уйду от вас.

Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал:

— Врешь! Не сбежишь, подлая. А ругаться ты можешь, сколько тебе угодно.

Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах.

Хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.

— Посмотри-ка теперь! — сурово усмехнулся он про себя.

Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом, огорченная, сказала:

— Не понимаю! Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда ни сюда.

— Разве теперь мастера пошли? Жулики! — отвечал Бултырин. — Им бы только деньги брать. Возьмут, да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут! Ей-Богу!

В антракте Бултырину захотелось покурить.

— Оставить ее тут рискованно, — размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову. — В курилку за собой тащить неудобно... Хорошо бы запретить ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу... Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею! Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтоб никто не видел?

Он встал.

— Пойдем!

— Куда? Я здесь посижу.

— Нельзя, нельзя! Надо идти.

— Да отстаньте вы от меня! Идите себе, куда хотите.

— Нет-с, я без вас не пойду...

— Пойдете! — злорадно сказала Мурочка. — Вот возьму и не сдвинусь с места!

Бултырин задумался.

— Сдвинитесь! А то скандал сделаю! Думаете, не сделаю? Ей-Богу! Возьму, да закричу, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман

полезли, или скажу, что вы моя беглая жена! Ага! Пока разберут, — вы скандалу не оберетесь.

Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.

— Какой же вы... негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте!

— Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь... — подумал торжествующий Бултырин. — Я ведь знаю, как обращаться с женщинами.

Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним приближался молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке.

— А! Марья Констант...

— Виноват, молодой человек! — заслонил Мурочку Бултырин. — Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме. Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе...

— Слушайте! Вы с ума сошли?!

— Проходи, проходи! Много вас тут... Смотрите на него, лыка не вяжет.

— Прежде всего — вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной...

Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала:

— Ради Бога! До завтра... Заезжайте к мужу. Он объяснит; не подымайте сейчас истории.

Лицо Мурочки было красно и на глазах блеснули слезы. Пораженный молодой человек, пожав плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку, взяла Бултырина под руку и ласково сказала:

— Проводите меня до уборной.

— Зачем?

— Какое тебе дело, подлец, — глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка. — С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду... Толстое животное!

— Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдем в уборную... Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с! В уборную я вас одну не пущу.

— Вы форменный идиот, — простонала тихонько Мурочка, — ведь уборная женская!

— Да... там, может, другой ход есть...

— Да сак-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретин?!

Книга вторая ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

*Светлому моему другу —
Софье. Наумовне*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий раз, когда я просыпаюсь ясным солнечным утром — на стене и на потолке над моей кроватью весело дремлют желтые солнечные зайчики. Я долго, не отводя глаз, гляжу на них и чувствую широкую беспричинную радость, а мысль в это время работает и создает веселые замысловатые образы... Но иногда ветер хлопнет оконной рамой, зайчики тревожно и пугливо перепрыгнут на другое место, а я благодарно улыбнусь им и сейчас же весело спешу к письменному столу.

Так и написались "зайчики на стене".

Когда я выпустил свою предпоследнюю книгу, кое-кто задал мне вопрос:

— Не слишком ли много я пишу? Не много ли это — в один год три книги?

Я тогда промолчал, потому что знаю хороший тон, потому что знаю — не принято автору вступать в полемику со строгими угрюмыми критиками.

Теперь же, возражая критикам в настоящем предисловии, я не рискую заслужить упрек в бестактности, потому что начинаю *первый*...

И вот мои возражения:

Если все мои книги и выпущены в текущем году, то писались они в течение трех лет.

А сроку их выхода я не придавал никакого значения.... Дело не в этом. Хорошие это книги — их прочтут; плохие — бросят.

Упрек в многописании — если в него вдуматься — упрек, не имеющий под собой никакой солидной почвы. И вот почему: я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне часто о ч е н ь весело. Значит, я часто и пишу.

Канарейка веселится и поет еще чаще, но никому не придет в голову заткнуть ей глотку; наоборот, всякий,

— Удерет она без сака или нет? — подумал Бултырин. — Пожалуй, не удерет. Ну, идите! Я все равно у дверей сторожить буду.

Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултырина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с горничной.

— Едем домой! — решительно сказала Мурочка.

— Ага! Не выгорело с любовником, — злорадно усмехнулся про себя Бултырин. — Пожалуй, едем!

Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз, на красивую Мурочку, — сел с нею на извозчика.

— Жаль, что пьесы не досмотрели, — любезно обратился он к ней, когда они поехали, — забавная, кажется, пьеска...

Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала:

— Подлец, подлец! Дурак проклятый! Тупица!

— Чего вы ругаетесь? — удивился Бултырин.

— Вот же тебе, кретин: когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впусшу любовника... ха-ха-ха!

— Нет, вы этого не сделаете, — хладнокровно сказал Бултырин.

— Почему это, позвольте спросить?

— А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить...

— Вы с ума сошли! Вы так глупы, что даже не понимаете шуток!

— Ладно, ладно. Так и сделаю. А что?! Проговорились, да теперь на попятный? Ей-Богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово Жоржу?!

— Посмейте! Я позову дворников, они вас в участок отправят.

— А я скандал сделаю! Скажу, что я ваш любовник и вы меня приревновали к вашей горничной.

— Подлец!

— Пусть.

Свеча догорала, слабо освещая спальню... На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрытая простыней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала, и глаза ее были красны.

В углу, в мягком большом кресле сидел полусонный Бултырин и, грызя машинально вынутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую.

кто слушает ее пение, не упустит случая похлопать ее поощрительно по плечу и сказать ласково:

— Молодец, птичка божья. Старайся!

Прямая противоположность канарейке — дверные петли, которые, наоборот, поют очень скупое и редко; но даже и эта умеренность не спасает их от нареканий. Самые музыкальные натуры морщатся, хмурятся и ворчат:

— Неужели никакой черт не догадается их смазать, что ли, чтобы они не скрипели?!

Вот пример, который, по моему мнению, доказывает ясно и просто всю неосновательность упреков в многописании...

Все дело, таким образом, сводится только к чутью и искренности критического определения: кто автор? Веселая ли певчая птица или — дверь, пение которой вызывает неутолимое желание заткнуть ей глотку.

Аркадий Аверченко

ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кричавших и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громохание и рокот до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А материал стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя, — говорил отец. — Ты ничего не понимаешь...

— Конечно, — горько усмехаясь, возражала мать. — Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — деликатно возражал отец. — Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к парходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скушающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька, — сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь

кошка передупила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топание многочисленных ног, крики и кряхтение. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите, — дрожа от нетерпения, говорил он. — Сейчас поставим его.

Когда "его" поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, "он" оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим. — Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха! — торжествующе захохотал отец. — А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь этот мрамор, красное дерево и все — стоит по случаю

всего двадцать пять рублей! Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет! — сказал отец. — Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружил с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать на педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала.

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтение... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехгольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа, — весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли, — подхватил отец, — прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

Сотпа весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоять такая лампа?

— Семь тысяч, — сказал я, обойдя вокруг лампы.

— По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начал, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы, — счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часыгодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату "Проклятой комнатой".

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные

стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржанием.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашенных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

ГОРОВОЙ САПОВ

Ялтинский городской Сапов получил от начальства почетное, полное доверия к уму и такту Сапова поручение: обойти свой участок и проверить всех евреев — занимается ли каждый еврей тем ремеслом, которое им самим указано и которое давало такому еврею драгоценное, крупное право жить среди чудесной ялтинской природы...

Проверять хитрых семитов Сапову было приказано таким образом: пусть каждый семит сделает тут же, при Сапове, на его глазах, какую-либо вещь по своей ремесленной специальности и тем докажет, что бдительное начальство не введено им в заблуждение и недостойный обман.

— Ты только держи ухо востро, — предупредил Сапова околоточный. — А то — так тебя вокруг пальца и обкрутят!

— Жиды-то? Меня-то? Да Господи ж.

И пошел Сапов.

— Здравствуйте! — сказал Сапов, входя к молодому Абраму Голдину. — Ты это самое, как говорится: ремесло свое... Сполняешь?

— А почему мне его не исполнять? — удивился Абрам Голдин. — Немножко кушаю себе хлеб с маслом. Знаете

— фотография, конечно, такое дело: если его исполнять, то и можно кушать хлеб с маслом. Хе-хе! На здоровьишко...

— Та-ак, — нерешительно сказал Сапов, переминаясь с ноги на ногу. — А ты вот что, брат... Ты докажи! Проверка вам от начальства вышла...

— Сделайте такое одолжение, — засуетился Абрам Голдин, — мы сейчас из вас сделаем такую фотографию, что вы сами в себя влюбите! Попрошу вас сесть... Вот так. Голову чуть-чуть набок, глаза сделайте, прошу, немножко интеллигентнее... рот можно закрыть! Закройте рот! Не делайте так, будто у вас зубы болят. Нос, если вам безразлично, можно пока рукой не трогать. Потом, когда я кончу, можно его трогать, а пока держите руки на грудях. Попрошу теперь не шевелиться: теперь у вас за-ме-ча-тель-но культурный вид! Снимаю!! Готово. Спасибо! Теперь можете делать со своим носом, что вам угодно.

Сапов встал, с наслаждением расправил могучие члены и с интересом потянулся к аппарату.

— А ну — вынимай!

— Что... вынимать?..

— Что там у тебя вышло? Покажь!..

— Видите ли... Сейчас же нельзя! Сейчас еще ничего нет. Мне еще нужно пойти в темную комнату проявить негатив.

Сапов погрозил Голдину пальцем и усмехнулся.

— Хе-хе! стара штука! Нет, брат, ты мне покажи сейчас... А этак всякий может.

— Что это вы говорите?! — встревоженно закричал фотограф. — Как же я вам покажу, когда оно не проявлено! Нужно в темную комнату, которая с красным светом, нужно...

— Да, да... — кивал головой Сапов, иронически поглядывая на Голдина. — Красный свет, конечно... темная комната... Ну до чего же вы хитрые, жидова! Учитесь вы этому где, что ли... Или так, — сами по себе? Дай мне, говорит, темную комнату... Ха-ха! Не-ет... Вынимай сейчас!

— Ну, я выну — так пластинка будет совершенно белая!.. И она сейчас же на свету пропадет!..

Сапов пришел в восторг.

— И откуда у вас что берется?! И чтой-то за ловкий народ! Темная, говорит, комната... Да-а. Ха-ха! Мало, чего ты там сделаешь, в этой комнате... Знаем-с. Вынимай!

— Хорошо, — вздохнул Голдин и вынул из аппарата белую пластинку. — Смотрите! Вот она.

Сапогов взял пластинку, посмотрел на нее — и в его груди зажглась страшная, тяжелая, горькая обида.

— Та-ак... Это, значит, я такой и есть? Хороший ты фотограф. Понимаем-с!

— Что вы понимаете?! — испугался Голдин.

Городовой сумрачно посмотрел на Голдина...

— А то. Лукавый ты есть человек. Завтра на выезд получишь. В 24 часа.

Сапогов стоял в литографской мастерской Давида Шепшелевича, и глаза его подозрительно бегали по странным доскам и камням, в беспорядке наваленным во всех углах.

— Бонжур, — вежливо поздоровался Шепшелевич. — Как ваше здоровье?

— Да так. Ты ремесленник будешь? А какой ты ремесленник?

— Литографический. Ярлыки разные делаю, приглашительные билеты... Визитные карточки делаю.

— Вот ты мне это самое и покажи! — сказал, подмигивая, Сапогов.

— Сколько угодно! Мы сейчас, ваше благородие, вашу карточку тиснем. Как ваше уважаемое имя? Сапогов? Павел Максимович? Одна минутка! Мы прямо на камне и напишем!

— Ты куда? — забеспокоился Сапогов. — Ты при мне, брат, пиши!

— Да при вас же! Вот на этом камне!

Он наклонился над камнем, а Сапогов смотрел через его плечо.

— Ты чего же пишешь? Разве так?

— Это ничего, — сказал Шепшелевич. — Я на камне пишу сзади наперед, а на карточке оттиск выйдет правильный.

Сапогов засопел и опустил руку на плечо литографа.

— Нет, так не надо. Я не хочу. Ты, брат, без жульничества. Пиши по-русски!

— Так оно и есть по-русски! Только это ж нужно, чтобы задом наперед.

Сапогов расхохотался.

— Нужно, да? Нет, брат, не нужно. Пиши правильно! Слева направо!

— Господи! Что вы такое говорите! Да тогда обратный оттиск не получится!

— Пиши, как надо! — сурово сказал Сапогов. — Нечего дурака валять.

Литограф пожал плечами и наклонился над камнем.

Через десять минут Сапогов сосредоточенно вертел в руках визитную карточку и, нахмутив брови, читал:

— Вогопас Чивомискам Левап.

На сердце у него было тяжело...

— Так... Это я и есть такой? Вогопас Чивомискам Левап. Понимаем-с. Насмешки строить над начальством — на это вы горазды! Понимаем-с!! Хороший ремесленник! Отметим-с! Завтра в 24.

Когда он уходил, его добродушное лицо осунулось.

Горечь незаслуженной обиды запечатлелась на нем.

— Вогопас, — думал, тяжело вздыхая, городской, — Чивомискам!

Старый Лейба Буцкус, сидя в уголку сквера, зарабатывал себе средства к жизни тем, что эксплуатировал удивительное изобретение, вызывавшее восторг всех окрестных мальчишек... Это был диковинный аппарат с двумя отверстиями, в одно из которых бросалась монета в пять копеек, а из другого выпадал кусок шоколада в пестрой обертке. Многие мальчишки знали, что такой же шоколад можно было купить в любой лавчонке без всякого аппарата, но аппарат именно и привлекал их пытливые молодые умы...

Сапогов подошел к старому Лейбе и лаконически спросил:

— Эй, ты! Ремесленник... Ты чего делаешь?

Старик поднял на городского красные глаза и хладнокровно отвечал:

— Шоколад делаю.

— Как же ты его так делаешь? — недоверчиво покопился Сапогов на странный аппарат.

— Что значит — как? Да так. Сюда пятак бросить, а отсюда шоколад вылезет.

— Да ты врешь, — сказал Сапогов. — Не может этого быть!

— Почему не может? Может. Сейчас вы увидите.

Старик достал из кармана пятак и опустил в отверстие. Когда из другого отверстия выскочил кусок шоколада, Сапогов перегнулся от смеха и, восхищенный, воскликнул:

— Да как же это? Ах ты, Го-осподи. Ай да старикан! Как же это оно так случается?

Его изумленный взор был прикован к аппарату.

— Машина, — пожал плечами апатичный старик, — Разве вы не видите?

— Машина-то — машина, — возразил Сапогов. — Да как оно так выходит? Ведь пятак-то медный, твердый, а шоколад сладкий, мягкий... как же оно так из твердого пятака может такая скусная вещь выйти?

Старик внимательно посмотрел своими красными глазами на Сапогова и медленно опустил веки.

— Электричество и кислота. Кислота размягчает, электричество перерабатывает, а пружина выбрасывает.

— Ну-ну, — покрутил головой Сапогов. — Выдумают же люди. Ты работай, старик. Это здорово.

— Да я и работаю! — сказал старик.

— И работай. Это, братец, штука! Не всякому дано. Прощайте!

И то, что сделал немедленно после этого слова Сапогов, могло быть объяснено только изумлением его и преклонением перед тайнами природы и глубиной человеческой мысли: он дружеским жестом протянул старому шоколадному фабриканту руку.

На другой день Шепшелевич и Голдин со своими домочадцами уезжали на первом отходящем из Ялты пароходе.

Сапогов по обязанностям службы пришел проводить их.

— Я на вас сердца не имею, — добродушно кивая им головой, сказал он. — Есть жид правильный, который без обману, и есть другой сорт — жульнический. Ежели ты, действительно, работаешь: шоколадом или чем там — я тебя не трону! Нет. Но ежели — Вогопас Чивомискам Левап — это зачем же?

ГРАФ КАЛИОСТРО

I

У кого из нас не сжималось сердце и не хмурились страдальчески брови при чтении в газетах краткого, но выразительного сообщения:

— "Дикая расправа. Вчера обыватель города Мымры избил палкой газетного корреспондента".

Кто из нас не качал печально головой и не говорил со стоном отчаяния:

— Какая темнота! Боже, какая косность!

И рисовался нам облик затравленного, замученного носителя и проводника света и культуры, откуда-то глядели страдающие недоуменные глаза газетного корреспондента с застывшим в них вопросом:

— За что?

— За что? Теперь я знаю, за что.

С самых ранних лет меня до глубины души волновала и возмущала человеческая несправедливость. И до глубокой старости я буду негодовать на человеческую одностронность и близорукость в тонких деликатных вопросах.

Таким тонким деликатным вопросом я считаю многовековую исконную вражду между провинциальным журналистом и провинциальным обывателем, и меня всегда удивляло, что никто до сих пор не мог разобраться как следует в вышеупомянутом деликатном вопросе.

Все, как будто сговорившись, согласным хором восклицали по прочтении телеграммы об избиении обывателем провинциального журналиста:

— Какая ужасающая тьма! Что за дикари!

И, конечно, всю вину обрушивали на обывателя.

Вероятно, многим известно, что у обывателя часто бывает совершенно противоположное отношение к провинциальному журналисту. Обыватель патриотичен, он гордится своим городом, своей газетой, своим журналистом, и нередко с его уст срываются такие одобрительные слова:

— Читали вы сегодня в "Мымринском Курьере" статью графа Калиостро (провинциальные журналисты избирают себе самые звучные, красивые псевдонимы)? Читали? Ах, шельма! Ах, собака! Попадись такому на язык... Как это он ловко отбрил сегодня помощника заведующего городскими скотобойнями... А вчера — тоже: "известно ли", говорит, "кому это надлежит ведать, что ямы, выкопанные для посадки деревьев, залило водой и затянуло грязью?" Очевидно, говорит, "городские деньги идут не на благоустройство города, а для наполнения ям зловонной водой?" Так и колет! Так и брызжет ядом! И откуда что берется?!

Обыватель гордится своим фельетонистом, восхищается им.

Когда граф Калиостро, с гордым, независимым видом, шагает по городскому саду, обыватели почтительно уступают ему, как существу высшему, дорогу, а сзади слышится тихий заглушенный шепот:

— Смотрите, смотрите!.. Это граф Калиостро! Который вчера порядки в городской библиотеке похваливал.

— Ах, какой интересный!

И шагает, шагает граф Калиостро, с загадочной улыбкой на лице, таинственный в своем могуществе, до краев наполненный неограниченными возможностями прохватить, разнести и продернуть всех, кто является врагом культуры и обществу.

Ни у кого тогда ни на минуту не появляется мысль поколотить графа Калиостро или причинить ему какую-либо другую неприятность — он, как коронованная особа среди своих почтительных подданных, в полной безопасности...

И долго работает он так, окруженный всеобщим уважением и тихим удивлением, бичуя пороки и неправду. И кажется, что Россия благоденствует под мирным тактичным управлением знатных титулованных иностранцев: в городе Мымрах борется с городскими скотобойнями граф Калиостро, в Звенигороде бичует думские порядки суровый непреклонный князь Серебряный, а Елабугу защищает от натиска тьмы и спячки Железная Маска или какой-нибудь Марк Аврелий, или граф Монте-Кристо...

Так борется и работает эта титулованная нация.

И вдруг — среди безоблачного неба появляется странное, неожиданное, страшное сообщение:

— "Мымры. Обыватель Коренастов поколотил палкой журналиста Балкашкина, пишущего под псевдонимом — граф Калиостро".

Это является каким-то зловещим сигналом.

Подданные восстают на своих королей, и звенигородский обыватель начинает очертя голову колотить своего князя Серебряного, в чем от него не отстают елабужец, неожиданно набрасывающийся без всякого милосердия на Железную Маску, Марка Аврелия или даже на самого сурового, загадочного Монте-Кристо.

И рисуется перед глазами облик свергнутого с пьедестала, затравленного поборника светлых идеалов и носителя культуры, и откуда-то издали звучит страдальческий недоуменный вопрос Марка Аврелия:

— За что?

Пожалуй, ответить на этот вопрос будет не так трудно.

II

Разворачивая местную газету, обыватель Коренастов всегда полон истерического любопытства: что-то сегодня она принесет ему интересного?

Просмотрев одним глазом телеграммы, набрасывается на фельетон и с замирающим сердцем читает:

"В страшное время мы живем!

В человеке гложет все хорошее, светлое.

Мы возвращаемся к первобытным временам:

— Зверства и жестокости!

Вчера мы были свидетелями следующего факта: измученная лошадь тащила под гору тяжелый воз, а ломовик осыпал ее ударами, кричал, ругался и всячески оскорблял беззащитное животное, не могущее ответить ему теми же словами.

Что же делает наше общество покровительства животных?

Оно спит?

— Покойной ночи, господа!

Если вам нужны подушки — не возьмете ли вы их у гласных нашей городской думы?

Ха-ха!

Да...

Глубокую истину высказал великий Островский:

— "Жестокое, сударь, у нас нравы".

Фельетон производит на Коренастова ошеломляющее впечатление.

— Ловко, шельма! Как это он здорово вернул Островского.

Бедный Коренастов не знает, что ни одно произведение графа Калиостро не обходится без трех цитат:

1) Жестокое, сударь, у нас нравы.

2) Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба.

3) Поживем — увидим.

Первая принадлежит Островскому, вторая — Гуцкову, а третья — неизвестно кому. Вероятно, Марку Аврелию или Железной Маске...

Коренастов доволен, Коренастов кивает головой и переходит к хронике.

Хроника такая:

— "Вчера закончено рытье ям для посадки деревьев на Павловской улице. Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

...Вырыта заступом яма глубокая"...

— В последние дни наступили неожиданные холода с ветром и дождями. "Холодно, холодно, холодно", — как говорили три сестры в пьесе Чехова того же названия".

Нравится Коренастову и хроника. Написана она бойко, живо, с цитатами и ссылками на популярных авторов. Видно, что писал интеллигентный человек.

Прочитывает Коренастов и театральную рецензию.

— "Шедшая вчера пьеса популярного сатирика Гоголя "Ревизор" была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. Петров провел свою роль с огоньком. Побольше бы таких хороших пьес! Публики было немного. Скоро антреприза заканчивает сезон и уезжает. "Негр сделал свое дело, негр может уходить"...

Коренастов в восхищении.

III

На другое утро Коренастов снова разворачивает газету. Читает фельетон:

— "Городская дума до сих пор ничего не сделала с приказчиным отдыхом.

Почему?

Она спит? Не нужна ли ей подушка? Пусть она возьмет ее в обществе покровительства животных!

А приказчики пока что — работают, как лошади...

Да... Жестокие, сударь, у нас нравы!

Мы не будем удивлены, если этот вопрос пролежит под сукном еще десять лет.

— Всякое бывало! — как говорил мудрец Бен-Акиба в "Уриель-Акосте" популярного Гуцкова.

Поживем — увидим".

Коренастов молчит. Не выводит его из молчания и задумчивости даже хроника:

— "Вчера закрылись за прекращением эпидемии холерные бараки". "Негр сделал свое дело, негр может уходить".

Безмолвно прочитывает Коренастов театральную рецензию:

— "Шедшая вчера пьеса популярного автора Шекспира "Гамлет" была разыграна очень недурно, с ансамб-

лем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. С большим огоньком провел свою роль тени отца Гамлета Петров. Почаще бы ставить такие чудные пьесы! Публики было мало. "Мало слов, а горя реченька", — как говорил популярный певец гражданской скорби Н. А. Некрасов".

Молчит Коренастов.

IV

Снова и снова разворачивает по утрам Коренастов "Мымринский Курьер". Снова и снова читает он графа Калиостро. И снова бичует неугомонный граф лавочников, которые нагружают мальчишек тяжелыми кулями.

Снова подкрепляет он это обвинение цитатой:

— Жестокие, сударь, у нас нравы. Впрочем, поживем — увидим.

Хроника по-прежнему пишется бойко, интеллигентно:

"Вчера отбыл с курьерским поездом в Москву податной инспектор Косолапов". "В Москву, в Москву", — как говорили три сестры Чехова в пьесе того же названия.

И снова, как и прежде, несчастная Макбетова не может удовлетворить капризного графа Калиостро, хотя она и пытается играть Лизу в напумевшей в свое время пьесе драматурга Грибоедова, так трагически, безвременно погибшего под ножами убийц (жестокие, сударь, и т. д.).

Коренастов дочитывает газету, и брови его сжаты, и на лице написана мрачная решимость, страдание и боль, а плечи нервно подергиваются.

Молча встает он, приглаживает волосы и, глядя куда-то в угол, сдержанно говорит жене:

— Жена! Дай мне скюртук. Вернусь через час.

Отыскивает палку, шляпу и уходит.

Через час возвращается, ставит палку в угол и, не промолвив ни слова, ложится в постель.

Спит тревожно.

А на другой день, как удар грома, появляется в газете неожиданное бессмысленное, дикое сообщение:

— "Обыватель Коренастов избил палкой нашего сотрудника графа Калиостро (А. М. Балкашкина). Жестокие, сударь ты мой, у нас нравы!"

И поднимается сразу целый лес всплескивающих рук:

— Боже! Где мы живем? Среди дикарей? Какая косность... какое мракобесие...

До глубокой старости буду я негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких, деликатных вопросах.

ЯД

(Ирина Сергеевна Рязанцева)

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

"Милые руки, — с умилением подумал я. — Милые, дорогие мне глаза!"

И неожиданно я сказал вслух:

— Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.

— Наконец-то! — сказала она, слабо смеясь. — Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

— Молчи! — сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

— Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова "Хризантемы", которая — помнишь? — тоже так, со слабо сорвавшимся криком "наконец-то" бросается в объятия помещика Лазертова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презиравая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

— Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

— Видишь ли, — сконфуженно объяснила она, — ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

— Как... должен? — изумился я. — Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

— Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея — узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

— Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того — хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом "вдохновительница"? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: "Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его".

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу "Без просвета", где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: "Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высо-

кое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей”.

— Странно, — сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова “Туманные дали”, изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы “Лучше поздно, чем никогда”... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изысканным движением (зеркало-то — ха-ха! — висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

— Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... — Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: — Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

— Замолчи! — нервно говорил я. — Кашалотов, “Погребенные заживо”, второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов — Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

— Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, — сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

— Не светлую, — хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, — а “лучезарную”. Неужели ты забыла четвертый акт “Птиц небесных”, седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

* * *

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

— Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

— Слушай! — сказал я, укоризненно глядя на нее. — Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово — всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

— А кто же его говорит? — испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

— Это слово говорит графиня Добровольская (“Гнилой век”, пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: “Уходишь?” Вот кто это говорит!

— Неужели? — прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

— Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене, — пойми ты это, — такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

— Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: "Ты опять вернулся", — пропустил я мимо ушей.

* * *

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: "Володька пришел!" — выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пре-большой нос и подмигнув сказала: "Молчи, старый, толстый дурачок!"

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: "О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!"

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она "Воробушек".

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

— Здравствуй, старый, толстый дурачок!

Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

* * *

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво

прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

— Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете — не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

— Ирина, — шептал я, — настоящая Ирина.

* * *

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ

I

Я приближался к городу Калиткину — цели моего путешествия. И по мере моего приближения — я начинал интересоваться им, городом Калиткиным.

За шесть станций до Калиткина я спросил одного из соседей по вагону:

— Вы знаете город Калиткин? Что в нем находится замечательного? Есть ли там какие-либо памятники, музеи, красивые виды?

— Доподлинно вам не могу сказать, — поразмыслив немного, отвечал сосед. — Кажется, что там нет ни музеев, ни памятников. Знаю только одно, — что там живет знаменитый гражданин.

— Какой гражданин?

— Доподлинно вам не могу сказать. Ни имени его не упомянул, ни причины его известности... Знаю только, что очень знаменитый.

За три станции до Калиткина я, заинтересованный, обратился к другому соседу:

— Вы не знаете, что это за знаменитый гражданин, живущий в Калиткине?

— Знаю. Феоктист Иваныч Барабанов.

— Да?! А чем же он, извините меня за беспокойство, знаменит?

— Точно не могу вам сказать. Знаю только, что он, Барабанов, человек чрезвычайно знаменитый. Даже за пределами Калиткина!

За одну станцию до Калиткина я пристал с расспросами к третьему пассажиру.

— Кто такой Барабанов?

— Феоктист Иваныч? Он же спас Россию.

— Неслыханно! Как же это он сделал?!

— Доподлинно я этого не знаю. Известно только, что...

Поезд споткнулся и остановился. Это был город Калиткин — местопребывание загадочного знаменитого гражданина Барабанова, спасшего Россию.

Я выскочил из вагона, сел на извозчика и поехал в гостиницу, самую лучшую в городе. Она же была и средняя гостиница и самая худшая в городе, потому что была она единственная во всем Калиткине.

Умывшись в номере, я позвал хозяина гостиницы и, полный лихорадочного интереса к знаменитому гражданину, спросил:

— Барабанова знаете?

— Господи!!!

— Он спас Россию?

— А как же!

— Как же он ее спас?

— От немцев — вот как.

— От каких немцев?

— От войны с Германией он ее спас — вот от чего!

— Как же он это сделал?

— Доподлинно не скажу, но что он ее спас — так уж будьте покойны. Уж это верно. Весь город знает об этом.

— Да он чем был в то время, когда спасал Россию? Посланником, что ли?

— Нет, не посланником.

— Министром?! Королем дружественной державы?!!!

— Барабанов? Уездным землемером он был в то время, Барабанов.

— Чудеса! Ступайте.

Хозяин с гордым самодовольным выражением лица вышел из номера, а я, наскоро одевшись и расспросив дорогу в клуб, последовал за ним.

В клубе мне необходимо было видеть нескольких лиц, а кроме того, я надеялся выяснить, наконец, полную таинственности и загадок историю землемера Барабанова...

II

Старшина записывал меня в какую-то книгу, а я в это время, горя нетерпением, спросил его:

— Кто Барабанов?

— Он? Спас Россию.

К этому подвигу Барабанова в Калиткине, очевидно, все привыкли и говорили о нем без тени волнения и радости. Старшина сказал эту великую громоподобную фразу таким хладнокровным тоном, каким сообщают:

— А я только что выпил рюмку водки.

Человек быстро со всем свыкается. Я уверен, что современники и знакомые Пушкина говорили о нем призывительно в таком тоне:

— А Саша опять какую-то шутовину написал. Не помню, как она называется... "Борис Годунов", что ли.

Слуга великого Гоголя чистил каждый день сапоги барину безо всякого душевного трепета и даже (о, я хорошо знаю слуг) частенько поплеывал на эту существенную часть туалета творца "Мертвых душ". Ему, бедняге, и в голову не приходило, что его барину, в конце концов, поставят на каждой свободной площади по памятнику.

Я возразил старшине:

— Спас-то он спас. Я уже слышал об этом. Но как?

— Он? Он предотвратил войну между Германией и Россией. А в тот год эта война была бы гибельна для России. Не знаю даже, остались ли бы мы с вами живы.

— Что же он сделал для этого?! — с легкой нервностью в голосе воскликнул я.

— Сделал? Он чего-то, именно, и не сделал. Не сделал чего-то такого, что, — если бы было им сделано — повело бы за собой ужасную войну с Германией... Согласитесь сами, что, в этом случае, — сделал, не сделал — одно и то же!

— Как же вы сами не знаете, что это такое ужасное, чего Барабанов не сделал или что это героическое, что им было проделано?!

Старшина развел руками.

— Да он сам редко об этом рассказывает. А я слышал от других.

— Где Барабанов? — отрывисто спросил я.

— Он сейчас здесь, в клубе. Сидит в читальне. Он теперь почти не выходит оттуда. Читает в газетах политические известия и изучает по каким-то книгам историю народов. О войнах каких-то читает. За-ме-ча-тель-ный человек!!

Я не мог больше выдержать. Я пошел к Барабанову.

III

Передо мной сидел в низеньком кресле немолодой человек в черных очках, с бледным истощенным лицом, и внимательно читал толстую большую книгу.

Я, с весьма понятным чувством волнения и почти-тельности, рассматривал его, этого нового Ивана Сусанина, сидевшего так скромно и незаметно в читальне маленького провинциального клуба, вместо того чтобы греметь в столице, быть осыпанным деньгами, почестями и орденами...

Передо мной сидел человек, спасший Россию — громадную страну, одна губерния которой по площади больше всей Франции и Италии!

Я приблизился к креслу и прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Барабанов?..

— Я Барабанов, — сказал знаменитый землемер, опуская книгу. — Здравствуйте. Что такое?

— Меня интересует один вопрос... — переступив с ноги на ногу, смущенно начал я. — Каким образом вы спасли Россию? Об этом все говорят, трубят весь город, но как это сделано — никто толком не знает.

Барабанов положил книгу на стол и тихо отвечал:

— Да, я спас Россию.

— Это так... поразительно... что я бы хотел... по-подробнее.

— О! это длинная история... В кратких словах она такова: я сделал один шаг, который предотвратил кровопролитную войну между Германией и Россией, — совершенно тогда не подготовленной и потерпевшей бы, наверное, ряд страшных поражений, вплоть до полного падения и разрушения великого государства...

— И вы сделали в предотвращение этого один только шаг?! Какой же это шаг?! Что это за святой, гениальный, прониновенный шаг?

Землемер Барабанов скромно улыбнулся.

— С первого взгляда — шаг этот очень простой: двенадцать лет тому назад, пятого сентября, я не поехал в Петербург, хотя и собирался туда. Не знаю — что меня толкнуло, но я не поехал. Мог бы поехать, даже должен был поехать — но не поехал!

Я оглянулся. Нас окружало до двадцати человек именитых граждан Калиткина, постепенно набравшихся в читальню и слушавших теперь наш разговор с редким вниманием и благоговением.

— Вы не поехали в Петербург!.. — пораженный, воскликнул я. — А что бы было, если бы вы туда поехали?!

— Что? А я вам скажу — что. У меня там живет зять Дудукаев — человек крайне любопытный, горячий и вспыльчивый. Я, признаться, к нему и ехал. Ну-с... А вы знаете, милостивый государь, что как раз в то же время в Петербург приезжал германский кронпринц, с целью нанести нашему Государю визит и ознакомиться с Россией? Знаете ли вы об этом?

Горя нетерпением, я машинально ответил:

— Знаю. Что же дальше?

— Дальше? А дальше было бы вот что... Как я вам уже сказал — зять мой Дудукаев был человек истерически любопытный и грубо, до потери сознания, вспыльчивый. Кроме того, был он близорук. Если бы я в то время приехал в Питер — он обязательно потащил бы меня смотреть кронпринца и, конечно, по своей близорукости, лез бы в самую гущу толпы, поближе к кронпринцу... Конечно, полицейские, видя его странную настойчивость и стремительность, отпихнули бы его, он, не стерпевши, дал бы кому-нибудь в ухо и, конечно, произошла бы грандиознейшая свалка, в самом центре которой оказался бы ничего не подозревавший кронпринц. Вы знаете, господа, что во время драки дерущиеся не разбирают ни сана, ни положения человека и, как всегда бывает в таких случаях, — кронпринцу влетело бы больше всех! Остальное понятно. Возгорелся-бы крупный международный конфликт, а так как в то время русским министром иностранных дел был человек бездарный, бестактный, напыщенный и грубый, — ненавистник немцев, — то дело немедленно получило бы страшный для России оборот. Министр вовлек бы Россию в пагубную для нее войну, и я не знаю...

Барабанов обвел толпу калиткинцев задумчивым взором:

— ...И я не знаю — многие ли среди присутствующих были бы сейчас живыми и здоровыми.

— Да здравствует Барабанов! — крикнула толпа.

IV

Пораженный, не знающий, что подумать, стоял я перед землемером и смотрел ему прямо в глаза:

— И это все сделали вы?!..

— Конечно. Подумайте, если бы я поехал в Петербург...

— Черт возьми! — воскликнул я. — А чем же вы докажете, что все это было бы так, если бы вы приехали? Барабанов прищурился.

— А чем вы докажете, что этого бы не было?

Один из калиткинских дураков подошел к Барабанову и ободряюще похлопал его по плечу.

— Правильно, Барабанов! Под это уж не подкопаешься.

— Да, — сказал кто-то сзади. — Это уж, как по писаному.

Я видел ясно, что Барабанов дурачит меня и всех присутствующих. Но как я мог уличить его во лжи? Ведь он говорил то, что могло бы быть...

Я хотел повернуться и уйти, но неожиданная, прекрасная мысль удержала меня на месте.

— Да.... Пожалуй, вы, действительно, спасли Россию... А скажите: что же удержало вас от поездки в Петербург? Неужели только предчувствие? Или еще что-нибудь было?

Не замечая той страшной западни, которую я ему готовлю, Барабанов простодушно отвечал:

— Отчасти предчувствие, а главным образом, то, что я не получил от матери из Киева ожидаемых денег. Она в то время попала нечаянно под какой-то экипаж, сломала руку и лежала в больнице, почему и не могла выслать денег.

— Стойте! — торжественно закричал я. — Так это, выходит, не вы спасли Россию, а я!!!

— Почему?! — закричали все, придвигаясь ближе.

— Да потому, что я и есть тот самый человек, экипаж которого наехал на вашу матушку.

— Предположим.... Но... При чем же здесь Россия? — презрительно усмехнулся Барабанов.

— При чем?! А при том, что, если бы я не наехал на вашу матушку, она выслала бы вам деньги, а вы бы

потащились в Петербург и устроили бы там мировой скандал. Значит, я и спас Россию — нашу великую, любимую, прекрасную родину!!

— Постойте! — крикнул сзади тот человек, к которому я приехал по делу. — Постойте! Выходит, что и не он даже спас Россию, а я. Я к нему тогда собирался в Киев, но не поехал. А если бы поехал — он, наверное, не раздавил бы матери Барабанова. Не поехал же я потому, что гулял на свадьбе дочери Бумагина.

Бумагин был тут же. Он ударил себя в грудь и сказал:

— Значит, не ты спас Россию, а я. Дочь-то ведь моя!

— Значит, она и спасла ее! — сказал кто-то сзади.

— Нет, жених! Если бы он не женился...

— При чем здесь жених... Тетка его, после смерти...

— Значит, тетка?!

Поднялся страшный крик и спор.

Через полчаса выяснилось, что Россию спасла та русская неграмотная баба, служанка тетки жениха, которая вкатил по ошибке несчастной тетке двойную, смертельную дозу какого-то лекарства.

Тут же решили выделить из среды калиткинцев депутацию — с поручением разыскать эту служанку и принести ей благодарность за спасение России.

Когда ее отыскивали — она оказалась существом исключительной скромности: она даже не знала о совершенном ею подвиге — спасении от гибели великой, прекрасной, дорогой каждому из нас родины!

ГЕРАКЛ

I

На скамейке летнего сада "Тиволи" сидело несколько человек...

Один из них, борец-тяжеловес Костя Махаев, тихо плакал, размазывая красным кулаком по одеревенелому лицу обильные слезы, а остальные, его товарищи, с молчаливым участием смотрели на него и шумно вздыхали.

— За что?.. — говорил Костя, как медведь, качая головой. — Божжже ж мой... Что я ему такого сделал? А?.. "Тезей! Геракл!"...

Подошел член семьи "братья Джакобс — партерные акробаты". Нахмурился.

— Э... Гм... Чего он плачет?

— Обидели его, — сказал Христич, чемпион Сербии и победитель какого-то знаменитого Магомета-Оглы.

— Борьбовый репортер обидел его. Вот кто.

— Выругал, что ли?

— Еще как! — оживился худой, пренесчастного вида борец Муколяйнен. — Покажи ему, Костя.

Костя безнадежно отмахнулся рукой и, опустив голову, принялся рассматривать песок под ногами с таким видом, который ясно показывал, что для Кости никогда уже не наступят светлые дни, что Костя унижен и втоптан в грязь окончательно и что праздные утешения друзей ему не помогут.

— Как же он тебя выругал?

Костя поднял налитые кровью глаза.

— Тезеем назвал. Это он позавчера... А вчера такую штуку преподнес: "сибиряк, говорит, Махаев, — борется, как настоящий Геракл".

— Наплюй, — посоветовал член семейства Джакобс. — Стоит обращать внимание!

— Да... наплюй. У меня мать-старушка в Красноярске. Сестра три класса окончила. Какой я ему Геракл?!

— Геракл... — задумчиво прошептал Муколяйнен, — Тезей — еще так-сяк, а Геракл, действительно.

— Да ты знаешь, что такое Геракл? — спросил осторожный победитель Магомета-Оглы.

— Черт его знает. Спрашиваю у арбитра, а он смеется. Чистое наказание!..

— А ты подойди к репортеру вечером, спроси — за что?

— И спрошу. Сегодня еще подожду, а завтра прямо подойду и спрошу.

— Тут и спрашивать нечего. Ясное дело — дать ему надо. Заткни ему глотку пятью целковыми и конец. Ясное дело — содрать человек хочет.

Костя приободрился.

— А пяти целковых довольно? Я дам и десять, только не пиши обо мне. Я человек рабочий, а ты надо мной издеваешься. Зачем?

Он схватился за голову и простонал, вспомнив все перенесенные обиды:

— Госсподи! за что? Что я кому сделал?!

Лица всех были серьезны, сосредоточенны. Около них искренно, неподдельно страдал живой человек, и огрубев-

шие сердца сжимались жалостью и болью за ближнего своего.

Был поздний вечер.

По уединенной аллее сада ходил, мечтательно глядя на небо, спортивный рецензент Заскакалов и делал вид, что ему все равно: позовет его директор чемпионата ужинать или нет?

А ему было не все равно.

Из-за кустов вылезла массивная фигура тяжеловеса Кости Махаева и приблизилась к рецензенту.

— Господин Заскакалов, — смущенно спросил Костя, покашливая и ненатурально отдуваясь. — Вы не потеряли сейчас десять рублей? Не обронили на дорожке?

— Кажется, нет. А что?

— Вот я нашел их. Вероятно, ваши. Получите...

— Да это двадцатипятирублевка!

— Ну, что ж... А вы мне дайте пятнадцать рублей сдачи — так оно и выйдет.

Заскакалов снисходительно улыбнулся, вынул из кошелька сдачу, бумажку сунул в жилетный карман и снова зашагал, пытливо смотря в небо.

— Так я могу быть в надежде? — прятаясь в кустах, крикнул застенчивый Костя.

— Будьте покойны!

Прошла ночь, наступил день. Ночь Костя проспал хорошо (первая ночь за трое суток), а утро принесло Косте ужас, мрак и отчаяние.

В газете было про него написано буквально следующее:

"Самой интересной оказалась борьба этого древнегреческого Антиноя — Махаева с пещерным венгром Огай. В искрометной схватке сошелся Махаев, достойный, по своей внешности, резца Праксителя, и тяжелый железный венгр. Как клубок пантер, катались оба они по сцене, пока на двадцатой минуте страшный Геракл не припечалал пещерного венгра".

Опять днем собрались в саду, на той же самой скамейке, и обсуждали создавшееся невыносимое положение...

Ясно было, что грубый, наглый репортер ведет самую циничную кампанию против безобидного Кости Махаева, и весь вопрос только в том — с какой целью?

Сначала решили, что репортера подкупили борцы другого, конкурирующего чемпионата. Потом пришли к убеждению, что у репортера есть свой человек на месте Кости, и он хочет так или иначе, но выжить Костю из чемпионата.

Спорили и волновались, а Костя сидел, устремив остановившийся, страдальческий взгляд на толстый древесный ствол, и шептал бледными, искривленными обидой губами:

— Геракл... Так, так. Антиной! Дождался. "Достойный резца"... Ну, что ж — режь, если тебе позволят. Ешь меня с хлебом!.. Пей мою кровь, скорпиён проклятый!

Костя заплакал.

Все, свесив большие, тяжелые головы, угрюмо смотрели в землю, и только толстые, красные пальцы шевелились угрожающе, да из широких мясистых грудей вылетало хриплое, сосредоточенное дыхание...

— Антиноем назвал! — крикнул Костя и сжал руками голову. — Лучше бы ты меня палкой по голове треснул...

— Ты поговори с ним по душам, — посоветовал чухонец. — Чего там!

— Рассобачились они очень, — проворчал поляк Быльский. — Вчера негра назвал эбеновым деревом, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту... Спроси — трогал его негр, что ли?

— Негру хорошо, — стиснув зубы, заметил Костя, — он по-русски не понимает. А я прекрасно понимаю, братец ты мой!..

Долго сидели, растерянные, мрачные, как звери, загнанные в угол.

Думали все: и десятипудовые тяжеловесы, и худые, изможденные жизнью, легковесы.

Жалко было товарища. И каждый сознавал, что завтра с ним может случиться то же самое...

III

Вечером Костя опять выследил спортивного рецензента и, когда тот всматривался в неразгаданное небо, заговорил с ним.

— Слушайте, — сосредоточенно сказал Костя, беря рецензента за плечо. — Это с вашей стороны нехорошо.

Рецензент поморщился.

— Что еще? Мало вам разве? — спросил он.

Кровь бросилась в лицо Косте.

— А-а... ты вот как разговариваешь?! А это ты видел? Как это тебе покажется?

Вещь, относительно которой спрашивали рецензентов мнения, была большим жилистым кулаком, колеблющимся на близком от его лица расстоянии.

Рецензент с криком испуга отскочил, а Костя зловеще рассмеялся.

— Это тебе, брат, не Тезей!!!

— Да, Господи, — насильственно улыбнулся рецензент. — Будьте покойны!.. Постараюсь.

И они разошлись...

Разошлись, не поняв друг друга. Широкая пропасть разделяла их.

Снаружи рецензент не показал виду, что особенно испугался Кости, но внутри сердце его похолодело...

Идя домой, он думал:

— Ишь, медведь косолапый. Дал десятку и Антиной ему мало. Чем же тебя еще назвать? Зевсом, что ли? Попробуй-ка сам написать...

И было ему обидно, что его изящный стиль, блестящие образы и сравнения тратятся на толстых, неуклюжих людей, ползающих по ковру и не ценящих его труда. И душа болела.

Была она нежная, меланхолическая, полная радостного трепета перед красотой мира.

В глубине души рецензент Заскакалов побаивался страшного, массивного Кости Махаева и поэтому решил в сегодняшней рецензии превзойти самого себя.

После долгого обдумывания написал о Косте так:

"Это было грандиозное зрелище... Мощный Махаев, будто сам Зевс борьбы, сошедший с Олимпа потягаться силой с человеком, нашел противника в лице бронзового сына священного Ганга, отпрыска браминов, Мохута. Ягуар Махаев с пластичными жестами Гермеса напал на терракотового противника и, конечно, — Гермес победил! Не потому ли, что Гермес лицом — Махаев, в борьбе делается легендарным Гераклом? Мы сидели и, глядя на Махаева, думали: и такое тело не иссесть? Фидий, где ты со своим резцом?"

Вечером Заскакалов пришел в сад и, просмотрев борьбу, снова отправился в уединенную аллею, довольный собой, своим протезе Махаевым и перспективой будущего директорского ужина.

Быстрыми шагами приблизился к нему Махаев, протянул руку и — не успел рецензент опомниться, как уже лежал на земле, ощущая на спине и левом ухе сильную боль.

Махаев выругался, ткнул ногой лежащего рецензента и ушел. Рецензентово сердце облилось кровью.

— А-а, — подумал он. — Дерешься?.. Хорошо-с. Я, брат, не уступлю! Не запугаешь. Тебе же хуже!.. Теперь ни слова не напишу о тебе. Будешь знать!

На другой день появилась рецензия о борьбе, и в том месте, где она касалась борьбы Махаева с Муколяйненем, дело ограничилось очень сухими скупыми словами:

”Второй парой боролись Махаев с Муколяйненем. После двадцатиминутной борьбы победил первый приемом ”обратный пояс”.

Махаева чествовали.

Он сидел в пивной ”Медведь”, покрасневшийся, оживленный и с худо скрытым хвастовством говорил товарищам:

— Я знаю, как поступать с ихним братом. Уж вы мне поверьте! Ни деньгами, ни словами их не проймешь... А вот как дать такому в ухо — он сразу станет шелковый. Заметьте это себе, ребята!

— С башкой парняга, — похвалил искренний серб Христич и поцеловал оживленного Костю.

СУХАЯ МАСЛЕНИЦА

I

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров... Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

— Ты не бережешь себя... Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.

— Ты что-то бледный сегодня? — спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудобрюшную преграду.

— Да, — отстраняясь, говорил муж. — У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!

— Милый! Ты шутишь, а мне больно... Не надо так... — умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии...

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

— Если ты мне когда-либо изменишь — я умру.

— Почему? — лениво спрашивал муж. — Лучше живи. Чего там.

— Нет, — шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. — Умру.

— Господи! — мучился писатель Перезвонов. — Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь... Все-таки веселее!

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II

Однажды была масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры...

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.

— Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

— Почему? — спрашивали гости.

— Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.

Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

— Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

— Ничего, благодарю вас, — вздохнул писатель.
— У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь...

— Как, — испугалась жена. — Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

— Не может этого быть, — возразил Перезвонов, — до сих пор меня обижали только добрые люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:

— Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене.

III

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

— Ой-ой, — подумал Перезвонов. — Этого так нельзя оставить... Не нужно забывать, что нынче масленица — многое дозволено.

Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

— Послушайте... — после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец. — Вам не страшно идти одной?

— Мне? — приостановилась дама, улыбаясь. — Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

— Да, — сказал писатель, придумывая фразу попошлее. — Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

— Как? Как вы сказали? — восторженно вскричала дама. — Пока молоды... пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

— А что мы у вас будем делать? — напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

— О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом — вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

— Вы меня принимаете за кого-то другого, — делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

— Боже мой, милый Иван Алексеевич... Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно...

— Просто я маляр Авксентьев, — резко перебил ее Перезвонов. — Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх, вы!!

IV

— Прах их побери, так называемых, порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила — отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговею поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны... Черррт! Нет, Перезвонов... Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая-то венгерка.

— Садитесь со мной, — сказал писатель. — Выпьем хорошенько и повеселимся.

— Хорошо, — согласилась венгерка. — Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

— Какой это дурак отзывал вас?

— Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне "выпить и повеселиться". А они смеялись и потом говорят: "эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!"

— Черррт! — прошипел писатель. — Вот что, Илька... Вы сидите — кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

— Да расплачиваться не надо, — сказала Илька. — За вас уже заплачено.

— Что за глупости?! Кто мог заплатить?

— Вон тот толстый еврей — банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: "За все, что потребует тот господин, — плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться". Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

— Вы, вероятно... переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевых и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и — гром аплодисментов прокатился по зале... Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.

Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и, со слезами умиления, стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуранных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы...

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился вовсю — кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

— Ходы сюда! — кричал он, выделывая ногами выкрутасы. — Целуй менэ, барышна, на морда.

— Ах, какой вы веселый кавалер, — говорила восхищенная испанка. — Я поеду с вами ужинать!..

— Очин прекрасно, — хохотал турок, семеня возле дамы. — Одын ужин — и ныкаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взасос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

— Ой, не плачь, Маруся — ты будешь моя!

Кончу мореходку, женюсь я на тебя...

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

— Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил... Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки...

VI

В дверь осторожно постучались.

— Ну? — нетерпеливо крикнул Перезвонов, — нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия... Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, касир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

— "Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия"...

В дверях показались репортеры.

VII

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

— Чего ты?!

— Милый... Я так беспокоилась... Отчего ты такой бледный?.. Я думала — ушел... Там женщины разные!.. Масленица... Думаю, изменит мне...

— Где там! — махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. — Где там!

ПО ТУ СТОРОНУ...

Мир таинственного и загадочного — мир прекрасный, привлекательный и в то же время страшный, именно этой своей загадочностью и таинственностью.

Немногие могут заглянуть за страшную завесу неизвестного, а те, кто заглянул, на всю жизнь сохраняют в душе холодный ужас, а на голове много лишних прядей седых волос.

В моей жизни было всего три случая таинственных, непонятных явлений, которые находятся всецело по ту сторону человеческого постижения и при воспоминаниях о которых сердце мое наполняется удивлением и страхом, а по спине пробегает легкая, холодная дрожь.

Первый случай был давно, во дни моей молодости.

Однажды, когда я прогуливался по пустынному полю, ко мне подошла старая цыганка и, пылливо взглянув в лицо, сказала:

— Барину скоро предстоит дорога.

— Откуда ты знаешь? — удивленно вскричал я.

— Старая Любка все знает, — зловеще сказала цыганка.

Пораженный этим странным предсказанием, я дал цыганке двугривенный, и она исчезла.

Прошло года три. Я уже стал забывать о своей прогулке, встрече с цыганкой и ее словах, как однажды осенью на мое имя пришла телеграмма, чтобы я экстренно выезжал в N, где жил мой дядя.

Полный тяжелых предчувствий, поехал я в N и на вокзале, встретив тетку, узнал печальную новость: дядя вчера умер!

— А какое у нас сегодня число? — спросил я.

— Десятое.

— Поразительно! — подумал я. — Ровно три года и десять дней со времени моей встречи с цыганкой... Откуда она могла знать о предстоящей смерти дяди и теткой телеграмме?

Рассказывая о последних минутах дяди, тетка сообщила, что старик за десять минут до смерти был еще жив...

Эта странность еще больше утвердила меня в мысли, что между двумя рассказанными случаями: предсказанием цыганки и смертью дяди была какая-то загадочная, неразрешимая человеческим пониманием связь...

Второй случай был совсем недавно. До сих пор я не могу прийти в себя, и если до сих пор я не верил в необъяснимое в природе, то этот случай с категорической ясностью мог поколебать мой скептицизм.

Был солнечный светлый день, исключавший всякую возможность предположения о чем-нибудь таинственном, что случается только в страшные, темные осенние ночи... Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Я нанял по часам извозчика — молодого, безусого парня (я это хорошо запомнил). Мы заезжали в несколько мест, и я, думая о своих делах, совершенно забыл об извозчике и его ординарной наружности.

Последнее место, куда я заехал, был банк. Закончив в несколько минут свои дела, я вышел на улицу, вскочил в пролетку и приказал извозчику ехать домой. Он ударил по лошадам и, пошевелившись на козлах (я никогда не забуду этой минуты...), медленно обернул ко мне свое лицо.

— Куда прикажете? — спросил извозчик, глядя на меня исподлобья.

Я вскрикнул и закрыл в ужасе лицо руками: на меня смотрело бородатое, старообразное лицо с длинными усами и морщинами на щеках.

До сих пор я твердо помню, что между тем, как я впервые нанял этого извозчика, и страшным моментом его поворота ко мне прошло не более двух часов... Откуда же могла взяться эта большая борода, усы и морщины у моложавого безусого парня?! Что случилось за это время в природе? Пронеслось ли над нашими головами несколько никем не замеченных десятков лет, украсивших парня всеми атрибутами зрелого возраста, или... сам дьявол сидел на козлах, меняя по своему желанию личину извозчика?

Удивительнее всего, что старый извозчик уже не помнил улицы, с которой он впервые взял меня, и странными мне показались его преувеличенные поклоны и благодарность, когда я уплатил ему условленные два рубля за время.

Кто был мой извозчик? Тайна по-прежнему окутывает этот страшный вопрос непроницаемым покровом... Разрешится ли она когда-нибудь? Бог весть.

Третий случай я считаю самым страшным.

Однажды прислуга сообщила мне, что в новолуние на чердаке появляется какая-то белая фигура, пугающая всех своим зловещим видом.

— Вздор, — улыбаясь, сказал я. — Почему именно в новолуние? Если она является, то может явиться, когда угодно.

Но прислуга стояла на своем.

— Хорошо, — сказал я. — Я проверю это. Теперь как раз не новолуние, и я посмотрю — явится ли твое привидение?

В ту же ночь я, с замирающим сердцем, и не слушая уверений прислуги, что раз нет новолуния, не будет и привидения, отправился на чердак.

Рано утром, бледный, с перекошенным от ужаса лицом, я еле сполз с чердака вниз. На все вопросы у меня только и хватило пролепетать:

— Прислуга была права... Новолуния не было, привидение, действительно, не появилось. Ясно, что в новолуние, значит, оно является.

После этого необъяснимого случая прошло много времени... Я тогда же немедленно настоял на переезде с ужасной квартиры, но даже и теперь, когда я вспоминаю о ночи на чердаке, волосы мои шевелятся, и я стараюсь изгнать из памяти эту ночь, убедившую меня в существовании таинственных, призрачных существ загробного мира...

МАГНИТ

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

— Если мне будут звонить, — спроси — кто и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

— Если мне будут звонить, — спросите — кто и запишите номер.

— Слушаю-с, барин!

— Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что несколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

— Смотрите, какой он важный!

— Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда махать меня пальцем.

— Что такое?

— Барин, барин, — шептала она, давась от смеха. — Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услышала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

— Чего ты хочешь?

— Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия, и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

— Что случилось? — обеспокоился я.

— Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.

— Какую.. Бельс-ку-ю? — ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

— Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

— И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуй... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

— В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

— Это дом сумасшедших! — вскричал я. — Ничего не понимаю.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

— Ты... мерзавец!

— Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

— Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

— № 349—27 — "Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй".

№ 259—09 — "Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?"

№ 317—01 — "Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!"

№ 102—12 — "Ты — негодяй! Надеюсь, понимаешь".

№ 9—17 — "Мерзавец — и больше ничего!"

№ 177—02 — "Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?"

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

— Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? — с дрожью в голосе спросила она. — Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей — № 177—02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

— Центральная, № 177—02? Спасибо. № 177—02?

Мужской голос ответил мне:

— Да, кто говорит?

— № 300—05. Позовите к телефону Надю.

— Ах, вы № 300—05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

— Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

— Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, № 300—05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

— Папа, так ты бросишь эту драную кошку — Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в нос.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

— Кто звонит?

— Это № 300—05?

— Да, что нужно?

Послышался женский смех.

— Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?

— Кольца у меня нет, — отвечал я. — И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу "эту драную кошку" — Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

— Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.

— А зачем? — удивился я.

— Видите ли, ваш номер 300—05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.

— Да, они уж очень к нему привыкли, — согласился я.

— И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.

— Совершенно верно, — согласился я. — Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.

— Да? — обрадовался молодой человек. — Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

— А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза, — сообщил я, подмигивая.

— Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.

— Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77—92. Я обещал усыновить.

— Вы думаете, он мой? — задумчиво спросил бритый господин. — Я уже, признаться, совершенно спутался: где мой — где не мой.

Его простодушный вид возмутил меня.

— А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он улыбнулся и добродушно махнул рукой.

— Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?

— Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

— Так вы артист? Я очень люблю театр.

— О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

ИХНЕВМОНЫ

Редактор сказал мне:

— Сегодня открывается выставка картин неоноваторов, под маркой "Ихневмон". Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

— Да! забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

— А если выставка скверная?

— Я вас потому и посылаю... именно в а с, — подчеркнул редактор, — потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

— А где же картины?

— Да вот они тут висят! — Ткнул он пальцем на стены. — Все тут.

— Вот эти? Эти — картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

— Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

— Эт-то... 3-забавно. Интер-ресно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например?

— Что именно?

— Да вот там висит... Такое, четырехугольное.

— Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

— Да это вот... такое, зеленое. Руки такие черные... вроде лошади.

— А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется "Абиссинская девушка"? Ну, что ж... Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

— А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

— "Открылась выставка "Ихневмон", — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадаете целый ряд интересных удивительных вещей"...

"Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова "Весенний листопад". Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься — как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно".

"Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с дру-

гим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: "Крики тела", "Почему", "Который", "Дуют".

"Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса "Легковой извозчик". Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими"...

Написав все это, я перешел в следующую комнату.

Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что, если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешены отслужившие свою службу приказчиьи передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих заключенных в рамы вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил, с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием.

После некоторого колебания я написал:

"Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского... Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего".

"Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!"

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней сквозила деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — все было мягко и осторожно.

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

— Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело...

— Тяжело? — удивился я. — Почему?

— Нешто ж у нас нет совести, или что?! Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только... Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил-человек?! И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце не хорошо... Нешто ж мы не понимаем сами — картина это, или што? Обратите ваше внимание, господин... Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтoб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол.

— А, чтoб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

— Вы не так ее вешаете, — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. — Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой.

— А не все ли равно! Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит... Багетщик тут у меня был знакомый — багеты им делал — так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись, присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков — после разберут!.. Гм... Да где уж тут разобрать.

Я вздохнул.

— До свиданья, голубчик.

— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..

— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

— Конечно. Все, что я мог написать.

— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашенных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию

и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

— Это по поводу выставки "Ихневмона"? — спросил он. — Это трудно — написать о выставке "Ихневмона". Я могу написать о выставке "Ихневмона".

— Пожалуйста! — криво улыбнулся я. — Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию... Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это все, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

— Ну вот, готово. Слушайте: "Выставка Ихневмон". В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью "Весенний листопад"? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: "Жизнь".

"Заинтересовывает Булбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении".

"Примитивный по синему пятну "Легковой извозчик" тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающе-

го в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков, Сказку”...

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:

— Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

— От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали... Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что, если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию — для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой провалившейся груди...

ЖЕНА

I

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметь только детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних — и только.

Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит.

С деталями ее отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно стройное целое.

А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот

которой с ослиным упрямством отказался сойтись на моей шее.

“Сойдись, проклятое белье, — бормотал я просящим голосом. — Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!”

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот, петля для запонки лопнула.

“Чтоб ты лопнула! — разозлился я. — Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю”.

Я подошел к жене.

— Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

— Нет, я этого не сделаю.

— Как не сделаешь?

— Да так. Зашей сам.

— Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

— Да, — сказала она грустно. — Вот именно, поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься одинок — и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей — будешь ты плакать и говорить: “Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?..” Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.

— О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

— Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь! Я побледнел.

— Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

— Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди — слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмострят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

— А что же мне... с ней делать? — прошептал я обескураженно.

— Я уже придумала! — радостно и мелодично засмеялась жена. — Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса.

— Милая! Но ведь... они могут убить тебя!

Лицо ее засияло решительностью.

— Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я — что уж... Мое здоровье и так слабое... я кашляю...

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. "Не прошли еще времена христианских мучениц", — подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне, во всем и везде первое было — ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза, — был мужской цилиндр.

— Смотри-ка, — удивился я. — Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки.

— Твой это цилиндр, мой милый!

— Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы...

— А теперь — я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить, как подарок маленькой жены, не правда ли?

— Спасибо, милая... Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну конечно же, подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

— Прости меня... Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

— Почему здесь инициалы Б. Я., когда мои инициалы — А. А.?

— Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: "люблю тебя".

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II

— Нет, ты не будешь пить это вино!

— Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик...

— Ни за что... Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!

— Зачем?

— Там окно открыто. Тебя может продуть.

— О, я считаю сквозняк предрассудком!

— Не говори так... Я смертельно боюсь за тебя.

— Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога...

— Ни-ни... И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?

Я вынимал папиросу.

— Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?

— Да одна папир...

— Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не думайте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.

— Ты — Монблан доброты!

Она застенчиво смеялась.

— Глупенький... Уж и Монблан... Вечно преувеличит!

Часто задавал я себе вопрос: "Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на все светлое, хорошее".

Однажды, во время прогулки, я подумал:

"Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой любви на устах, сторел бы дотла или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя".

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу.

"Ты дурак и эгоист, — сказала мне победительница.

— Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени. Ты умрешь, и хорошо... Но после тебя останется

бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами..."

— Нашел! — громко сказал я сам себе. — Я застрахую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным лицом, преподнес жене...

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь — жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях были мне по поясу, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда иступленный. Это была какая-то вакханалия заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

— Радость моя! — ласково говорила она, смотря мне в глаза. — Ну, чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

— Да я уже пил сегодня, — нерешительно возражал я.

— Ты мало выпил... Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится — нелепо отказываться... Да, совсем забыла, — ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар — крепких-крепких!..

Я чувствую себя в раю.

Я обедаю с тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон и сквозной ветер ласково обдувает меня... Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну — мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

— Какова нынче погода? — спрашиваю я у жены.

— Тепло, милый. Если хочешь — можно без пальто.

— Спасибо. А что это такое — беленькое с неба падает? Неужели снег?

— Ну, уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

— Грудь болит, — сказал я.

— Попробуй покурить сигару, — ласково глядя меня по плечу, сказала жена. — Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди...

Женитесь, господа, женитесь.

АЛЬБОМ

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостинице — пухлые с золоченым обрезами и металлическими застежками, битком набитые бородами, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек — семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, — совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре:

— Ну, что новенького?

Тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом и сказать:

— Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?

И дальше все идет как по маслу.

— Кто этот старик? — спрашивает гость.

— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

— Какая странная борода. А это кто?

— Это наш Ваня, когда был маленький.

— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.

— Да... Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.

— Гм... Как вырос! А это?

— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.

— Как фамилия?

— Павлова.

— Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.

— Не было.

— Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?

— Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.

— В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек — спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь "дождливом лете" и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома — гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяйну руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

— А это кто?

— Это первый лист. Тут карточки нет... Переверните.

— А это кто?

— Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.

— Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и — беспомощно и бесцельно повис в воздухе.

— Спасите! — хотел крикнуть он. — Утопаю!

Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:

— Отчего же она умерла?

— Кто?.. Тетя? От сердечных припадков.

"Почему ты, подлец, — подумал молодой гость, — отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал... Вот бы времячко-то и прошло".

— От припадков? Да уж, знаете, наши доктора...

— А это кто?

— Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

— Странные теперь пепельницы делают...

— Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но — альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.

— А где альбом? — спросил гость. — Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскиали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, "чтобы составить общее впечатление".

Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван.

Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул:

— Ограбили!

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом и, побледнев, поднялся с места:

— Ну... мне пора.

II

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходить ко мне все чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: "самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.", "вид гавани в Ревеле" и "знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде".

Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою "семейную реликвию".

Оставалось единственное средство: пошарить на столе.

И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной рух-

лядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками — как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов — все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался, как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом, и — никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого — сам выбрал себе отца, мать, старого дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребенка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13—14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи.

Пришлось ограничиться тем, что сделал все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких — увы — было немало) — простыми знакомыми...

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ все тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

— Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? — предложил я. — Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

— Кто это?

— Это моя бедная любимая матушка... Она умерла от сердечных припадков... Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

— А это кто?

— Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка... Как она вам нравится?

— Хорошенькая.

— Вы говорите — хорошенькая... Красавица! Моя первая любовь.

— Да? А она вас любила?

— Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать... Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке

надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И... ее я больше не видел...

Лицо мое было печально... На ресницах повисли две непрошенные предательские слезинки.

— Давно это было? — тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

— Давно ли? Семь лет тому назад... Но мне кажется, что прошла вечность.

— И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

— Не видел. Куда она исчезла — неизвестно. Это странная, загадочная история.

— Что же она вам написала на обороте карточки?

— Не помню, — осторожно отвечал я. — Это было так давно...

— Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

— Не помню — на этой ли карточке она сделала надпись или на другой...

— Все-таки разрешите взглянуть, — попросил один господин с романтической натурой, сантиментально улыбаясь, — первый любовный лепет невинной девической души — что прекраснее этого?

— Что прекраснее этого? — как эхо, повторил другой гость и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

— Что за черт?

— Не смейте касаться того, что для меня "святая святых", — испуганно закричал я. — Зачем вы вынимаете карточку?

— Странно... — не обращая на меня внимания, прошептал гость. — Очень странно.

— Что такое?!!

— Вот что здесь написано: "Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом — родинка".

— Что такое — хипесничество? — спросила какая-то гостья.

— Хипесничество? — промямлил я. — Это такое... вроде телефонистки.

— Нет, — сказал один старик. — Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

— Хорошая первая любовь! — иронически заметила дама.

— Это недоразумение, — засмеялся я. — Позвольте карточку... Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту — видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

Благоуханную любовь извлекли из альбома, и сентиментальный господин прочел:

— "Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899—1903 занималась проституц., с 1903 г. — магазинная воровка (мануфактурн. товар)".

III

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

— Интересно, — сказал старик, — что написано на обороте карточки вашего отца?

— Воображаю, — отозвалась дама.

— Не смейте оскорблять этого святого человека! — крикнул я. — Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

— "Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 — мелкие кражи, 1882 — кража со взломом (1 г. тюрьмы), 1885 — убийство семьи Петровых — каторга (12 л.), 1890 — побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке".

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания — насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому... Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

— Эй, вы! Хозяин! — крикнул мне гость, старик. — Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбочился и сказал с грубым смехом:

— Да-с! Купил я его сегодня за 2 рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из нас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом — честный откровенный альбом, а ваши — это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин... Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, — но гости после моих слов немедленно разошлись.

Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука — я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.

ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСПОДИНА ВОПЯГИНА

— Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что 17 июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами... Признаете себя виновным?

Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:

— Что ж делать... признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства...

— Ага... Так-с. Расскажите, как было дело?

— 17 июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно проштатавшись до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать... Нечаянно оборачиваясь лицом к воде — глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время — заметьте это, г. судья!), я стал смотреть на них.

— То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А скажите... эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

— Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну — именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз...

Господин Волягин оживился, зажег сигару.

— Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и, своим темным цветом, еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительные ямочки...

Судья закашлялся и смущенно возразил:

— Что это вы такое рассказываете... мне, право, странно...

Лицо господина Волягина сияло одушевлением.

— Руки у нее были круглые, гибкие — настоящие две белоснежных змей, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну... грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы...

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

— Однако, там ведь были дамы и... без костюмов?

— Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но — не то! Решительно, не то... А другая — прехорошенькая девушка лет восемнадцати...

— Ага! — сурово сказал судья, наклоняясь вперед. — Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?

— Юные формы ее, г. судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно-мала, бедра не так широко, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно...

В камере послышалось хихиканье публики.

— Замолчите, г. Волягин! — закричал судья. — Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого... Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Волягин повернулся и пошел к дверям.

— Еще один вопрос, — остановил его судья, что-то записывая. — Где находится это... место?

— В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдете мост, г. судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет маленькая тропинка к берегу, а на берегу высокие, удобные кусты...

— Почему — удобные? — нервно сказал судья. — Что значит — удобные?

Волягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.

ШУТКА

Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска общественное положение — она торговала семечками и апельсинами. Поэтому все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.

Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недожизненным и паренком "с продвинутой головой", а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недостижимую головокружительную высоту, — она молилась.

Дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери письма, которых та не могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.

— Жоржик... — заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок, — так вы ж мне напишете? А? А?

Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.

— Да... Напиши! Вы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.

— Тире? — бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова. — Да зачем оно?

— Как, зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.

Он задумался.

— Фразы тоже. Разные. Все это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..

— И как это вам, Георгий Кириллыч, все это ниспослано... — с явной грубой лестью прошептала семечница. — И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито, не едено, цельное письмо накострячить!

Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.

— Что? Накострячить? Ну, и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите, пожалуйста... "Накострячить"!..

Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцию грубой лести и подмазыванья:

— Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг — уходит. Такой, можно сказать, красавчик, за которым девки помирают, и вдруг, это самое... Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: много, говорит, у меня этого народу, много дармоедов, только, говорит, Зяблов, Георгий Кириллыч, распроединственный золотой человек.

— Да ты врешь.

— И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!

И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:

— Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!

Но — Жорж был грамотен, являл себя знатоком тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную око-лесину.

— Умру, говорит, кому дело передать? "Да кому ж, — говорю я, — и передать, как не Жоржику?" Посмотрел на меня: "ему и передам!"

— Да ты врешь, старуха! — восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. — Так и сказал?

— Так. Ей-Богу, так!

Неожиданно шепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничаёт с ним.

Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к себе-седнице вполоборота и холодно сказал:

— В сущности говоря, что вам угодно?

— Жоржик! Красавец! — загозила старуха. — Так я же это самое и прошу!

— Что — это самое? Выражайтесь яснее!

— Да письмо ж.

— Что — письмо?

— Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!

— Кому письмо?

— Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще наемни прислала.

Жорж сосредоточенно нахмурился.

— А отчего ж ты неграмотная? А?

— Да где ж мне было... — развела руками госпожа Нестеренкова. — Сначала была все маленькая, да маленькая, — рано было... А потом вдруг — большая! Глядишь — и поздно.

— То-то и оно, — недовольно проворчал Жорж. — Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать — занятых людей беспокоите...

— Я ж не даром! — всплеснула руками встревоженная старуха. — Заплачу, как полагается.

Жорж посвистал.

— Гм... написать разве?

Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:

— Захочу — напишу, захочу — и не напишу.

— Ладно, — сказал Жорж. — Напишу.

Семечница вздрогнула от радости.

Жорж сидел в каморке у старухи.

— Вот вам, — говорила она, носясь из угла в угол, — яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.

— Выкушайте, — лениво передразнил благодушно настроенный Жорж. — Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.

— Можно с белой головкой, — залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос. — Сейчас пошлю девочку.

— Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!

— Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.

— Да, знаем мы... с чесноком, — проворчал Жорж. — Письма им еще пиши! Целый день работаешь, как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши... Невесело это, знаете.

Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.

— Что это он, как будто, черствый... А?..

Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.

— Ты... тово, Василиса... Я бы вздремнул немного перед письмом... А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп...

Глаза его сомкнулись.

Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала...

— Ну, что ж... отдохните. Благо, сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам...

Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:

— По...чему мухи... бес...покоют?

— Теперь-то? — сказала старуха. — Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.

— Чигарики на курузах, — прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.

— Чего извольте? — забеспокоилась старуха.

Но Жорж уже спал.

Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно...

Писали письмо.

Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему все было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах. Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечница судьба — всецело в его руках...

И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.

Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила и даже, упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и покочетничать трудностью писать, вообще, — благодушно сказал:

— Ну, Василиса... говори. Что писать-то?

Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонила набок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:

— Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь...

— "Дорогая дочка Варенька, — писал, заливаясь внутренне хохотом, Жорж, — эх чем вздумала меня удивить — пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала... Или двести! Тогда бы я тебя благодарила и кланялась... А так — что ж: на один день вышивки с соответствующей закуской мне и хватит только"...

— Написал? — спросила семечница.

— Написал, — отвечал Жорж.

Семечница поджала губы.

— Ну... Что ж бы еще такое? "И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галоси не выходить и беречься от климату, вообще так же"...

— "Прошу тебя, уважаемая Варенька, — склонив набок голову, выводил подмастерье, — чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому — эти черти разве понимают? Куска фиксатуару или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь

в галошу и соблюдай климатические условия в отношении типины"...

— Есть?

— Сделано! — сказал Жорж. — Хоть на выставку! Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится: отпрыск.... Еще что писать?

Василиса сразу сделалась мечтательной.

— И, кроме всего того, — сказала она, нараспев, тонко-претонко, — береги себя, как ты девушка, и мужчина час, дур, всегда на худое потянуть может... Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит, — только анафемские это деньги, нечистые... Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества...

— Правильно, — кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:

— "И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчинами-то дураками хоть пруд пруди... Обережь его, как липку, так что и не заметит!!! А замужество, — это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь — был бы тебе хорошим кавалером и ухажером. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя денег, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца — Василиса! Пьем за ваше здоровье! Ура!"

Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно... В нем был и тонкий, здоровый юмор и несколько дружеских теплых слов, по его, Жоржа, адресу и легкий шутливый тон по отношению к глупой сентиментальной семечнице — все было округлено, закончено.

— Готово, мамаша! — воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму. — На чаек с вашей милости.

Счастливая старуха захлопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.

Отыскала почтовый ящик и бережно, тщательно всунула в отверстие письмо, протолкнув его пальцем как можно дальше.

В ЗЕЛеной КОМНАТЕ

(Послеобеденные разговоры)

— Я где-то читал, — сказал мой друг Павлов, — что цвет обоев в комнате очень влияет на настроение человека... Голубые обои располагают к лени, неге и мечтательности, желтые — действуют тяжело, угнетающе, красные дают настроению повышенный интенсивный тон, а белые умиротворяют, смягчают и успокаивают человека...

Есть у некоторых людей такие характеры: если они услышат о каком-нибудь удивительном явлении, — то не успокоятся, пока не приведут примера или явления еще более удивительного, случая еще более странного. Если при таком человеке рассказать о том, что индейские слоны нянчат ребят, он снисходительно улыбнется и скажет, что австралийские кенгуру не только нянчат ребят, но и дают им первые уроки закона Божьего, лечат от золотухи и помогают прорезываться зубам. Если при таком человеке рассказать, что вы видели в цирке атлета, поднимающего десять пудов и держащего в зубах взрослого зрителя, — этот человек сейчас же вспомнит об одном малоизвестном кузнеце, которого он знал и который поднимал одной рукой шестнадцать пудов, а зубами, "совершенно шутя", держал лошадь и перегрызал подковы.

Седой, маленький господин внимательно выслушал Павлова, тихо улыбнулся и качнул головой.

— Это что! Я помню случай, который никогда не изгладится из моей памяти. Все, кому я ни рассказывал, были ошеломлены этим поразительным случаем, многие считают его беспримерным и необъяснимым, но я, по зрелом обсуждении, нахожу, что в нем не было ничего сверхъестественного, необъяснимого... Вы позволите рассказать его?

Мы были очень заинтригованы.

— О, конечно, конечно!!

*Рассказ маленького,
седого господина*

В прежнее время я был очень богат и жил широко, шумно и весело. Однажды, наняв и обмелировав роскошную барскую квартиру, я решил устроить новоселье. Пригласил человек полтора десятка своих друзей и знакомых,

заказал ужин и думал провести вечер приятно, разнообразно и весело. Гости все были народ отборный, хороший, потому что богатому человеку, конечно, есть из чего выбирать...

Сначала все сидели в моей громадной столовой, пили чай и мирно обсуждали исход какого-то осложнения на Балканах...

Потом перешли в гостиную, разбились на группы и стали доканчивать разговоры, начавшиеся в столовой.

Около меня сидели двое — инженер и адвокат — и обсуждали фразу одного из них, что "славянские государства — это какое-то гнездо ос".

— Вообще, мы, славяне, — пожал плечами адвокат, — народ вздорный, непрактичный и тупой... Стыдно сознаться, но это так.

Инженер недовольно поморщился.

— Гм... Видите ли, я сам славянин и не соглашусь с тем, что вы сказали о славянском племени... Конечно, те, которые сами чувствуют в себе эти черты...

Адвокат побагровел.

— Слушайте, милостивый государь!.. Если я вас правильно понял...

— Да, да, — резко рассмеялся инженер, — вы совершенно правильно поняли меня! Человек, который унижает великое племя, считающее его своим, человек, характеризующий это племя вздорным и тупым, — вероятно, выводит это печальное заключение на основании автобиографических данных.

— Вы за это ответите! — вскричал адвокат, хватая инженера за руку. — Такие оскорбления смываются кровью!!

— Прочь грязную лапу! — заревел инженер. — С удовольствием прострелю твою ограниченную, лишенную высоких мыслей голову.

Разговор этот был так неожидан, что я не успел даже заметить его.

Адвокат вскочил, отошел в сторону и стал шептаться с полным красивым офицером. До меня долетели слова:

— Вы не откажетесь, конечно, полковник, быть свидетелем?..

— О, с удовольствием... Другого я сейчас найду.

Адвокат отошел, а полковник остановил проходившего мимо сына банкира и шепнул ему:

— На одну минуту!.. Затеваешь дуэль... Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем, вместе со мной.

Банкирский сын свистнул.

— Ду-эль?.. Какие же это идиоты вздумали подставлять свои лбы под пули?..

— Милостивый государь! — раздраженно возразил полковник. — Я бы попросил вас умерить выражения там, где дело касается моих друзей... Это, по меньшей мере, бестактно!

— Прошу без замечаний! — вспыхнул его собеседник. — Если вы носите военный мундир, то это не значит, что вы можете говорить чепуху! Тоже, подумаешь: бестактно.

— Ах, так?.. — с трудом сдерживая себя, прошипел полковник. — Надеюсь, что все вами сказанное обязывает вас, как честного человека...

— Пожалуйста! — пожал плечами банкирский сын... — Я хотя и не военный, но пистолет держать умею!..

— Ладно! Жду ваших свидетелей!..

Банкирский сын, с дрожжами от негодования губами, отошел к столу и нагнулся к сидящему за столом студенту.

— Миша... Неприятная история! У меня, кажется, дуэль. Ты не откажешься быть секундантом?

Миша подумал.

— Извини, брат, но откажусь. У меня на носу экзамены, а если я впутаюсь в эту историю — Бог весть, чем она кончится.

— Ну, вздор — экзамены. Неужели, ради меня, ты не сделаешь этого?

— Ей-Богу, милый, не могу.

Банкирский сын криво усмехнулся.

— Не можешь?.. Скажи прямо — трусишь.

— Ну-ну, брат... полегче! За такие слова — знаешь?

Шепот их перешел в бешеное шипенье и свист. Как две разъяренные пантеры, отскочили они друг от друга, и студент, ни минуты не медля, быстро подошел ко мне.

— Что? — спросил я изумленный, сбитый с толку. — Небось, секундантом хотите пригласить? Слышал, все слышал... Да что вы, господа, белены объелись, что ли?

— Вы можете не соглашаться, — угрюмо сказал студент, — но таких выражений я не допущу. Нужно быть бесцеремонным идиотом, чтобы, в качестве хозяина...

— Довольно! — вскричал я. — В качестве хозяина я не могу хорошенько отколотить вас, но завтра я пришлю вам своих друзей...

К нам подлетели четыре человека.

— Не согласитесь ли вы... — начал один.

— Быть, — успел вставить другой.

— Секундантом, — dokonчили двое.

— Куда вы лезете, — оттолкнул первый второго.
— Я его приглашал первый, а не вы!
— Что?! Толкаться? Да знаете ли вы, что подобные поступки смываются кровью....

— Сделайте одолже...
— Ой! кто это на ногу наступил?
— А вы не подставляйте.
— Ах, так! Я вас хотя не знаю, но вот вам моя карточка...

— А вот моя, черт вас дер! —
В гостиной стоял невообразимый шум... Все вопили, бешено брызгали слюной, ругались и толкали друг друга. Большинство гостей наступало на меня, спрашивая, где я мог достать так много грубиянов, мужиков и бестактных ослов.

В ужасе схватился я за голову и выбежал в другую комнату... Возмущенные гости выбежали за мной. Я упал в кресло с закрытыми глазами и долго сидел так.

А когда открыл их, то увидел, что около меня стоит вызвавший меня на дуэль студент и миролюбиво говорит мне:

— А ведь я, мне кажется, погорячился... Вы уж меня простите! Я готов извиниться.

— Помилуйте, — радушно сказал я. — Ну, какие там извинения... Я сам виноват.

Около нас инженер держал адвоката за пуговицу и, пожимая плечами, говорил:

— В сущности говоря, вы правы: конечно, славяне, в общем, тупы и не практичны... Чего это я давеча на вас набросился...

— Ну, все-таки — я вас понимаю. Обидно! — бормотал, сконфуженно глядя вниз, адвокат. — Мне не следовало этого говорить. Извиняюсь и думаю, что все будет забыто. Вашу руку!

К студенту Мише подошел банкирский сын и, красный от смущения, сказал:

— Свинья я, Миша! Ударь меня по физиономии!

— За что? — удивился Миша. — Скорее я был не прав. Пожалуй, если хочешь, я действительно буду секундантом у тебя.

— Не надо, дорогой, любимый Миша. Уже не надо. Я помирился с этим симпатичным славным полковником.

Всюду были ласковые улыбки и дружеский шепот. Полное спокойствие воцарилось среди нас.

Маленький, седой господин замолчал.

— Вот она какая история-то!

— Да в чем же дело-то? — с живым недоумением воскликнул Павлов.

— Как... в чем дело? — удивился старичок. — Разве я вам не сказал? Все дело в гостиной, где мы были раньше, и приемной, куда мы потом перешли.

— Э, черт! Да что же там такое было?

— Неужели вы не догадываетесь? Гостиная была оклеена темно-красными обоями, с ярко-красной мебелью, а приемная у меня окрашена белой краской.

— Ну?!!

Старичок хитро посмотрел на нас.

— Цвета-то... Влияют как на настроение! Не правда ли? Павлов негодуяще пожал плечами:

— Если красный цвет действует возбуждающе, белый умиротворяюще, то зеленый вредно действует на человеческое воображение, — заставляя бесстыдно лгать!

Я обвел глазами комнату, в которой мы сидели.

Она была зеленая.

ИСКАДИЕ ГОРОДА

I

Среди пугающего неожиданного завывания автомобильных гудков, бешеных звонков трамваев, немолчного топота лошадиных копыт, мелькания электрических лампочек и головокружительного верчения кинематографических лент, среди несущейся по громадным улицам обезумевшей от желания жить толпы, среди театров с пряными, развратными, испорченными, как старый сыр в угоду гурману, — пьесами, среди всего этого бродят растерянные люди с потухшими тусклыми взорами, и никто не подозревает — какие странные, неслыханные болезни носят они в себе...

Учитель гимназии Сверкалов надевал перед зеркалом воротничок и что-то мурлыкал тоненьким голоском.

Жена посмотрела на него и дружески усмехнулась.

— Что? Предвкушаешь ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения? Смотри — не опоздай!

Про себя она подумала:

— Пусть скорее уходит. Я тогда сейчас же засяду за вышивание туфель ко дню его именин... Надо, чтобы он ничего не подозревал о туфлях.

В это же самое время Сверкалов почувствовал в груди страшную тяжесть, в ногах дрожанье, а сердце похолодело, как кусок льда.

— Что это значит? Что это? — прошмыгнула быстрая мысль в голове. — Почему она сказала: "смотри не опоздай". Что это значит "ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения"?.. Что она имела в виду?

Сверкалов задумался, потупив омраченное лицо.

— Не думает ли она, что я еду к Ликишиным ради самой госпожи Ликишиной?.. Не думает ли она, что между нами что-то есть? Какой вздор!! Если оно так — необходимо рассеять это нелепое подозрение...

— Скажи откровенно, — спросил с наружным холодно-кровием Сверкалов. — Как ты находишь madame Ликишину?

Взгляд его сверлил жену.

— Как? Да ничего. Она милая, — равнодушно отвечала жена. — Еще может нравиться.

— Что это такое? — похолодел Сверкалов. — Что значит этот намек?

Жена в это время думала о туфлях и вздрогнула, когда муж схватил ее за руку.

— Знай же, что я эту Ликишину ненавижу! Она мне противна!

Жена удивленно взглянула на него.

— Почему? Что она такое сделала?

К Ликишиной Сверкалов был совершенно равнодушен, и вопрос жены застал его врасплох.

— Подозревает, — заледенело сердце. — Так и есть — подозревает... Ты спрашиваешь — почему?

И, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, бедный учитель гимназии махнул на все остальное рукой:

— Потому что у нее есть любовник.

Жена пожала плечами и усмехнулась.

— Да тебе-то что... Ведь не влюблен же ты в нее?..

— Почему ты это спросила?! — быстро-быстро заговорил Сверкалов, хватая жену за руку. — Что это значит? Неужели ты подозреваешь?.. А? А? Говори...

— Бог с тобой, — удивилась жена. — Я только не понимаю, с чего ты так волнуешься... Я ведь знаю, что ты любишь меня...

— Что это? — внутренне дрожал Сверкалов. — Искренность или ирония?.. Что она думает? О, я бы много дал, чтобы узнать, что она думает?..

Тут же он решил окончательно рассеять подозрения жены.

— Ты знаешь, между прочим, что Ликишина имеет целую челюсть вставную... Брр!.. И волосы красит.

Думая о туфлях, жена машинально спросила:

— Да? Откуда ты знаешь такие подробности?

В груди Сверкалова что-то оборвалось. Похолодело.

— Конец!.. У нее самые определенные подозрения.

Не попадая рукой в рукав пиджака, Сверкалов подозрительно и злобно закричал:

— Что ты пристаешь ко мне с Ликишиной? Что это значит?

— Господи! Да кто ж к тебе пристаёт. Ты сам же начал о ней разговор. Чего ты волнуешься? Не буду же я ревновать тебя к Ликишиной.

— Конец! — охнул внутренне Сверкалов. — Гибель! Схватился за голову и выбежал из дому...

II

Севши в трамвай, Сверкалов первым долгом вынул двугривенный и стал держать его на виду, весь замирая от опасения, что в нем могут заподозрить пассажира, желающего прокатиться без билета.

Кондуктор раза два промелькнул мимо него, отбирая деньги у других, а Сверкалов тянулся за ним, беспокойно повторяя:

— Получите же с меня... Почему вы не берете с меня?!

Наконец кондуктор протянул руку к Сверкалову. Взял его двугривенный, повертел в руках и, равнодушно возвращая, сказал:

— Пожалуйста, перемените. Это оловянный.

— Конец, — оборвалось внутри у Сверкалова. — Он, наверное, думает, что я нарочно хотел подсунуть ему фальшивый... Черт знает что! Еще, пожалуй, подумает, что я сам и сделал его... Какая гадость.

Сверкалов ненатурально засмеялся, взял обратно деньги, вынул другие и сказал:

— Это мне подсунови где-нибудь. Вот, получите.

И, посмотрев на застывшее лицо кондуктора, заискивающе спросил:

— Что, много у вас работы?

Сейчас же стало ясно, что вопрос, после случая с двугривенным, совершенно нелеп и неуместен. Нужно было загладить его.

Сверкалов снова вынул из кармана оловянный двугривенный, осмотрел его и сказал:

— Ей-Богу, как настоящий! Ха-ха! А вы, небось, думаете — вот, мол, барин хотел всучить под шумок фальшивый двугривенный... А? Говорите, черт вас возьми... думали?..

Во рту накипала скверная горечь.

— Зачем я это говорю? Глупо, бессмысленно. Ведь я, действительно, тянулся за кондуктором так настойчиво, будто в самом деле хотел сплавить двугривенный... Боже! Как тяжело!.. Как гадко...

Так как Сверкалов был уверен, что его соседи подозревают в нем фальшивомонетчика, то — посмотрел на полного блондина в очках и сказал:

— Вот я — имею в гимназии службу, зарабатываю тысячи две, человек более или менее обеспеченный... А каково бедному, если ему попадетсЯ фальшивый двугривенный... Не правда ли? Мне-то ничего... служба, доверие начальства... Гм...

Полному господину нужно было сходить на остановке. Он недоуменно посмотрел на Сверкалова, встал и вышел.

— Конеч! — по своей привычке охнул Сверкалов. — Гибель!

Не дожидаясь следующей остановки, он выскочил из трамвая и остальную часть пути, с тяжелым сердцем, прошел пешком.

III

Горничная попросила Сверкалова в кабинет Ликушина.

— Барин говорит по телефону... сейчас придет.

Сверкалов сделал несколько шагов по кабинету, подошел к столу и стал рассматривать разные безделушки... Взял машинально какое-то кожаное потертое портмоне и стал рассеянно вертеть его в руках.

Сзади раздался неожиданный голос:

— А! Вы здесь!..

Сверкалов вздрогнул и выронил портмоне.

— Не беспокойтесь, — сказал Ликушин, быстро нагибаясь. — Я подниму.

— Конеч! — заскрежетал зубами Сверкалов. — Что он подумает? Что он может подумать? Застал меня одно-

го в кабинете, с чужим портмоне в руках... Господи, как это противно... Как гнусно!..

— Портмоне рассматривал, — болезненно улыбаясь, сказал он. — Очень замысловатая штука.

— Что вы, — небрежно возразил хозяин. — Самая примитивная штука: нажать сверху пружину — оно и раскроется!

— Да? — задрожал внутренне Сверкалов. — Не думаешь ли ты, что и я нажимал пружину и лазил внутрь?.. Этого только еще недоставало...

— А мне его не удалось открыть, — заявил он угрюмо.

Хозяин отложил портмоне в сторону и взял гостя за руки.

— Да? Ну, как поживаете, мой дорогой? Что поделывали последнее время?

— Кошелек чужие открывал, — болезненно усмехнулся про себя Сверкалов. А вслух сказал:

— Ничего. Скажите, где вы купили это портмоне?.. Я бы очень хотел приобрести себе такое. Я его поэтому и рассматривал!

— Господи! Да в самом паршивом магазине можно его купить... Что это вы так заинтересовались этим портмоне?

Сверкалов, бледный, с прыгающими губами, нагнулся к хозяину.

— Почему заинтересовался? Не думаете ли вы, что я хотел ознакомиться с его содержимым? А? Вы уж говорите прямо?

— Как он глупо шутит, — поморщился внутренне Ликушин. — Ха-ха, милейший! Немного же заработали бы вы!.. Там какая-то мелочь... Жена ваша здорова?

— Здорова, — отвечал отрывисто Сверкалов. — С вами случилось когда-нибудь: взял в руки какую-нибудь вещь — совершенно машинально... Начинаешь ее вертеть в руках и только потом с удивлением спохватываешься: Э! Как эта вещь попала тебе в руки?! Случалось?

— Не помню, — удивился Ликушин. — А что?

— Да так спрашиваю. Кстати, знаете, я скоро получаю от тетки наследство. Так что в деньгах совершенно не нуждаюсь...

В кабинет вошла хозяйка дома и поздоровалась со Сверкаловым.

— Хе-хе! — сказал Сверкалов. — Почему же вы, Дмитрий Павлыч, не расскажете супруге о только что происшедшем забавном инциденте... Представьте, при-

хожу я, — Дмитрия Павлыча нет... Беру совершенно машинально это портмоне, вдруг входит он. Я, от неожиданности, роняю портмоне, и мне сделалось смешно: вдруг Дмитрий Павлыч подумает, что я хотел вытащить содержимое кошелька и был застигнут на месте преступления.

Ликушин внимательно взглянул на Сверкалова.

— Да почему вы придаете такое значение этому пустяку? — медленно спросил он.

— Подумал! — оборвалось сердце. — Раньше не думал и не придавал значения, а теперь после моих бестактных разговоров и объяснений что-то подозревает. Теперь — конец!.. Гибель!

Сверкалов выхватил из кармана бумажник и закричал:

— У меня есть деньги... Вот триста рублей!! Я в чужих не нуждаюсь... Не думайте!.. Не ду-у-у...

Упал в кресло и закатился долгой томительно жуткой истерикой.

Ликушины забегали, схватили воду, терли виски, охали и недоумевали.

IV

За окном был веселый, ликующий праздник: торжественно гудели автомобили, сверкало электричество и тревожно-радостно звонили трамваи, праздная грубую победу над человеком...

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Памяти Марка Твена

I

Недавно один знакомый сказал мне:

— После смерти Марка Твена в печати появилось несколько анекдотов из его жизни. Все газеты перепечатывают их, а читатели покатываются со смеху. Ну и забавник же был этот знаменитый юморист! Читали?

— Не читал. Смешно?

— Да уж так смешно, что мы за животики держались. Вечно он что-нибудь этакое выкинет. Подождите... не

помню ли я? Ну, конечно, припомнил! Например, такой анекдот: к нему очень приставали разные лица с просьбами — дать свой автограф. Он раздавал их направо и налево, но вскоре узнал, что его автографы продаются за большие деньги, служа предметом корыстного торга. Он был так возмущен этим, что одному господину из числа спекулянтов, который обратился к Твену с просьбой об автографе, — ответил письмом, написанным на пишущей машине. В этом письме Твен негодовал на то, что его автографами торгуют, и называл такую торговлю позорным явлением. Хо-хо-хо!

Я терпеливо переступил с ноги на ногу.

— Ну? Ну-ну?

— Да что — ну? вот и все.

— А анекдот-то где же?

— Тут же. Это и есть анекдот.

И он стал хохотать, корчась и размахивая руками в припадке истерического веселья.

Я ушел от него и вскоре встретился с другим знакомым.

— Я думал, — еле сдерживая улыбку, заявил другой знакомый, — что Твен был только юмористом в литературе... Но оказывается, что он был таковым и в жизни. Последний анекдот о Твене, перепечатанный всеми газетами, немало распотешил читателей и доставил им много веселых минуточек. Не слышали?

— Не помню, — подумав, сказал я. — Какой анекдот?

— О его женитьбе! Ха-ха!

Мой собеседник сел на скамью, уткнул голову между колен и весь задрожал от хохота.

— До сих пор не могу вспомнить спокойно! Ха-ха! Влюбился знаменитый юморист в одну девушку и попросил у ее отца руки дочери таким образом: "Вы ничего не замечаете?" — спросил Твен отца. "Ничего", — отвечал отец. "Понаблюдайте внимательней, — может быть, и заметите".

Оглушительный припадок хохота прервал рассказ моего знакомого. Он кашлял, раскачивался и в изнеможении отмахивался руками.

— Да я вас слушаю, — поощрил я его. — Продолжайте.

— Да я и кончил, — отдышавшись, сказал он. — Это и есть анекдот о женитьбе Марка Твена.

Я скромно молчал.

— Однако вы невеселый человек, — обиженно заметил знакомый. — Вас ничем не проберешь. Разве что на вас может подействовать шутка Твена со своим тестем.

Это уж такая вещь, которая даже мертвого заставит расхохотаться. Однажды тесть подарил Марку Твену большой дом. Знаменитый юморист поблагодарил его и прибавил: "Если вам когда-нибудь вздумается приехать к нам погостить — для вас всегда найдется теплый угол".

— Весь анекдот? — осторожно спросил я.

— Весь. Хе-хе! Так и говорит: "для вас, говорит, всегда найдется теплый угол".

— Больше никаких анекдотов о Твене не имеется?

— Есть еще один. Об автографах. Тоже препотешный, признаться.

— Об автографах я уже знаю, — задумчиво возразил я. — Не надо рассказывать. До свидания.

Весь тот день я был задумчив.

— Как это могло случиться, — думал я, — что такой безмерно веселый всемирный юморист оставил после себя такие странные унылые анекдоты? Одно из двух: или они кем-либо выдуманы после смерти Твена, или Твен действительно имел в жизни эти три случая, но ни в одном из них не думал острить, поступая так, как поступил бы всякий другой обыкновенный человек. А кто-то подслушал разговор с тестем, прочел деловое письмо к спекулятору автографами, да и вообразил, что это и есть анекдоты. И записал их. И напечатал. И перевели. И смеются.

Я слишком люблю Твена и чту его память, чтобы оставить покойника с такими вялыми скучными анекдотами.

Я решил придумать другие анекдоты для веселого, остроумного Твена. Я твердо верю, что он заслуживает большего. Мне кажется, что такой бриллиант должен быть в лучшей оправе, чем та — из тяжелых неуклюжих бульжников, — которой его окружили бестактные неумелые почитатели.

Написать несколько анекдотов для меня не стоило большого труда — стоило только порыться в своей памяти и вспомнить все те шуточки, которые случалось мне отпускать в веселой компании. Я твердо уверен, что замной никто не ходил по пятам и не записывал сказанного мной, без чего, все равно, все мои остроты погибли бы для света. А так они, по крайней мере, принесут пользу светлой памяти веселого Твена.

II

Спустя некоторое время после этого в газетах появилась новая серия свежих анекдотов о Твене.

Вот некоторые из них:

По одному источнику

Сидя в одном обществе, Твен потешал слушателей веселыми шутками и анекдотами.

Один из слушателей, позавидовав Твеновым лаврам, заявил:

— Я сегодня тоже сочинил препотешный анекдотец. Вы позволите его рассказать вам?

И он начал рассказывать какую-то смешную историю, но на половине был остановлен Твеном.

— Постойте! Мне кажется, что я смогу докончить придуманный вами анекдот.

И к великому восторгу и смеху публики великий юморист тут же блестяще закончил начатую его завистником историю.

Все были поражены талантливым проникновением Твена в мысли рассказчика.

А Твен застенчиво покраснел и скромно заявил:

— О, это сущие пустяки! Дело в том, что у меня и у него в кабинетах висит отрывной календарь, очевидно, одного и того же издания.

Портрет

Однажды Твен и его приятель совершали загородную прогулку на велосипедах. По близорукости Твен налетел на какой-то предательский камень и покатился под откос вместе с велосипедом.

Его приятель, как завзятый спортсмен, первым делом заинтересовался состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:

— Цела ли рама, дружище?

— Рама-то цела, — отвечал Твен из оврага... — Но зато портрет, кажется, вдребезги!

Самоубийца

Однажды Твена спросили:

— Покушались ли вы когда-нибудь на самоубийство?

— Да, — серьезно ответил Твен. — Единственный раз в жизни. Это было во время моего путешествия по России, — в Москве. Взгрустнулось мне — я и решил.

— Каким же образом вы покушались?

— Я пытался утонуть, прыгнув с Кузнецкого моста.

Вся соль твеновского ответа заключается в том, что "Кузнецким мостом" в Москве называется обыкновенная улица без всякого признака не только моста через воду, но даже и капли какой-нибудь воды.

Разница

Твен несколько раз обещал издателю одной американской газеты написать рассказ, но все время что-нибудь мешало ему.

— Помилуйте, — сказал однажды издатель. — Такой великий человек и вдруг — обманывает!

— Чем же я велик? — удивился Твен.

— Ну да! Вы для Америки были тем же Робинзоном Крузо, который, попав на необитаемый остров, первый возделал и украсил этот остров.

— Ну, между мной и Робинзоном Крузо большая разница, — отвечал Твен, подумав. — У него на всю жизнь был один Пятница, а у меня на одной неделе семь пятниц!

III

Когда вышеприведенные анекдоты о Твене появились в печати, они вызвали общий восторг и удовольствие.

Печатая эти анекдоты, газеты сопровождали их такими предисловиями:

— Неувядаемый юмор в творениях великого юмориста, оказывается, был его спутником и в обычной жизни. Его маленькие шутки, расточаемые в разговорах с друзьями и знакомыми, — настоящие перлы! В них сразу можно узнать незлобивый смех и веселье великого американца. Вот некоторые из этих перлов...

И тут же приводились истории с портретом, календарем, Кузнецким мостом и Пятницей.

Сначала эти похвалы льстили моему самолюбию, а потом мне сделалось обидно.

Все хвалили покойника Твена, а меня никто даже не потрепал по плечу. Ни одна газета даже и не подумала приписать хотя один рассказанный анекдот — мне, как владельцу его и автору.

Я был в тени.

Тогда я пошел в одну редакцию и заявил:

— А ведь анекдоты-то о Твене — это мои. Я их отчасти выдумал, а отчасти некоторые истории действительно со мной случились. Я их и тиснул под маркой Твена. А теперь я не хочу больше. Прошу меня разоблачить в вашей газете!

Но редактор хладнокровно возразил мне:

— Эти анекдоты прославились постольку, поскольку они принадлежали всемирно остроумному великому Твену. А если эти истории случились с вами — никому они не нужны и никто бы их и не напечатал! Подумаешь — кому интересны эти черты из вашей биографии!

— Почему же не интересны? — огорченно спросил я.

— Да потому, что вы никому не известный маленький человек. Когда сделаетесь знаменитым и прославитесь — тогда другое дело...

Я круто повернулся спиной и пошел делаться знаменитым и прославляться. (Между прочим, могу сознаться, что это ужасно трудно.)

IV

Ради заработка я изредка сочиняю анекдоты о великих людях. Так как тратить на этих великих людей лучшие из своих выдумок и анекдотов не имеет смысла (может быть, они мне самому пригодятся впоследствии) — я пускаю в оборот следующие вещи, тем не менее приводящие невзыскательную публику в восторг.

О Суворове

Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдата:

— Как думаешь — побьем басурманов?

— Так точно! — отвечал бойкий солдатик.

Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал:

— Ну, ступай.

*О Петре Великом
и шуте Балакиреве*

Как известно, великий преобразователь никогда не расставался со своей знаменитой дубинкой.

Однажды пуговица с его камзола оторвалась и закатилась под стол.

Великий основатель Петербурга нагнулся, пошарил дубинкой под столом и достал пуговицу.

Находившийся поблизости шут Балакирев спросил:

— Ну, что, Алексеич, нашел пуговицу?

О Гоголе

Однажды великий сатирик пришел к знакомым.

— Какова погода? — спросили его.

— Дождь идет, — отвечал незабвенный творец "Ревизора".

И тут же повесил мокрый плащ на гвоздик.

Вот что я пишу и печатаю о великих людях.

Сам же я, признаться, в частной жизни говорю вещи гораздо более ценные, веселые и достойные всяческого внимания.

Но они так и гибнут бесследно. Что ж...

**ДУРНАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ**

Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.

— Что случилось? — в ужасе спросил муж.

— Сын... Ваня... Горе! Горе наше...

— Заболел, что-ли?

— Нет, не заболел, — сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:

— Вчера еще вечером... ничего не было заметно... Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже... пил чай... Гулял. А недавно... приходит ко мне... часа два тому назад... Не узнаю: глаза так странно блестя и руки болтаются, как на ниточках. Что ты, говорю, Ванюшка?

"Маменька, — говорит он мне... — Маменька! Извините, говорит, меня, но я буду писать драму!"

Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.

— Что-о?!!

Жена покорно и скорбно качнула головой.

— Да, — говорит: "Драму хочу писать". — Ванюшка, — говорю я ему, — Ванюшка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я обер-офицерская дочь, отец в банке служит, а ты... И заплакала! Слезы у меня — кап-кап! Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фамилию нашу позоришь? — "Маменька, — говорит. — Такая уж моя судьба, чтобы написать драму".

Наступила жуткая тишина.

Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.

— Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе...

Он схватился за голову.

— Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за алкоголизм?! За грехи предков... Ха-ха-ха!

Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.

* * *

В маленькой мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.

Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:

— Пишет! Второй акт дописывает!

— Пишет... Возри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь — не ропщу я... Все в руке Твоей!

Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.

— Ванюшка... — простирал к нему руки отец. — Ванюшка! Дитя ты наше разнесчастное!

Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:

— Родителей ваших знаю, достойные люди... А вы, накоса, что выкидываете... Драму пишете!

Молодой человек улыбнулся бледной виноватой улыбкой и попробовал отшутиться:

— Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!

— Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.

Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.

— Глиста чертова! Драму пишет!

— Энтот?

— Он самый. Дармодел, кочерыжкина голова!

— Свистни его камнем. Фьють!!!

— Улюлю!

Под ноги ему полетели камни, палки.

Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно... А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:

— Несчастненький...

* * *

Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах...

Окончив драму, молодой человек завернул ее и, крадучись, пошел в цензурный комитет.

— Что прикажете? — встретил его курьер.

— Драму принес.

— Фу ты, пропасть! А я думал, что... Нечего здесь... Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежда висит, как бы ты не стянул грешным делом.

Он вышел, сел на ступеньках и худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.

Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрятал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:

— Драма?

— Драма!

— Зачем?

— Так.

— Вы сапоги умеете чистить?

— Нет...

— То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете... Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!

* * *

Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и плотники переставлял декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.

Он кротко вынес все это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.

— Чем могу служить? — спросил антрепренер.

— Я вам драму принес.

— Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?

— Поставить бы у вас?

— Да для чего же мы ее будем ставить?

— Другие же драмы вы ставите? — робко спросил молодой человек.

— Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.

— Хе-хе! — заискивающе засмеялся молодой человек.

— Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!

Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.

— Тоже дрянь! Не подойдет.

— Но ведь вы еще не читали?!

— Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка провалится. Савелий, проводи их.

Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.

Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:

— Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! — сказал он, плача. — У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик... Прости нас.

Тот человек, о котором я хочу написать, — не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:

— Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке — это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича... Хе-хе!

В этом смысле мой герой не был типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а может быть, — чрезвычайно, ужасающе стар.

Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас. Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем земли и теперь выползшего на свет Божий дивить и пугать суеверный православный народ.

И еще — я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.

Гржимба был похож на такого слона.

Моя нянька сказала о Гржимбе другое.

Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:

— Что же это такое! Бедненький... Ходит как неприкаянный.

Нянька, да я — мы были единственными людьми, которые почему то жалели дикого, загадочного "неприкаянного" Гржимбу.

А вообще — его все считали страшным человеком.

Когда мне было 10 лет — мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом провинциальном городке на берегу широкой реки.

Однажды мы сидели за утреним чаем и занимались рассказыванием друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.

Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась "почему-то лодка", и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы "почему-то" все в маленьких-маленьких платочках... и "почему-то" они говорили: "идите к нам!"

Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.

— А мне снилось, — густым голосом прогудел я, раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, — мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили меня, чтобы оскальпировать. Но я — не дурак — схватил глобус, да глобусом их. Ого! Убежали да еще томогавки забыли.

Я помолчал немного и равнодушно добавил:

— Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.

Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.

— Пойди открой, — сказала мать. — Я швейцара услала.

Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и... остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.

Машинально я повернул ключ, и дверь распахнулась. Послышалось урчанье, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно-толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.

Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался

мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста. Гора-живот переходила в горю-грудь, которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны. Голову покрывал поношенный цилиндр, и — что меня поразило больше всего — цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком. Точь-в-точь, как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.

— Мальчишка, — хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец. — Есть вино?

— Не знаю... — растерялся я. — Спрошу у мамы.

Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной, сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.

— Что вам угодно? — спросила мать, и по ее тону было видно, что она перепугана насмерть.

— Стакан вина.

— У нас вино внизу... Где общая столовая. Впрочем (незнакомец в это время сердито заурчал)... пойдите вниз, принесите им стакан вина.

Я принес бутылку белого вина и стакан.

Стараясь не подходить к посетителю близко, я издала протянул руки на сколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.

Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.

Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.

Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:

— Жить можно?

— Вы хотите сказать, есть ли комнаты? — робко спросила мать. — Да, есть.

— Где?

— Пожалуйста, я покажу.

Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сза-

ди колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром тупа незнакомца.

— Вот комната, — сказала мать, поворачивая ключ в дверях.

Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.

— Вот тебе раз, — только и нашлась сказать моя бедная мать.

III

Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.

Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.

Оттуда доносилось заглушенное ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.

Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:

— Эй!! Горячей воды и полотенце! Чего вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?

Голова скрылась, и дверь захлопнулась.

Слуга понес ему воду и полотенца и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу в полной темноте и проклинал всех на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.

При появлении слуги он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор главным образом о еде, расспрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить "настоящие порции"? Во время разговора беспрестанно мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и щею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.

— Я очень боялся, — озираясь, говорил нам слуга, — чтобы он не хватил меня по голове мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..

Обед принес матери новые огорчения.

Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуюсь, что это "не настоящая порция".

Дали ему еще.

А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.

Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.

С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.

По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.

Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас... Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и мне казалось, что много лет он уже так бродит с места на место, оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий. Сейчас, среди ночи он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.

— Зачем он обтирает шею мокрым горячим полотенцем? — пришло мне в голову. — Для чего это?

Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.

— А вдруг, — подумал я, — горячая вода остынет и Гржимба умрет?

Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.

"Неприкаянный"... Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?

А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.

Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что

Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хриплое дыхание в коридоре, а утром мать недосчитывалась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.

Коробки из-под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей для коробок у него не было, и он просто голыми пальцами разломил толстые жестяные коробки.

IV

Прошло три дня. Мать все время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.

Днем он съедал почти все, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что-то под нос, и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.

На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила полиции о происшедшем, и в тот же вечер я был свидетелем страшной сцены: явилась полиция — бравая, бесстрашная русская полиция и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного.

К Гржимбе постучали.

— К черту! — заревел он.

— Отворите, — сказал околоточный.

— Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову! Откушу пальцы! Проткну кулаком животы!

— Это я, — сказал околоточный. — Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать...

За дверью послышалось урчанье, брань, и ключ повернулся в дверях.

Два дюжих городских налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату.

В комнате царил абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.

Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.

— Бери его, ребята, — командовал околоточный.

Городовой подлез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул... Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассуждающего, что организованной силе все равно придется покориться.

Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на этого странного, никому не понятного человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.

— Что же с ним делать? — спросил старший городовой околоточного.

— В Харьков! — рявкнул Гржимба.

— Что — в Харьков?

— В Харьков! Отправьте! Туда хочу!

И его увели, — эту тяжелую пытящую гору, окруженную малорослыми победившими его городовыми.

В ту ночь мы с нянькой много плакали.

Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу без папы, без мамы, без ласки — бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, вытаскивают оттуда, причем он безуспешно пытается сопротивляться, и потом его высылают в другой город, как тяжелого, никому не нужного слона... И так бродит из города в город одинокий Гржимба — таинственный осколок чего-то непонятного нам — того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.

Откуда Гржимба? Где он одичал?

Нянька тоже плакала.

ВИНО

I

Литератор Бондарев приехал в город Плошкин прочесть лекцию о современных литературных течениях.

На вокзале Бондарев был встречен плошкинским жителем Перекусаловым — ветеринарным врачом и старым гимназическим приятелем литератора.

Перекусалов так обрадовался встрече с Бондаревым, что от него даже немного запахло вином. Он обнял Бондарева, отошел от него, раздвинул руки и, любуясь издали, со склоненной набок головой, сказал:

— Ах ты свинтус этакий! Эх ты собака! Как возмужал!.. Какой сделался знаменитый! Боюсь, что ты всех тут с ума сведешь!.. У меня остановишься?

— Нет, в гостинице, — пожимая руку Перекусалова, ответил Бондарев. — У тебя жена, дети, и я боюсь стеснить тебя. Приезжай вечером с женой на лекцию.

— Он еще приглашает! Не только я буду, но и инспектор народных училищ Хромов, и Федосей Иванович Коготь, и член управы Стамякин!! И жена Стамякина будет — прехорошенькое создание! Туземная царица красоты! Увидишь — влюбишься в нее, как собака. Вечером после лекции ко мне отправимся — отпразднуем приезд, как это говорится, — столичной звезды! Ах, как я тебя люблю и всегда любил, милый Бондарь!

— Ты уже... обедал? — спросил Бондарев.

— А что? Нет, брат... на дорогу посошок выпил — перед встречей-то. Едем сейчас в отель Редькина. Там уж и пообедаем.

Вечером, читая лекцию, Бондарев видел в первом ряду сияющего, торжественного Перекусалова, рядом с ним краснолицего мясистого человека, оказавшегося, как потом выяснилось, обладателем фамилии Коготь, а еще дальше — маленького хилого Стамякина с женой, которая действительно была на редкость красивой, интересной женщиной.

Все эти люди неистово аплодировали Бондареву, радостно шумели, а Стамякин даже втайне гордился, что близко знаком с Перекусаловым, который в таких дружеских отношениях со столь известным литератором...

После лекции все поехали к Перекусалову ужинать.

II

Сначала гости дичились Бондарева и жались по углам, но когда он рассказал два-три смешных анекдота и какой-то пикантный петербургский случай — все оттаяли.

Обильный ужин, украшенный десятком бутылок с различными этикетками и разнообразным содержимым, окончательно сломал лед.

Все зашевелились, оживились.

Бондарев, сидя рядом с обаятельной Стамякиной, не сводил с нее глаз, подливал ей вина и без умолку рассказывал о Петербурге, о себе, сообщал тысячу смешных, забавных вещей, отчего Стамякина, красиво усмехаясь, придвигалась незаметно к Бондареву ближе и изредка бросала на него из-под трепещущих ресниц сладкий, доходивший до самого сердца взгляд.

— Да ведь она прелестна, — думал Бондарев, оглядывая ее. — Хорошо бы увезти ее в Питер... Фурор бы...

Пили много, но никто, кроме хилого маленького Стамякина, не пьянел. Инспектор Хромов, сидевший сбоку Бондарева, бросал на него восторженные взгляды и все подстергал удобный случай, чтобы вступить в разговор.

Подстергел. И спросил робко, тронув литератора за рукав:

— Как вам приходят в голову разные темы? Я бы думал, думал и целый век ничего не придумал!

— Профессиональная привычка, — благодушно ответил Бондарев. — Мы уже совершенно бессознательно всасываем все, что происходит вокруг нас, — впечатления, наблюдения, факты, — потом перерабатываем их, претворяем и отливаем в стройные художественные формы.

— Да... претворяем... в формы, — засмеялся инспектор. — В хорошую бы форму я бы претворил что-нибудь. Из всех редакций помелом бы выгнали.

Наливая своей соседке вино, Бондарев наклонился немного и шепнул одними губами, как шелест ветерка:

— Ми-ла-я...

Красивая Стамякина закрыла густыми ресницами глаза.

— Кто?

— Вы.

— Смотрите, — улыбнулась тихо и ласково Стамякина, — вы играете с огнем. Я опасна.

— Пусть. Я с детства любил пожары.

— А как вам платят за принятые сочинения в редакциях? — любовно смотря на Бондарева, спросил инспектор. — Авансом или после?

— Большею частью авансом, — улыбнулся Бондарев.

— Мы стремимся вперед и спешим жить.

— По-моему, — заявил Хромов, — нужно бы людей, подобных вам, содержать за счет казны. Ешь, пей на казенный счет, веселись и не думай о презренном металле! Пиши о чем хочешь и когда хочешь... Гм... Или вас должно содержать общество, которое вас читает.

— Это прекрасно, — сказал Бондарев, — пожимая под столом руку соседки. — Но это утопия.

— Конечно, утопия, — подтвердила Стамякина, глядя бондаревскую руку.

— Форменная утопия, — пожал плечами Бондарев, кладя руку на круглое колено соседки.

— Безусловная утопия, — кивнула головой соседка и попробовала потихоньку снять руку, которая жгла ее даже сквозь платье.

— Пусть так, как есть, — сказал Бондарев.

— Нет, так нельзя, — улыбнулась Стамякина.

— Нельзя? — вскричал инспектор Хромов. — А, ей-Богу, можно. Вот, например, где вы, Николай Алексеевич, остановились?

— В отеле Редькина.

— И напрасно! И совершенно напрасно!! С какой стати платить деньги? Милый Николай Алексеевич! Дайте слово, что исполните мою просьбу... Ну, дайте слово!

— Если в моих физических силах — исполню, — пообещал, сладко улыбаясь, Бондарев.

— Милый Николай Алексеевич! Я преклоняюсь перед вами, перед вашим талантом. Сделайте меня счастливым... Бросьте вашего Редькина, переезжайте завтра утром ко мне!

— Да я ведь послезавтра вечером уезжаю, зачем же? — сказал Бондарев.

— Все равно! На один день! Если бы я был богат, я бы построил вам на берегу тихого моря мраморный дом и сказал бы: "Бондарев! Это ваше... Живите и пишите здесь, в этом доме!" Но я не богат и предлагаю вам более скромное помещение. Но от чистого сердца, Бондарев! А?

— Спасибо, — сказал тронутый Бондарев. — Если вам это доставит удовольствие — завтра же перееду к вам.

— Bravo! — восторженно вскричал инспектор Хромов, шумно вскакивая с места. — Господа! Предлагаю выпить за здоровье того светлого луча, который на мгновение осветил нашу тусклую темную жизнь! Ура!

— Ура! — крикнули гости.

III

— Вы должны отказаться от своих слов! — бешено кричал бледный Перекусалов, трясая за плечо красного возбужденного Федосея Ивановича Когтя.

— Нет, не откажусь! — ревел Коготь. — Ни за что не откажусь! Хотя вы меня режьте — не откажусь! Зачем мне отказываться?

— Нет, ты откажешься!

— Нет-с, дудки. Вот еще какой! Не откажусь.

Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали:

— Да бросьте! Чего там... Подумаешь!

— Будто дети какие!..

— Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!

Коготь презрительно вздернул плечами.

— Когда и где угодно!

— Послушай, — сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова. — В чем дело? Чего ты так разъярился?

— Он меня оскорбил, — тяжело задышал Перекусалов. — Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути! Ты, надеюсь, понимаешь?..

— Ффу, как глупо! Надеюсь, это все не серьезно?

— Что?? Ты что же думаешь, что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи: ударом кулака или показанием языков друг другу? Не-ет, брат!.. Я, может быть, запис здесь в глуши, но поставить на карту жизнь — если затронута честь — всегда сумею.

В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него.

— Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?

Бондарев положил ему руку на плечо и сказал:

— Конечно. Я все это устрою. Но, скажи, пожалуйста... чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?

— Нет, не пустяки! Вовсе не пустяки, Бондарев! Я не могу тебе сказать, что именно — мне это слишком тяжело — но не пустяки.

— Хорошо, — серьезно сказал Бондарев. — Тогда — решено! Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях.

Гости стали торопиться домой.

Когда Стамякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.

— Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня — я вас очень прошу — не трогайте меня... Все равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!

— Свинья! — прошептала Стамякина и взяла Бондарева под руку. — Вы не откажетесь проводить меня?

Сердце Бондарева сладко заколотилось.

— Вы... спрашиваете?... Господи!

Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила:

— Вы мой господин! Вы приехали дерзко равнодушный, схватили мою жизнь, как хрупкий орех, и раздавили ее властной рукой. А я-то думала, что моя жизнь — крепкая, крепкая... прочная, прочная... Зачем вы сделали это?

— Настя... Если бы я тебе сказал: уедем со мной, брось все... ты бы бросила? Уехала?

— С тобой? В Лондон, на Луну; умерла бы, если бы ты умирал, плакала бы твоими слезами и смеялась бы твоим смехом...

Она взяла руку Бондарева, поднесла к губам и поцеловала два раза...

— Завтра я буду у тебя, — сказал Бондарев. — И завтра позову тебя. Пойдешь?

— Твоя.

IV

Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал.

— Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси — есть одна точка: микроскопический город Плошкин. И здесь люди, как это ни странно, — другие, и живут они и думают не захолустно: в один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника, и смелую, с большим сердцем, женщину, и человека, готового riskнуть жизнью ради чести... И все это очень красиво и странно!

Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу.

— Извозчик! Знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему!..

— Пожалуйста!

Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его.

— Мужа хотели видеть?

— Да видите ли... — нерешительно сказал Бондарев. — Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того чтобы жить в гостинице. — Я Бондарев.

— Вечно он... — печально качнула растрепанной головой хозяйка. — А разве в гостинице вам нехорошо было?

— Ничего себе... Но ваш супруг так настаивал...

— Охота вам было этого дурака слушать? Разве он что-нибудь понимает? Пригласил! У нас три комнаты всего, повернуться негде — извольте видеть! Вы уж меня извините, но, когда это сокровище вернется, я его съем за это!

— Приятного аппетита! — пожал плечами Бондарев, повернулся и вышел. — Действительно, — подумал он, — идиот какой-то... Очень нужно было принимать его приглашение. Изво-озчик, черт! Свободен? Вези меня к Когтю. Знаешь — Федосеем зовут. Иванычем.

— Господи ж! — высморкался извозчик. — Завсегда.

— С этой дуэлью еще запутался... черт знает, что такое! Если бы не дал Перекусалову слова — сразу бы плюнул на все. А то теперь мотайся, как дурак...

Мимоходом он заехал к какому-то доктору. Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и молча слушал.

— Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность.

Доктор встал, протянул литератору руку и сказал:

— Плюньте!

И ушел во внутренние комнаты.

— Порядки! — размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Когтю. — Тут, пожалуй, и пистолетов не достанешь...

Коготь встретил Бондарева радостно.

— А-а!.. Литератор! Звезда! Садитесь. Чаешки хотите?

— Спасибо, — сказал Бондарев. — Я, собственно, на счет выработки условий...

— Условий? Которых?

— По поводу дуэли.

— Какой дуэли?

— Да вчера же! Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов.

— Юморист вы, — сказал одобрительно Коготь, — вечно у вашего брата заковыки.

— Какие заковыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываетесь от дуэли?

— Вы... в самом деле?

Коготь захохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.

— Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Го-го!

— В чем дело? — закричал Бондарев.

— Вот — голубчик: режьте меня, жгите — буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый... Мы... не дрались?

— Нет, — сухо сказал Бондарев. — В таком случае, прощайте.

Злой, поехал Бондарев к Перекусалову.

Тот еще лежал в кровати.

— Скажи, — спросил сердито Бондарев, — ты помнишь, как вчера вызвал господина Когтя на дуэль?

— Неужто вызвал? — удивился Перекусалов. — За что, не помнишь?

— Это тебе лучше помнить! — закричал Бондарев. — Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли. Как это глупо, как пошло!

— Ты... доктора ездил приглашать? — дико посмотрел на литератора Перекусалов. Закрыв голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.

— О-ой, не могу! О-ой, смерть пришла!

Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.

— На вокзал! Или нет... Постой... Ты знаешь, где Стамякин живет? Вези к ним.

Стамякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза.

— Кого я вижу! Какой вы милый, что заехали!

— Настя! — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. — Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя! уедем со мной...

Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.

— Ответьте мне на один вопрос...

— Спрашивай все, что угодно. Милая!

— Сколько вы зарабатываете в год?

— Зачем тебе? Тысяч пять-шесть...

— Ну, будем благоразумны... Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь... Но что же будет!! Положение всеми уважаемой жены известного в городе человека я перемену на какое-то жалкое, двусмысленное положение — любовницы человека, который ведь может меня и разлюбить. И — что такое 6 тысяч? Мы здесь проживаем восемь, а в Петербурге — чтобы

жить так, нужно двенадцать. Ну, милый... Ну, не сердитесь же! Будьте рассудительны...

— Настя! — закричал в ужасе Бондарев. — Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?!

Она погрозила ему пальчиком.

— Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином.

V

Хотя Бондарев старался уехать из Плошкина незаметно, но провожать его собралась вся вчерашняя компания.

В буфете пили вино. Общество оживилось.

— Милый Николай Алексеич, — сказал любовно инспектор Хромов, — по-моему, несправедливо, что министерство путей сообщения берет с таких людей, как вы, деньги за проезд. Таких людей нужно возить бесплатно, в купе первого класса.

— Эх! — простонал Перекусалов, опуская голову. — Он хоть и вторым классом поедет, но едет на красивую, интересную жизнь. Ах, братцы, если бы вы знали, как я тянусь к красоте!!

— Красота — это страшная сила! — подтвердил Коготь, выпивая залпом вино.

Красивая Стамякина нагнулась к Бондареву, чокнулась с ним рюмкой и шепнула:

— Скажите на прощанье что-нибудь такое, отчего мне было бы хорошо... Что скрасило бы мою глупую жизнь.

— Могу! — громко засмеялся Бондарев. — Господа! Пейте больше! Много пейте! Как можно больше...

ЧУДЕСА

То, что случилось со мной в первый день Пасхи, — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.

Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— Что же?! Что это было?

И молчит завеса.

Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.

Я стоял перед зеркалом во фраке, свежесбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.

Сначала поехал я к Волдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно, все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника...

Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.

Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.

Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.

— Извозчик! — сказал я, подходя. — С Новым годом!

Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:

— Воистину Воскресе!

— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Ляговая?

— Работницкая.

— Бегать умеет?

— Побежит.

У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:

— Прощай брат. Кланяйся там отцу, дедушке.

— Покорниче благодарим. Дед вымер нынче.

Я сочувственно вздохнул и отошел.

Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.

Жена Крамалюхина отказалась христосоваться...

— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.

— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?

— А я все-таки поцелую.

— Не понимаю, право...

Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.

— Ей-Богу, поцелую!!

— Право... мне даже странно...

Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.

— Ого! — сказал муж.

Я залился смехом.

— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и похристосовался!

— Однако, — сказал муж.

— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о "стоит только захотеть"?

— Какой анекдот?

— Я вам расскажу...

Мне пришлось в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:

— В сущности, ведь она замужняя и прекрасно все должна понимать...

И я сказал вслух:

— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится, того, — ну, да ведь и вы хе-хе — не девочка же. Я думаю, — прекрасно все понимаете, а?

Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.

— Странная она какая-то сегодня, — удивился я.

— Это вы ее со своим анекдотом прогнали, — объяснил муж. — Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.

На меня от этих слов сразу повеяло такой непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:

— Почему? Ну, будем, дорогой Илья Ильич, открытеньки хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие, — это простой случай! Конечно, я не говорю...

Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.

— Ильюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.

— Простите, — сказал я. — Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.

— Бывает.

— Уверю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!

Она закусила губу:

— Ну, один театр все-таки открылся.

Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души. Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.

— Это надо выяснить, — сказал я. — Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глупой шутки или чего-нибудь еще похуже. Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.

— Это театр в частном доме, — сказала она, задумчиво отворачиваясь.

— Ах, так?.. А что идет?

— Эта... Сирано-де-Бержерак.

— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьеску (отчего бы мне не посмотреть ее? — подумал я). Слушайте, поедем вместе.

— Это неудобно, — быстро ответила она. — Я по приглашению.

— Пустяки! Я заплачу десять рублей. В пользу там каких-нибудь вдов или сирот. Вот. Получите!

Вынув десять рублей, я пытался всунуть их ей в руку, но она не взяла.

— Стесняетесь от молодого человека деньги получить? — пошутил я. — Явление в наш практический век беспримерное! Ну, прощайте. Не буду вас задерживать.

Я вышел. Так как следующий визит был у меня назначен в книжке "к Ахеевым", я взял извозчика и поехал.

Несмотря на теплый ясный воздух, мне почему-то взгрустнулось.

— В сущности, — подумал я, — к чему это все? Все эти визиты, окорока, английская горькая, христосование? Ведь все равно все умрут. И я умру... И извозчик умрет.

Сердце мое охватила смертельная жалость к этому поноренному, терпеливо сидящему на козлах человеку, который должен умереть, и — ни одна душа о нем не вспомнит. После безрадостной жизни — безвестная смерть!

— Извозчик! — предложил я. — Хочешь я доставлю тебе удовольствие?

— Какое? — обернулся он.

— Хочешь, я тебя покатаю? Ты садись на мое место, а я на твое. Хочешь.

— Нельзя. Обштрахуют.

Мне до слез было жаль этого покорного печального человека.

— На сколько? — спросил я. — Ну, самое большее, на двадцать пять рублей? Так получай их! А теперь — пересаживайся!

Может быть, с точки зрения уличного благоприличия это и было странно, но моральная красота моего поступка искупала какие-то глупейшие уличные правила, и я, без тени смущения, перелез на козлы.

Уличные моралисты, — судите меня!

Я довез извозчика до самого подъезда Ахеевых и, остановившись, слез. И неожиданно в голову мне пришла простая человеческая мысль, центром которой был оправлявший в этот момент сбрую извозчик.

— Извозчик, — подумал я, — такой же человек, как и другие... Почему я могу войти к Ахеевым, а он не может? Потому что на нем грубый армяк и что он крестьянин? А Кольцов? А Никитин? И я спрошу их прямо: вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Уговорить извозчика стоило мне больших трудов. Наконец он согласился, и я, демонстративно обвив рукой его шею, чтобы еще больше подчеркнуть равенство наших положений, вошел с ним к Ахеевым.

У них были гости: какой-то старец и толстая дама.

— Здравствуйте! — сказал я громко. — Христос Воскресе! Вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Остановившись посреди комнаты, мы с извозчиком внимательно следили за выражением лиц хозяев.

— Отчего же, — сказал Ахеев. — Теперь такой праздник, что мы всякому рады. Садитесь.

— Не бойся, милый, — дружелюбно толкнул я извозчика в спину. — Садись. Я знаю, что у этих добрых людей слово не расходится с делом. Дайте моему другу извозчику стакан коньяку.

И так как я решил идти до конца, то попросил:

— И не какой-нибудь дрянн, а лучшей марки. Он такой же человек, как и мы.

Извозчик принялся за еду и питье, а мы сидели и молчали. Смотрели на него...

Но было скучно. Я это чувствовал.

— Отчего вы все такие скучные? — спросил я. — В жизни так мало радости, что смех и веселье нужно изобретать.

Толстая дама улыбнулась.

— Посоветуйте, что делать. А мы уже повеселимся.

— Итальянцы любят шутки, мистификации, — сказал я, — а мы не любим. Давайте сделаем какую-нибудь мистификацию!

— Какую?

Я обвел глазами стол.

— Можно устроить мистификацию для визитеров. Смотрите: вино из бутылок можно вылить — заменить уксусом, сырную пасху посыпать солью и перцем, в окорок, вместо гвоздики, натывать маленьких гвоздиков, а кулича выдолбить внутри и насыпать туда земли с цветочных горшков и окурков.

Я расхохотался.

— Вообразите их удивление, когда они начнут есть и пить. Ха-ха! Я вам сейчас это все устрою.

— Да не надо, — сказал Ахеев.

— Почему же не надо? Надо. Вы увидите, как это будет превесело.

Я опрокинул цветочный горшок и, высыпав землю, стал поливать ее мадерой.

Произошла глупейшая сцена: хозяин вырвал у меня бутылку и бестактно крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Почему? вы же просили... мистификацию...

Он вырвал у меня кулич, верхушку которого я успел уже снять, и крикнул:

— Убирайтесь вон!

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы сумасшедший! Я же вас не трогаю!

— Пойдем, — сказал извозчик.

Я посмотрел на лицо хозяина, который, казалось, готов был перервать глотку за какой-то кулич и початую бутылку скверной мадеры, — и мне сделалось противно сидеть среди этих людей... И мучительная, тяжелая тоска охватила мою душу.

— Жалкие вы черви! — с отвращением сказал я. — Идем, мой друг. Ты еще не сыт? Эй, вы! — надменно продолжал я. — Я беру у вас эту колбасу, жареную курицу, бутылку коньяку и графин водки. Не беспокой-

тес — плачу. Человек с душой торгаша! Получите двенадцать рублей... Ха-ха! Сдачи не надо.

Вконец уничтоженный хозяин и гости не смели посмотреть мне в глаза. Хозяину, очевидно, было смертельно неловко за свой бестактный поступок с куличом.

Мы подошли к пролетке, и я разложил на сиденье собранные с собой припасы...

— Ешь, извозчик, пей. А я посижу около лошади, постерегу, чтобы ее не украли конокрады.

В то время в городе свирепствовала шайка конокрадов, и поэтому моя боязнь этих дьявольски хитрых людей была небезосновательной.

Извозчик пил коньяк прямо из бутылки, а я сидел у ног лошади, глядел на него и думал:

— Вот кто никогда не покинет меня! Из таких именно самородков, черноземных людей и выходят честные старые преданные слуги.

Будущее показало, что я не ошибался.

— С визитами я не поеду! — сказал я сам себе.

— Пора уже прекратить этот глупейший обычай.

О, традиции, всосанные с молоком матери! В душе все-таки было смутное неопределенное чувство боязни, что знакомые обидятся, если я о них не вспомню. Но этому горю можно было помочь.

Мимо проходил рассеянный сосредоточенный человек без шапки. Я остановил его.

— Милый! Вот тебе записная книжка... Сделай по ней, вместо меня, визиты. Тут у трех я уже был, а у остальных не был. А это тебе за труды. Двадцать рублей. Довольно? Скажи, что я, мол, кланяюсь... Не забудешь?

Он молча взял деньги, книжку и ушел. Будто гора свалилась с моих плеч.

Солнце склонялось к закату. Какая-то тихая, неопределенная грусть вползла в душу. Мы сидели с извозчиком у колес пролетки, и каждый думал о своем.

— Спой мне, — тихо попросил я, очнувшись, — что-нибудь тихое, душевное, отчего бы душа сладко и больно сжималась.

Извозчик послушно открыл рот и запел. Глухие надтреснутые звуки выходили, разливаясь в предвечернем

воздухе. Но вот они окрепли, зазвенели — и полилась широкая безудержная русская песня.

— И-и-э-э-ух — ха! га-а-а, — пел извозчик, и тихо припал, притаился истомленный солнцем воздух.

— Кто здесь песни орет? А? Отчего ты не на козлах? — раздался сверху чей-то грубый голос. — В участок захотел, полосатый черт.

Мы вскочили.

Перед нами стоял грубый, с красным лицом, городской и махал кулаком.

— Вы кричать не имеете права, — возразил я. — А если вы оскорбили моего товарища, назвав его полосатым чертом, то он выше этого. Стыдно ругаться! Вы себя этим унизили, а не его. Сами вы полосатый невыносимый дурак!

— А-га-га! — завопил городской. — Ругаться? Пойдем!

Я вырвался из его рук, ударил его кулаком в лицо, отчего он упал, отбежал в сторону и крикнул своему другу извозчику:

— Спасайся! Бежим! Против нас целый заговор — я все понял! Держись около меня.

И мы побежали.

На нашем пути встретилась какая-то церковь.

— Храм Божий! Сюда! — скомандовал я. — Здесь мы в сравнительной безопасности.

— Пойдем на колокольню, — предложил извозчик.

— Прекрасно! Беги вперед!

Колокольня была открыта. Мы вбежали по узкой лесенке и захлопнули за собой обе двери. В глазах моего спутника горело мужество, а его беззаветная храбрость ободряла и меня, усталого, измученного...

— Часов пять мы здесь продержимся, — сказал я. — А там придет подмога. Мои молодцы не дремлют.

Мы залегли на колокольне.

Я отламывал кирпичи, на случай защиты от неожиданного нападения, а мой верный извозчик схватился за язык большого колокола и, раскатав его, зазвонил тревожно и громко.

— Надо бы так устроить, — посоветовал я, — чтобы наши друзья услышали эти призывные звуки, а враги не догадались, где мы.

Извозчик обещал приложить к этому все усилия и зазвонил еще громче. Я выглянул в амбразуру окна.

— Идут! Борись, брат! Мужайся.

Мы поцеловались, схватили кирпичи и осыпали ими черную толпу врагов; глухо шумевшую внизу.

— Сдавайтесь! — крикнули они.

— Ни за что! — отвечал я, высовываясь. — Лучше смерть, чем позор.

Извозчик прищурился и бросил в них кирпичом; потом сел под колокол и сразу, как мертвый, уснул.

— Борись, Петя, — посоветовал я, прилег у окна и положил голову на какую-то скамеечку.

Что было дальше — не помню.

Если бы все случившееся произошло глухою ночью, когда осенний ветер дует в трубы и темные силы справляют свой дикий шабаш, туманя и мороча человека, сбито-го ими с толку, — это еще было бы допустимо.

Но как могло случиться среди бела дня то, что рассказано выше, я до сих пор не могу объяснить.

И стоим мы теперь с моим другом извозчиком, недоумевающие, с пальцами, положенными на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— За что? На два месяца? За что же, Господи?

ПЕТУХОВ

I

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да, — опустил веки, согласилась соседка. — Очень. В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной, — вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся? — с легким стоном спросил Петухов. — Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет, — усмехнулась брюнетка. — Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

— Ага! — вскричал Петухов. — О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю — за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, — и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакое какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и — согласишься, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! "Как жарко", — говорит он. "Да, — простодушно отвечаешь ты. — В горле пересохло..." — "Не желаете ли стакан лимонаду?" — "Пожалуй..."

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля, — простонал он. — Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже — негодяй! — при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена. — Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позвольте быть вашим кавалером?

— О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно. — Как мне хорошо...

— Тссс... — улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. — Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...

— "Вообще" — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

.....

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полупознакомым прохожий. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

— Ты... в своем уме?

— О-о, — горько засмеялся Петухов, — к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он — не будь дурак — сейчас тебе: "Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать". Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

— Не согласишься... "Я, — скажешь ты, — замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!" Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин, — ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

— Спите? — прошептал он. — Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия — они утомляют!!

— Милый, что с тобой? Ты бредишь?

— Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретила с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать — это, брат, последние жалкие остатки прежнего

голоса добродетели, последняя, никому не нужная борьба...

— Саша!!

— Что там — Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

— О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю беспечность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты — чистая, добродетельная женщина только и находишь в себе силы, что вскричать: "Боже, но ведь сюда могут войти!" Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот — гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватаящим за душу голосом.

V

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

— Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, — чтобы он написал тебе коротко и ясно: "Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса — это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и — не буду скрывать — даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!"

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

СЛУЧАЙ С ПАТЛЕЦОВЫМИ

Что может быть хорошего
из Назарета?

Глава I

Ключи

Однажды летом в одиннадцать часов вечера супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры — и ругались.

— В конце концов, — бормотал Патлецов, — это даже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине, и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее!..

— Молчал бы лучше, — угрюмо отвечала жена, — уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся:

— В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе, — обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как ничего другого поблизости не было, — представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне дверей. Как вам это покажется?

Солидный столбик от перил даже не улыбнулся, храня полное молчание, свойственное субъектам этого типа, а Патлецов, стремясь излить душу, не смутился молчанием собеседника и продолжал:

— И представьте, чем эта женщина оправдывается?! А вы, говорит, картежники! Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

— Скажи: чего ты от меня хочешь?

— Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру?

Жена задумалась.

— Это ты виноват! Ты отпустил прислугу до завтра — ты и виноват. Если бы она была внутри, она бы открыла нам.

— Видели? — обратился к своему единственному другу столбику Патлецов и заскрежетал зубами... — Я виноват, что отпустил прислугу?! А она ее нанимала — значит, она и виновата! А какой-то глупый англичанин избрал английский замок, он и виноват?!

— Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж, — возразила жена. — Если бы не вышла — ничего бы и не было...

— Что? Как вам это понравится?..

Если бы у столбика было какое-нибудь отверстие сверху — он зевнул бы им. Так все это было скучно...

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично; за второй проект автор его удостоился одного только краткого слова:

— Ду-рак.

— Ну что ж, — кротко улыбнулся Патлецов. — Если я дурак, а ты умная, придумай сама выход. А я вздремну...

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

— Ты чего?

— Мне страшно. Ступай за слесарем.

— Да какой же слесарь в двенадцатом часу. Все честные слесаря спят...

— Бери хоть нечестного. Мне все равно!

Муж улыбнулся:

— Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками, он бы оборудовал все это моментально.

— Поймай вора.

— Что ты, милая... Как же это так: поймай вора!.. Что это, блока на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир "Назарет", пользовавшийся самой печальной, скверной репутацией. Го-

ворили, что в трактире гнездились разные темные личности, жулики не у дел и карманщики, проживавшие здесь дневную добычу.

Сначала то, о чем думал Патлецов, показалось ему неимоверно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

— Во всяком случае, — усмехнулся про себя Патлецов, — это оригинально и, во всяком случае, никакого другого выхода, кроме гостиницы, которую эта дура отвергает, нет!

Он сказал жене, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава II

"Назарет"

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную, липкую дверь.

На первый взгляд в "Назарете" не было ничего страшного: за столиками сидели легковые извозчики, истерзанные мастеровые и женщины, такие дешевые, что две из них равнялись по стоимости — порции рубленых котлет.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему:

— Не могу я навести у вас справочки?

— Ну? — сурово и подозрительно кивнул головой одноглазый.

— Мне нужен слесарь. Нет ли здесь между вашими... гостями слесаря?

— А вам для чего такого?

— Ключи от дверей потерял. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

— Бог их знает... Все они слесаря, так или иначе. Ходят тут всякие.

— Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

— Вон туда идите, — ухмыльнулся буфетчик. — Видите, в уголку роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возьмутся. Мне-то что!

В уголку сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя — Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

— Да вам что нужно, господин? — с каким-то неискренним удивлением спросил Зря, самый старший.

— Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

— Да мы всегда честно рубли зарабатываем, — с болезненным самолюбием вора заворчал Аркашенька.

— И прекрасно! Мне нужен слесарь... Ключи я от дверей забыл. Так — открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

— Не занимаемся.

— Как же так? А мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой бритый парень, с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

— Да как же так — ночью, идти в чужую незнакомую квартиру, отмыкать какие-то двери — Бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

— Да я хозяин квартиры! — загорячился Патлецов. — Понимаете — хозяин! И я вам разрешаю... Мало того — я даже прошу вас об этом! Вы меня выручите...

В практике трех друзей это был редкий, смехотворный случай, — когда хозяин сам давал разрешение на то, что они делали всегда с душевной тревогой и тайным трепетом.

Тем не менее Зря и Аркашенька отказались от предложения категорически.

— Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?!

— Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? — спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

— Заперто все уже! Господи! А мне сказали, что тут в "Назарете" можно найти этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру? Мы бы с женой вам были очень благодарны... Чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что

этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебание раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

— Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава III

Мишка Саматоха

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

— Нашел! Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в суконке были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический лязг. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил на подоконник суконку и развернул ее.

— О-ой, что это? — с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, — зачем так много?

— Инструменты, сударыня, — снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. — Разные тут.

— А это что?

— Это английский лобзик, — стал объяснять польщенный вниманием Мишка. — Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

— А зачем, чтоб не слышно? — спросила жена.

Патлецов и Саматоха перебросились быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

— Это, изволите ли видеть, американский ключ — последнее слово техники — со вставными бородками: можно вставить какую угодно... вот набор бородок... Это обыкновенные отмычки, к сожалению, не полный набор, — всего двенадцать штук...

Невыносимые алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста... Он вертелся, шелкал пальцами по синеватой стали, гремя отмычками, с увлечением объяснял достоинства новой системы буравчика перед прежними и умилялся до слез, когда госпожа Патлецова робко

дотрагивалась тоненькими холеными пальчиками до странных, таинственных приборов.

— Ну, а как же вы откроете нашу дверь? — спросил Патлецов. — Этим, что ли?

— Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворней и с блеском. Он улыбнулся госпоже Патлецовой, вынул маленький крючок, как фокусник, показал его публике, засучил рукава и принагнулся к замку.

— Только он не будет уже больше годиться, — предупредил он, — ничего? Английские замки, видите ли, нужно сломать снаружи, чтоб открыть...

— Все равно, — нетерпеливо сказал Патлецов. — Лишь бы попасть нам домой.

— Слушаю-с.

Послышался треск... Саматоха с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание глядевшей на его работу с любопытством госпожи Патлецовой.

И сам Патлецов был неизмеримо заинтересован.

Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

— Пожалуйте-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:

— Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один... Он, насвистывая, занялся складыванием своих принадлежностей, любовно осматривал их, дышал на них ртом и потом чистил тусклый металл рукавом потертого пиджака.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась, и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городской.

— А-ах! — крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

— Вот что, милый мой, — строго обратился к нему Патлецов. — Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком опасная персона, чтобы оставлять тебя на

свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного... Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении... Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом — благодарю покорно! Да я ночей не буду спать...

.....
Когда молчаливого Саматоху уводили, он уже не старался гушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

АРГОНАВТЫ

I

В то время я стоял во главе одного сатирического журнала и по обязанности редактора мне приходилось ежедневно просматривать уйму рукописей, присылаемых со всех концов.

Произведения, которые присылались авторами с прямой и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, были в большинстве случаев удивительными образчиками российской безграмотности, небрежности и наивности. Мотивы присылки рукописей были по большей части одни и те же, и излагались они всегда в начале препроводительного письма:

— "Говорят — попытка не пытка... Поэтому посылаю, в надежде, что" ... и т. д.

— "Не имея средств к существованию, решил выступить на поприще литературы и поэтому посылаю" ... и т. д.

— "Не Боги горшки обжигают, а поэтому прилагаемые стихи прошу напечатать"...

— "Будучи обременен многочисленным семейством, хотя и дьякон, хотел бы подработать на стороне, стишками или чем"...

— "Ввиду того, что все знакомые находят мои произведения недурными и даже великолепными, я посылаю их вам для печати. Гонорар — на ваше усмотрение"...

— "Очень бы хотелось видеть себя в печати. Поэтому посылаю стишки и, если поместите, со своей стороны обещаю способствовать художественному и литературному успеху издания".

А стихи были такие:

Скоро вспомнил я зимнее время,
Как гулял с тобой по горам,
Кругом снег, пелену расстилая,
Не давал нам гулять по горам.

Так что автор, даже при самом сильном, искреннем желании "способствовать литературному успеху издания", не мог этого сделать...

Однажды среди всего этого потока вздорных рассказов, безграмотных стихов и нелепых претензий мое внимание остановило письмо из каких-то Степанцов, сопровождавшее стихи. И то и другое было так удивительно, что я расхохотался, позвал сотрудников, секретаря и прочел послание из Степанцов еще раз.

Вот какое оно было:

"Мы — я и брат — пишем вам об этом. Наша цель не столь строиться к славе своих ранних творений, сколько в получении авторитетных анализов наших с братом недосугот, что открыло бы нам альтернативы сокровищ в литературных подвигах грядущих сочинений. Мы с братом встречаем в наших юных корпусах моментов много невыносимых — даже до боли приведших дефектов, что много повредило нам в плавном сообразовании со всей литературной корпорацией. Мы запоздали. Но ничего! Нам еще нельзя упускать листву на безнадежное высушение и неозеленение. К сожалению, правоучительной использованности в Степанцах нам не найти. Так что посылаем с братом свои произведения, и ежели ваш уважаемый журнал отнесется к нам инертно и напечатает — то посвятим свою жизнь великой литературе поэтических сообразований... Ответьте в "почтовом ящике" под фирмой "Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов".

При письме прилагались стихи обоих братьев, причем Абрам, обладавший, очевидно, пылким сангвиническим темпераментом, писал так:

СТИХИ

Тебя безумною любовью любя,
Готов отважиться на подвиг я опасный,
Но если ты обманываешь меня,
То знай, что мститель я ужасный!
Как ягуар, я кровожаден, зол,

Тебя я буду мучить пыткой смертельной,
Потом, вонзив в сердце тебе топор —
Расчет покончу с жизнью твоей изменной!!

Меланхолик Бенцион был прямой противоположностью своему порывистому брату... Тона у него были элегические, нежные, и даже стихи так и назывались: "Элегия".

Ты пела в сладостном томлении:
"Милый мой, люблю тебя!"
Внимали сим речам в сомненьи
И звезды, лес, шептавшийся с природой...

Теперь же все прошло... на век...
Нет больше этих чудных снов,
И так исчезнет всякий человек:
Бесследно также, как все это.

Письма и стихи очень потешили секретаря и сотрудников.

— Какой же вы ответ дадите этим чудакам? — спросил секретарь.

— Увидите, — рассмеялся я.

На другой день я ответил в "почтовом ящике" в ряду других юмористических шуточных ответов неудачникам пера и карандаша — и братьям Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов:

— "Братья писатели! Приводим ваши стихи, представляя их на суд публики... Очень талантливо! Я думаю, все согласится с нами, что самое лучшее для вас — это забросить ваши степанцовские дела и приехать в Петербург, чтобы такие гениальные дарования развивались и совершенствовались в благоприятных условиях. Довольно ли вам по 500 рублей в месяц заработку?"

В ближайшем номере журнала "почтовый ящик" был напечатан, и журнал разлетелся по всей необъятной России, вплоть до безвестного м. Степанцов.

II

Однажды, когда я, сидя у себя, просматривал последнюю корректуру, мне сообщили:

— Вас на лестнице спрашивают каких-то двое.

Я вышел.

На площадке лестницы действительно стояли два худых грустных господина, обремененных чемоданом, парой подушек и какими-то коробками и сверточками.

— Что т-такое? — отшатнулся я в удивлении. — В чем дело? Вы, вероятно, не ко мне?

— Ну, если вы редактор, так к вам, а если вы не редактор — так не к вам, — сказал, дружелюбно улыбнувшись, старший человек.

— Мы прямо к нему, так сказать, к редактору, — подтвердил господин помоложе.

— Кто вы такие?

— Конечно, он нас не узнал, — обернулся один к другому.

— Конечно, раз они нас никогда не видели. Хе-хе! Мы братья. Братья Самуйловы. Он Абрам, а уж я — так Бенцион.

— Что же вам от меня угодно?

— Смотрите! — сказал Бенцион. — Этот человек так занят, что даже все забыл. Мы же из Степанцов, которые стихи вам присылали, а вы еще написали — приезжайте — можно склеить гениальное дельце.

Бенцион толкнул Абрама в бок, и тот одобрительно, полный радужных перспектив, захохотал.

Я похолодел.

— И вы потому, что прочли мой ответ в почтовом ящике, — потому и приехали?!

— Ну конечно, — кивнул курчавой головой Абрам. — Зря на что мы бы не поехали... А так — отчего же!

— Сделайте милость! — подтвердил Бенцион.

Я стоял бледный, растерянный.

— Где же вы... остановились?

— А нигде. Прямо, как с вокзала, то — к вам. Стихов привезли — кучу! Три недели писали.

— Ну хорошо... заходите через... четыре дня. Я подумаю.

Братья схватили свой чемодан, подушки, взяли за руки и послушно повернули к дверям.

— Пойдите, — остановил я их. — А деньги-то у вас пока есть?

— Абрам, — с любопытством обратился Бенцион к брату, — а деньги у нас пока есть?

Тот полез в карман.

— Есть. Рупь с мелочью. Билеты стоят, извините, до черта дорого. Ну, мы как-нибудь пока.

— Пойдите! — нетерпеливо вскричал я. — Нате вам, пока, а там увидим.

— Зачем? — удивился Абрам. — Ведь мы же еще не заработали.

— Это так принято — называется: аванс. Берите!

— Называется аванс, — подтвердил Бенцион. — Бери, Абрам. Отработаем!

Они застенчиво взяли деньги и ушли, а я весь день чувствовал себя в глупом положении неопытного, потерявшегося спирита, который вызвал духов, а что с ними делать — не знает...

Когда я рассказал в редакции об этом случае — весь день во всех углах стоял гомерический хохот.

III

Братья пришли ровно через четыре дня.

— Здравствуйте, — сказал Бенцион. — Как поживаете? Нечего сказать — большой город Санкт-Петербург. А?

— Нечего отнимать время у них, — перебил его деловым тоном Абрам. — Вынимай стихи!

Оба, как по команде, вынули из карманов по пачке стихов и положили передо мной.

— Эти еще лучше, чем те, — сказал Бенцион.

— Ого! — захохотал Абрам, подталкивая ободрительного брата в бок. — Гораздо более!

Я развернул одну пачку, с тайной бессмысленной и беспочвенной надеждой — найти в ней что-нибудь мало-мальски годное для печати.

Первое стихотворение начиналось так:

Будет осень, но будет не время,
Скажут: милый знакомиться с ней,
С той красивой, пухлявой девчуркой.
Чей глазки печальны, как ночь!

— Хорошо, — нерешительно сказал я. — Зайдите через неделю. Мы их прочтем, посоветуемся.

— А? — торжествующе вскричал Абрам, подмигивая Бенциону. — Уже нас читают! Уже об нас советуются. Недурно, а?

— У вас еще есть деньги? — спросил я Абрама.

— Есть, — отвечал он, — но по лицам братьев я видел, что денег у них нет.

Чтобы не слышать возражений, я сказал:

— Получите деньги! Это так принято. Всякий писатель, давая вещь для печати, еще раз получает аванс.

— Хорошее дело быть писателем, — удивился Бенцион. — Какой дурак Гришка Конухес, что он сидит в своей галантерее! Что такое, я спрошу вас — галантерея в Степанцах?.. Ха-ха!

Они раскланились и ушли, а я схватил сам себя за волосы и заскрежетал зубами.

Через неделю они опять пришли, взявшись под руку, сияющие, полные самых радужных надежд.

— Ну?

— Пока ничего, — пожал я плечами. — Деньги у вас есть?

— Нет, — покачал головой Абрам. — Деньги мы у вас больше не возьмем. Мы узнали: таких правил нет — чтобы деньги брать, да брать, а что же дальше?

Опустив голову, Бенцион тихо добавил:

— Ну, нам некоторые тут знакомые сказали, что стихи наши не такие гениальные, как мы думали.

Сердце мое сжалось.

— Ну что вы! Стишки ничего себе, да только...

В это время у меня сидел заведующий нашей конторой — грубоватый, мрачный старик.

— Да что, в самом деле, — стихи да стихи! Стихов у нас и так — хоть залейся!.. Вы бы лучше объявление хорошее принесли.

— Объявление? — удивился Бенцион. — Какое?

— Публикацию от какой-нибудь фирмы для нашего журнала. А то стишки — эка невидаль!

Братья стояли молча. Вздохнули и дружно сказали друг другу:

— Ну, идем.

— Ну, идем.

— Возьмите еще аванс, — крикнул я, хватая Бенциона за руку.

Он деликатно высвободился и ушел.

IV

Однажды, когда я сидел, полный черных мыслей о своем легкомысленном поступке и о судьбе исчезнувших братьев, ко мне постучались.

— Ну? Кто там?

— Извините, — сказал Бенцион, протискивая вперед Абрама. — Мы еще раз к вам. Вот: не надо ли?

Протиснутый вперед Абрам положил мне на стол какую-то бумагу и застенчиво отскочил. Его место занял Бенцион, положил какую-то бумагу и, глупо улыбаясь, тоже отскочил.

— Еще стихи, — усмехнулся я про себя и робко заглянул в подsunутые мне бумаги...

— Что это?

— Объявления, — ухмыляясь, сказал Бенцион. — Вы хотели иметь объявления, так мы вам достали. Он — табачная фабрика, а я — корсеты и "друг человека — желудок".

Фирмы были солидные. Я позвал заведующего конторой и дал ему принесенные объявления.

— Молодцы! — похвалил их старик, будто они именно и сделали то, что от них требовалось. — Так и надо! Тащите еще. Принесли вы, приблизительно, полтора ста двойных — значит, следует вам около 22 рублей, что ли. Хотите получить?

Глаза Абрама сверкнули голодным огоньком, но он потушил его и, опустив голову, сказал:

— Мы должны.

— Должны, — как эхо, подтвердил Бенцион. — Ой, мы еще много должны!

— Пустяки. Это был аванс, — усмехнулся я. — Выдайте им. После сосчитаемся.

Братья просияли, подтолкнули друг друга, засмеялись и вышли вслед за стариком.

Я чувствовал себя на седьмом небе.

V

Изредка я навел в конторе справки об удивительных братьях Самуйловых. Мне сообщили, что сначала они показывались редко, объявления, очевидно, давались им туго, но потом — способности экс-поэтов развернулись пыльным цветком.

Однажды, зайдя в конфектный магазин, я имел случай наблюдать братьев на их трудной, неблагодарной работе.

Не замечая меня, Бенцион стоял перед старшим приказчиком и убежденно говорил:

— Реклама есть двигатель торговли. Ни одна копейка, брошенная на рекламу, не пропадет даром. Все солидные фирмы сознали необходимость широкой рекламы, тем более в таком распространенном журнале, как...

— Мы никому вообще не даем объявлений, — сказал приказчик. — Наша фирма не публикуется.

Он ушел за перегородку, а Бенцион развел руками и обратился к продавщице:

— Помилуйте! Реклама — это двигатель торговли... Копейка не пропадет! Все солидные фирмы, которые коммерческие...

Барышня улыbnулась и занялась каким-то покупателем. Абрам взял за пуговицу господина в пальто и сказал:

— Вы не можете себе представить преимущества рекламы! Это двигатель торговли, и я удивляюсь...

— Да я покупатель! — сказал господин. — Ей-Богу, мне нечего рекламировать.

— Нечего? — удивился Абрам. — Очень жаль!

Он увидел меня и радостно поздоровался.

— Здравствуйте! Поймите, пожалуйста, что всякая коммерческая фирма, понимающая рекламу как двигатель торговли...

— Это вы не мне объясните, — засмеялся я. — А им.

— Я им уже объяснял... Чудаки! Не понимают... Имейте в виду — каждая копейка, потраченная на рекламу...

Мы все втроем вышли из магазина.

Я простился с ними, сел на извозчика и, уезжая, расслышал, как Бенцион говорил Абраму:

— Вы понимаете, что разумно данная реклама, которая есть двигатель торговли, должна оправдывать каждую истраченную копейку...

VI

Недавно я получил записку без подписи, гласившую:

— "Если бы вы приехали сегодня вечером к Контану, то это было бы очень хорошо. А если бы вы спросили там, где кабинет номер двенадцать? — то это было бы еще лучше... Не кушайте много за обедом. Ну? Приедете? Приезжайте..."

Я усмехнулся и решил поехать.

В кабинете, как и можно было предполагать, находились братья Самуйловы. Увидев меня, Бенцион подтолкнул локтем Абрама, засмеялся и воскликнул:

— Он таки приехал! Он выпьет с нами рюмочку-другую шампанского за всеобщее процветание и за альтернативы сокровищ в литературных недосугах. Вы, может быть, думаете, что сделали глупость, выписав нас для работы в журнале? Позвольте вас удостоверить, что глупости здесь не было ни малейшей... Мы, ей-Богу, катаемся, как какие-нибудь сыры в маслах.

— Ого-го! — одобрительно сказал Абрам. — Этот редактор знает, что он делает. Он с расчетом делает.

Я засмеялся и крепко пожал повеселевшим братьям руки.

И начался наш веселый пир...

Хорошо пить, когда небо безоблачно.

СМЕРТЬ ДЕВУШКИ У ИЗГОРОДИ

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издегнанную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову.

А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет пипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще — и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей неперемным условием — не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

— А кем же ты будешь считать меня?

— Я буду считать тебя существом выше человека, — предложил я, — существом особенным, недостижимым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама — какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

— Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

— Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, — это вздор. Просто мы разные — и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом — ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

— Ну, поцелуй меня, — сказала женщина.

— Это можно. Сколько угодно.

Мы поцеловались.

— А ты меня будешь уважать? — спросила она, немного помолчав.

— Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз — когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

— Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности — кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

— Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубоко-мысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится, — сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

"Выдумая-ка я для них башмаки", — решил в пылу своей работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

"Гм, — думает этот человек, — башмак, хорошо-с!"

Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и — бедная, доверчивая, обманутая женщина обута.

"Ничего, — злорадно думает этот грубый таинственный человек. — Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра".

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.

"Носи, носи! — усмехается суровый незнакомец. — Я тебе и шляпку выдумую. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит".

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то "Институте красоты". Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

— Вот, — сказала мне продавщица, — модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

— Что это?

— Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.

— А есть у вас клей, — спросил я с тонкой иронией, — для приклеивания на место выпавших волос?

— На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

— Благодарю вас, — холодно сказал я, — я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

Живя у меня, городская женщина проводила время так.

Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невиноградный сезон, то что-нибудь другое — плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.

— Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды.

— Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.

— Зачем ты ее купил?

— А что?

— Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!

— Ну, еще что?

— Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.

— В чем?

— В этом.

Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

— Луша, — спрашивала горничную жившая у меня женщина, — зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

— Он не заходил.

— Ступайте.

— Это еще что за штуки? — кричал я сурово.

— Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

— Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

Недавно я пришел к ней и сказал:

— Ну вот я и разлюбил тебя.

— Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!

— Мне не нравятся городские женщины, — откровенно признался я. — Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблучках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания соринки из глаз!

— Ну, поцелуй меня, — сказала внимательно слушающая меня женщина.

— Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

— И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что, кроме него, и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю — толпой побегут.

— Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.

На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опирающуюся на изгородь...

Я упал перед ней на колени и заплакал:

— Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

— Встаньте. Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.

— У меня было прошлое. У меня была женщина.

— Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне — у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:

— Не надо, не надо!

Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил, — с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накапливали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.

— Она здесь? — неожиданно спросила меня моя спутница.

— Кто — она?

— Эта... твоя.

— Зачем ты меня это спрашиваешь?

— Вдруг вы будете с ней встречаться.

— Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом — это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.

— Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?

— Да так просто.

— Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!

Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.

— Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.

— Зайдем. И мне нужно кое-что.

В магазине она спросила:

— У вас есть маленькие кружевные зонтики?

Я побледнел.

— Милая... зачем? Они так неудобны... лучше большой.

— Большой — что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках... не те, выше, еще выше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала

изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes¹

Девушка отошла от изгороди и — умерла.

МАЛЬЧИК С ЗАТЕКШИМ ГЛАЗОМ

(О критиках)

Критиков мне приходилось встречать с самого детства.

Будучи семилетним мальчиком, я однажды прыгал по двору, подбрасывая в то же время камушек и стараясь после каждого прыжка снова поймать его. Тогда это доставляло мне громадное удовольствие, которое теперь я бы уже не пережил, пытаюсь повторить это, — потому что сделался я человеком взрослым, тяжелым и пресыщенным подобными удовольствиями.

Прыгая таким образом, заметил я мальчишку с синяком под глазом, приблизившегося ко мне и очень заинтересованного моими телодвижениями.

Это был типичный критик.

— Вот-то дурак! — сказал он, неодобрительно шуря затекший глаз.

— Почему дурак?

— Да это ж легко. Это всякий сделает.

— А как надо?

— Ты попробуй так: закрой глаза, подпрыгни, подбрось камень высоко-высоко, да и поймай его. Вот это будет штука!

Мне очень хотелось заслужить одобрение мальчишки с затекшим глазом. Очевидно, это был понимающий человек, хорошо знакомый с подпрыгиванием и подбрасыванием камней, а я был начинающий дилетант, новичок.

Я сделал все по указаниям критика: зажмурил глаза, подпрыгнул, метнул высоко камень и сейчас же услышал звон разбитого стекла и чей-то болезненный крик.

¹ Шляпы и платья (фр.).

Сначала меня отколотила проходившая мимо кухарка, в голову которой попал камень, разбивший до того в своем полете оконное стекло; потом колотил меня квартирант, окно которого пострадало от камня, а потом я перешел в руки случайно проходившего по двору человека, равнодушного к моему поступку, но поставившего, вероятно, целью доставлять себе время от времени дешевое невинное удовольствие: избивать подвернувшихся под руку детей.

Мальчишка с затекшим глазом терпеливо перенес побои, которые выпали на мою долю.

Когда все ушли, я размазал по лицу слезы и сказал ему с упреком:

— Видишь! Вот тебе — и попробовал.

— И дурак.

— Да почему же дурак? Ты ведь сам сказал.

— Молчи, сволочь...

Он ударил меня грязным кулаком по шее и, переваливаясь, ушел, с невыносимо наглым видом.

С тех пор я этого мальчишка не видел. Куда он ушел? Бог весть. В какой газете он сейчас сотрудничает? Совершенно неизвестно. И тем не менее я его встречаю...

II

Первую книгу моих рассказов критика встретила с некоторым интересом и отметила появление ее целым рядом статей.

Запомнились мне несколько статей...

1) Над русской литературой висит какое-то заклятие... В России не может быть настоящего жизнерадостного смеха, он всегда переходит в злую, брызжущую бешенством обличения сатиру; таковы все рассказы писателя, которому посвящается эта статья. Все время из каждой строки глядит на вас искаженное мучительной гримасой боли и ужаса лицо автора. Это не Марк Твен, и даже не Джером. Это скорбная гримаса Чехова.

2) Странно читать эту книгу, книгу утробного жизнерадостного смеха, в то время когда лучшая часть интеллигенции сидит в тюрьмах, когда самостоятельность общества задавлена, когда администрация не разрешает даже открытия потребительной лавки при станции Мала-

ховка. Нет! Не смех, как самоцель, нам теперь нужен, а ядовитый бич сатиры нам теперь нужен. Автор усиленно подражает Мопассану и Горбунову. Спрашивается — похож ли он по манере письма на Чехова? Нисколько.

3) Автор изображает быт — и только. Ни смеха, ни юмора в книге нет. Это бытовые вещички, и они могут быть комичны постольку, поскольку комичен сам быт. В рассказах нет ничего общего с рассказами Чехова, но можно отметить сильное влияние на писателя Глеба Успенского. Пытается подражать молодой литератор и Достоевскому.

4) Глупое гоготанье никогда ни в ком не вызывало восторга. Подражать Лейкину легко, но как отнесется к этому читатель? — вот вопрос. Человек, который хохочет, если ему показать палец... Что делать такому человеку в великой русской литературе, хранящей заветы великого Белинского и Добролюбова? К сожалению, у автора с Чеховым нет ничего общего...

Я читал критические статьи и не знал, как мне быть? Я понимал еще тех критиков, которые находили, что я подражаю Виктору Гюго или Эдгару По. Но зачем некоторые из них считали нужным отметить, что я нисколько не похож на Чехова, Писемского и Октава Мирбо?

Я очутился в положении того молодого человека, к которому подошел праздный прохожий и с любопытством спросил:

— Вы не сын дешевого городского головы?

— Нет. А что? — совершенно искренно сказал тот молодой человек.

— Я так и думал: вы на него совсем не похожи.

Что делать нам, бедным писателям?

Я помню одного знакомого критика, который очень любил, когда я в большом обществе читал вслух свои новые произведения.

Он слушал чтение с удовольствием. Когда я кончал, он одобритительно кивал головой и задумчиво говорил:

— Очень хорошо!.. Только помнится мне, что я где-то уже что-то подобное читал.

Спина моя холодела.

— Не может быть? — испуганно говорил я. — Где же вы могли прочесть? Я только сейчас это написал. Только сегодня!

Он мялся.

— Мм... не знаю. Может быть. Но хорошо помню, что где-то в каком-то журнале я читал уже почти такую самую вещь.

Я схватывал его за руки, сжимал их и, чуть не плача, молил:

— Где? Где вы могли прочесть? Ну, вспомните!!

— Право, не припомню. Самый факт остался в памяти, а названия журнала и год издания не запомнил.

И все впечатление от рассказа пропадало, все настроение было испорчено.

И все слушатели были на его стороне, а на меня поглядывали иронически, и я читал в их взглядах:

— Что, батюшка? Стянул? Попался?!

Опозоренный, я уходил и, уходя, был твердо уверен: критик просто хотел блеснуть своей эрудицией, зная, что поймать его никак невозможно, и зная, что я совершенно беззащитен в этом случае.

У него было какое-то ужасное право на меня, неизвестно кем ему данное. А у меня на него не было никаких прав. Он со мной мог сделать все, что угодно, а я только мог тайком по ночам плакать и с кротостью молить Всевышнего, чтобы Он послал ему изнурительную лихорадку или эпилепсию.

Но Бог терпел его.

Бог стерпел даже его критическую статью обо мне, в которой он упрекнул меня за недостатки и безграмотность моего слога, причем написал об этом так:

— Автор приводимого юмористического рассказа, который еще молодой, в доказательство чего можно привести много погрешностей в слоге вышеозначенного, что и объясняется этим качеством.

III

За время моей литературной деятельности я получил целый ряд очень ценных советов, которыми за недосугом не воспользовался.

— Зачем вы пишете рассказы? — спросил меня однажды знакомый.

— Да так. А что?

— Напишите-ка роман.

— Почему?

— Ну, вот. Как же без романа? Обязательно напишите.

— Я бы и написал, — нерешительно возразил я, — но вот Петров находит, что я и так пишу большие вещи, Петров говорит, что теперь время миниатюр в сорок строк.

— Ваш Петров осел.

И если бы мой собеседник был моложе и если бы один глаз у него был подбит — в нем без труда можно было бы узнать мальчишку-критика, который советовал мне бросать камушек с закрытыми глазами.

Этот странный мальчишка день-деньской торчит около меня и мешает мне работать.

— Ты что пишешь-то? — спрашивает он, глядя через плечо и щуря подбитый глаз.

— Рассказ.

— И глупо. Пьесу нужно писать, а не рассказ.

Я уверен, что, если бы я отложил в сторону рассказ и начал писать пьесу, он снова ввязался бы в мою работу.

— Что ты делаешь?

— Пьесу пишу.

— Брось ее. Отчего бы тебе не написать повести из фабричного быта?

Если бы я ответил ему категорически:

— Не желаю.

Он тут же вздул бы меня.

И вот я отмалчиваюсь, а мальчишка бегаёт за мной и все советует:

— Пиши политические памфлеты! Отчего бы тебе не попробовать написать стихи? Мне кажется, тебе бы должны удаваться пародии!

Мы с ним никогда не поймем друг друга.

Я до самой своей смерти не прощу ему случая с моим рассказом "Праведник". Однажды, будучи в хорошем веселом настроении, я написал юмористический рассказ: хозяин дома восхищается прямолинейностью и откровенностью гостя, который много терпел за эти качества; хозяин преклоняется перед гостем, превозносит его, а гость, улучив минуту, набрасывается на хозяина и начинает обличать и разносить его с такой прямолинейностью, что для хозяина остается только один выход — выбросить моралиста-гостя за дверь.

Написав это, я был уверен, что написал презабавный юмористический рассказ. Но мальчишка с затекшим гла-

зом не дремал. Он наткнулся на этот рассказ и написал о нем следующее:

— "Глубокая безысходная трагедия разыгрывается на протяжении нескольких страниц этого рассказа. Сердце щемит, когда подумаешь, сколько приходится вытерпеть человеку, ратующему за правду, как встречает этого пророка тупой косный индивидуум, шкура которого зачерствела и сердце превратилось в камень. Глубокий пессимизм автора и безотрадность всей вещи доказывает, что молодой писатель вступил на какой-то новый путь — путь беспросветного отчаяния. Со своей стороны мы приветствуем этот переход — от пустынных смешных рассказов до подлинного произведения серьезного искусства. Влияния Чехова не чувствуется".

Попробовал бы я, по совету мальчишки с затекшим глазом, вступить на этот путь "бросания камнями с закрытыми глазами"! Читатель немедленно набросился бы на меня и поступил бы со мной по примеру кухарки квартиранта и того случайного господина, который так любил доставлять себе бесплатное удовольствие — колотить беззащитных детей.

А мальчишка с затекшим глазом стоял бы около, терпеливо перенес бы все доставшиеся мне побои, делая вид, что это не он заварил всю кашу, и, пожалуй, после всех — добил бы меня окончательно.

МЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

МАТЕРИАЛЫ [К БИОГРАФИИ] (1913)

Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 году... Взвилась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сатирических журналов, таких неожиданных, пугавших своей необычностью и жуткой смелостью.

Все ходили, задрвав восхищенно головы и подмигивая друг другу на эту яркую ракету.

— Вот она где, свобода-то!..

А когда наступило туманное скверное утро, на том месте, где взвилась ракета, нашли только полуобгорелую бумажную трубку, привязанную к палке — яркому символу всякого русского шага — вперед ли, назад ли...

Последние искорки ракеты гасли постепенно еще в 1906 году, а 1907 год был уже годом полной тьмы, мрака и уныния.

С горизонта, представляемого кожаной сумкой газетчика, исчезли такие пышные бодрящие названия, как: "Пулемет", "Заря", "Жупел", "Зритель", "Зарево", — и по-прежнему заняли почетное место загнанные до того в угол тихие, мирные "Биржевые ведомости" и "Слово".

В этот период все успевшие уже привыкнуть к смеху, иронии и язвительной дерзости "красных" по цвету и содержанию сатирических журналов снова остались при четырех прежних стариках, которым всем в сложности было лет полтора: при "Стрекозе", "Будильнике", "Шуте" и "Осколках".

Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года), в окна редакций уже заглядывали злобные лица "тещи", "купца, подвыпившего на маскараде", "дачника, угнетенного дачей" и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полустгнившей дрянью.

Пир кончился...

Опьяневших от свободных речей гостей развезли по участкам, по разным "пересыльным", "одиночкам"; и остались сидеть за залитым вином и заваленным обедами столом только безропотные: "дачный муж", "злая теща" и "купец, подвыпивший на маскараде".

То, что называется — бедные родственники.

Таким образом, я приехал в столицу в наиболее неудачный момент — не только к шапочному разбору, но даже к концу этого шапочного разбора, — когда уже почти все получили по шапке.

Здесь попрошу разрешения сказать несколько слов о себе лично, так как эти слова все же имеют некоторое отношение к тому, о чем пишу.

Я приехал из Харькова в Петербург.

Несколько дней подряд бродил я по Петербургу, присматриваясь к вывескам редакций, — дальше этого мои дерзания не шли.

От чего зависит иногда судьба человеческая: редакции "Шута" и "Осколков" помещались на далеких незнакомых улицах, где-то в глубине большого незнакомого города, а "Стрекоза" и "Серый Волк" — в центре ("Стрекоза" — на Невском, угол улицы Гоголя, "Серый Волк" — на Мойке).

Будь "Шут" и "Осколки" тут же, в центре, — может быть, я бы преклонил свою скромную голову в одном из этих журналов...

Но выбирать мне приходилось между двумя "близкими" редакциями — "Стрекозой" и "Серым Волком".

— Пойду я сначала в "Стрекозу", — решил я. — По алфавиту.

Вот что делает с человеком обыкновенный скромный алфавит: я остался в "Стрекозе".

Помню, провели меня в кабинет издателя М. Г. Корнфельда (редактор — маститый И. Ф. Василевский-Буква — в Петербурге не жил)...

Меня встретил совсем молодой бритый господин с ласковыми глазами и очень хорошими манерами.

Сидел он за большим письменным столом перед деревянной доской, сплошь исчерченной благородными профилями известных лиц, теми самыми профилями, которые так любит чертить рука задумавшегося человека.

На доске лежала бумажечка — такая маленькая, что я боялся, как бы мое шумное дыхание — дыхание человека, только что избежавшего на лестницу, — не унесло ее.

"Работает, — завистливо подумал я. — Живут же люди!"

И я впился жадными глазами глубокого провинциала в приятное бритое лицо издателя.

"Вот он какой, — нежно подумал я, — молоденький совсем. Ишь ты!"

Мы разговорились.

— Материал принесли?

— Да, кое-что. Мелочи и рассказ.

— Вы работаете где-нибудь?

— Не... нет. Я недавно из Харькова.

— А там писали?

— Да, — с некоторой гордостью мотнул я головой. — Даже издавал сатирический журнал.

— И хорошо он шел?

— Не особенно. Три тысячи печатал.

— Ого! — искренне изумился издатель.

— Что "ого"? — простодушно переспросил я. — Много, что ли?

— Конечно. У нас журнал старый, известный, издается в Петербурге, и то идет он не больше, чем вдвое против вашего. Изумился в свою очередь и я.

— Да что вы! А я думал — тысяч сто.

— Где там?

В дальнейшей беседе я нашел и объяснение этого странного факта: "Стрекоза" издавалась тридцать лет, и все эти тридцать лет главными потребителями ее были — офицерские библиотеки, рестораны, парикмахерские и пивные; поэтому о журнале и сложилось у среднего интеллигентного читателя такое убеждение, что "Стрекозу" читать можно лишь между супом и котлетами, в ожидании медлительного официанта, вступившего с поваром в перебранку, или повертеть ее в руках, пока парикмахер намыливает вашему более счастливому соседу щеку.

Поэтому бурный девятьсот пятый год и перекатился волной через этот сонный журнал, не вознеся его на свой гребень.

Даже в момент первого моего появления в "Стрекозе", когда она уже была серьезно реформирована, когда ее печатали в несколько красок, когда уже большинство будущих сатириков работало в ней, — она все же не вызывала ничего внимания, ни один новый читатель не заинтересовался ею... Так было сильно тридцатилетнее равнодушие к этому "ресторанному и парикмахерскому журналу".

— Знаете что, — сказал я М. Г. Корнфельду со смелостью, на которую способна только молодость. — Надо вам переменить название журнала. Ведь вы теперь не имеете ничего общего с прежней "Стрекозой". По крайней мере в отношении рисунков. А слово "Стрекоза" все портит.

— Я сам уже думал об этом, — грустно сказал издатель. — Да жалко, знаете, менять... Свыше тридцати лет была "Стрекоза", а теперь вдруг не "Стрекоза"... Впрочем, мы об этом можем потолковать на заседании. Приходите сегодня в 8 часов вечера.

Только потом, много времени спустя, оценил я, какая великая честь была мне оказана: еженедельные редакционные заседания происходили в очень интимном кружке самых близких сотрудников и никто из посторонних не допускался под страхом смертной казни. И только через несколько месяцев издатель признался, какую он вынес из-за меня бурю на другой день после заседания.

— Вы не имели права приглашать на заседание всяких провинциальных проходимцев! — ревел, как буря, порывистый Радаков. — Южные поезда привозят каждый день сотни пудов провинциального мяса, — что же, всех их тащить сюда, да!

— Да уж, — качал головой сдержанный Ре-ми. — Нехорошо, нехорошо. Этак и я кого-нибудь с улицы приглашу на заседание — приятно вам будет?

Однако, когда я на втором заседании предложил парочку тем для рисунков, ко мне прислушались, темы обсудили, приняли — и огорченный Корнфельд снова поднял голову.

Через неделю я уже был приглашен в качестве секретаря редакции и торжественно вступил в исполнение своих обязанностей.

Сотрудниками тогда уже были почти все нынешние ближайшие сатириконицы — Ре-ми, Радаков, Юнгер, Яковлев, Красный (К. Антипов) и Мисс, — таким образом, я был среди них самым "молодым".

Атмосфера царила самая товарищеская, несмотря на то что любое мнение и взгляд высказывались в самой резкой, определенной форме. Взаимное уважение страховало от обид, а общее увлечение любимой работой сглаживало все шероховатости.

Чуть ли не на втором же заседании с моим участием снова поднялся сотрудниками вопрос об изменении заголовка "Стрекозы" на какой-нибудь другой... Самым затруднительным было — провести эту реформу так деликатно, чтобы не испугать консервативных подписчиков, привыкших уже за десятки лет к старому заглавию, как привыкают к старому, во всех местах протертому халату, но который мил именно этой своею знакомостью, мил своими складками, раз навсегда принявшими форму тела носителя халата.

Эта операция переименования нам удалась блестяще. Подписчики "Стрекозы" и опомниться не успели, как превратились в подписчиков "Сатирикона".

Первый номер "Сатирикона" вышел 1 апреля 1908 года, и о "новом" журнале сразу заговорили.

Для посторонней публики и критики появление "Сатирикона" вместо "Стрекозы" было большим, значительным событием, мы же этого почти не заметили, потому что журнал остался прежним... Только редактором, вместо И. Ф. Василевского, подписывал первые 9 номеров А. Радаков, а с 10-го номера принял эту рискованную, по русским обычаям, обязанность на себя я.

И удивительная вещь: о "Стрекозе" никто никогда в газетах и словом не обмолвился, а стоило появиться другому заголовку, как критика зашумела. Могу отметить отрадный для нас факт: "Сатирикон" был сразу принят хорошо.

Не прошло и года, как название журнала прочно вошло в жизнь и выражения: "темы для "Сатирикона", "сюжет, достойный "Сатирикона", "вот материал для сатириконцев" — заpestрели на газетных столбцах в серьезных политических статьях.

Пять лет...

Это около трехсот номеров. И над каждым номером напряженная работа, масса усилий, затрачиваемых на обход цензурных волчьих ям. Громадная, титаническая работа, о которой читатель и не подозревает.

И, как всегда бывает: просматривая теперь эту вереницу номеров, помнишь хорошо, как создавался каждый номер, по-

мнишь все тяготы его рождения и тернии, с его выпуском связанные... — но вместе с тем совершенно не помнишь и не постигаешь, как созданы все эти триста номеров в их общей массе.

Неужели все это сделано нами, пятью-шестью людьми, единственным оружием которых были карандаш, перо и улыбка... Не верится.

И в то же время мы устраивали "сатириконские балы", ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали "образовательные" экспедиции за границу и выпускали книги...

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.

Не верится? Увы... Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: "Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1) Составить 300 номеров журнала.

2) Выпустить 2 миллиона книг.

3) Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2—3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого — обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого "веселая" работа немыслима".

Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке — и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.

Теперь все это позади. Хорошо!

Нам были бы неприятны упреки в том, что мы празднуем такой скороспелый юбилей. Действительно, пятилетних юбилеев не празднуют.

Но, я думаю, предыдущие строки дают нам некоторое основание надеяться, что наше право на юбилей будет признано.

Кто знает, будет ли у нас десятилетний юбилей?..

Не надо забывать, что мы не купаемся в теплой, ласкающей тело водице, а варимся в крутом кипятке.

"История" сатириконцев была бы не полна, если бы я не коснулся разрыва всего коллектива сотрудников с издателем М. Г. Корнфельдом.

Но считаю, что не место здесь снова касаться этого инцидента, получившего уже довольно детальное освещение в первых номерах нашего журнала "Нов. Сатирикон".

Коснусь только фактической стороны: разрыв произошел в мае текущего года. Все сотрудники *in corpore* вышли из состава двух редакций: "Сатирикона" и "Галчонка". В июне нами основан "Новый Сатирикон", который в течение трех месяцев достиг того же тиража, который имел при нас прежний "Сатирикон".

Читатель в этом случае высказался... Спасибо читателю.

* * *

В моей статье, несмотря на ее пространность, есть все же огромный пробел: я почти ничего не сказал о цензурных условиях, в атмосфере которых "Сатирикон" прожил пять лет.

Но... об этом сейчас неудобно распространяться. Это дело истории, для которой мы тщательно собираем материалы.

Материалы — неслыханные.

Больше я ничего не скажу.

Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться.

- 1) Военных (даже бытовые рисунки).
- 2) Голодающих крестьян.
- 3) Монахов (даже самых скверных).
- 4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая "Новое время".

Читатель! Обнажи благоговейно голову перед этим фактом.

Огромное творческое наследие Аркадия Аверченко пока еще не собрано и в полной мере не исследовано. Первый рассказ "Уменьше жить" был опубликован в харьковском журнале "Одуванчик" в 1902 г. Ряд произведений вышел из печати уже посмертно, в 1925 г., в том числе роман "Шутка Мецената". При жизни писателя было выпущено несколько десятков сборников рассказов и пьес как на родине, так и за рубежом, причем многие из них выдержали более десяти изданий. Единственное собрание Сочинений в 12 томах вышло в 1925 г. на чешском языке в Праге, где жил Аверченко последние годы.

В советское время выпущены в свет книги: "Записки Простодушного" (1922), "Миниатюры" (1926), "Случай с Патлецовыми" (1926), "Юмор былых дней" (1927), "Развороченный муравейник" (1927), "Веселые устрицы" (1928), "Рассказы о старой школе" (1930).

Затем в течение тридцати лет книги Аверченко не издавались.

Интерес к его творчеству в нашей стране пробуждается с начала 60-х гг., и к настоящему времени изданы: "Окультиные науки". М., 1964; "Юмористические рассказы". М., 1964; "Избранные рассказы". М., 1985; "Кривые Углы". М., 1989; "Одиннадцать слонов". М., 1989; "Двенадцать портретов". Новосибирск, 1989; "Осколки разбитого вдребезги". М., 1989; "Хвост женщины". М., 1990; "Шутка Мецената". М., 1990; "Трава, примятая сапогом". М., 1991; "Бритва в киселе". М., 1990; "Записки Простодушного". М., 1992; "Чертовое колесо". М., 1994.

Среди работ, посвященных творчеству Аркадия Тимофеевича Аверченко, следует отметить вступительные статьи О. Н. Михайлова к сборникам А. Аверченко "Юмористические рассказы" и "Избранные рассказы", раздел в книге Л. А. Спиридоновой (Евстигнеевой) "Русская сатирическая литература нач. XX века" (М., 1977), послесловие О. В. Сергеева к сборнику "Записки Простодушного" (1992), "Эскизы к биографии", принадлежащие перу Никиты Богословского, в книге "Шутка Мецената" (1990).

В настоящем издании, которое является далеко не полным, в хронологическом порядке представлены наиболее значимые сборники рассказов и книги писателя; из сборников, вышедших в серии "Дешевая библиотека Сатирикона и Нового Сатирикона", отобраны лучшие рассказы. Поскольку некоторые рассказы Аверченко включал в состав различных сборников, в данном издании во избежание повторов, такие рассказы оставляются лишь в одном из сборников. Все эти случаи оговорены.

Абсолютное большинство рассказов, прежде чем они были опубликованы автором в сборниках, ранее появлялось на страницах различных газет и журналов (с тех пор, как Аверченко возглавил "Сатирикон" и "Новый Сатирикон", — главным образом в этих журналах): "Южный край", "Штык", "Меч", "Свободные мысли", "Журнал для всех", "Стрекоза", "Синий журнал", "Галчонок", "Юг", "Юг России", "Вечерняя пресса" (Константинополь), "Руль" (Берлин), "Сегодня" (Рига).

В настоящем издании время и место первых публикаций в периодической печати не указываются.

Произведения печатаются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, лишь в отдельных случаях сохранены особенности авторского написания.

Веселые устрицы (1910)

Сборник включал рассказы, ранее не публиковавшиеся в периодической печати. За семь лет выдержал 24 издания, получил многочисленные отклики в прессе.

Тексты воспроизводятся по 24-му изданию книги (1916).

Огромный диапазон тем и комических и сатирических приемов, представленных в первом же сборнике писателя, вызвал разноречивые отклики. Некоторые рецензенты не увидели никакой новизны в его творчестве, другие увидели лишь одно качество — умение и желание посмеяться и насмешить, третьи узрели в его рассказах злую сатиру и неприятие мелочного быта. Вот что писал, например, юморист Вл. Азов: "Ему так весело на белом свете. Ему и устрицы кажутся веселыми. Он искренне думает, что устрица любит, чтобы в ресторане было светло и нарядно, чтобы блудо, на котором ее подают, было серебряным, а снег чистым. У автора этих рассказов юмористический темперамент. Серьезное не интересует его, грустное не омрачает его, но веселое и смешное, молодое и жизнерадостное притягивает его, как магнит". (А з о в В. А. Аверченко. "Веселые устрицы". — Речь, 27 сентября 1910 г.) Корней Чуковский в статье "Устрицы и океан", сближая Аверченко с его персонажами (как впоследствии нередко поступали в отношении Мих. Зощенко), тем не менее вынужден признать: "Быть может, это только пишется "Аркадий Аверченко", а читать надлежит "Фридрих Ницше"? В самом деле, вы только подумайте, какая гордая ненависть к среднему, стертому, серому человеку, к толпе, к обывателю..." (Речь, 20 марта 1911 г., № 77).

Автобиография. — Автобиография, которой открывался сборник "Веселые устрицы", наряду с достоверными сведениями о жизни писателя содержит и вымышленные факты, предназначенные для усиления комического эффекта. Произведение стилизовано под Марка Твена и О. Генри.

В рецензии на первые книги Аверченко критик Вяч. Полонский отмечал, что писателю "суждено стать русским Твеном, если... кли-

мат этому не помешает. Юмор г. Аверченко имеет много общего с юмором веселого американца: он так же беззлобен и заразителен" (Полонский В. Смех и горечь. Всеобщий ежемесячник. 1910. № 7. С. 98).

С. 22. *Кордегардия* — караульная, помещение для солдат, находящихся в карауле.

С. 25. *Фальер* Клеман Арман (1841—1931) — французский политический деятель, президент Франции в 1906—1913 гг.

История болезни Иванова. С. 28. *Мирнообновленцы* — члены умеренно-либеральной партии, объединившей бывших левых октябристов и правых кадетов, а затем слившиеся с партией демократических реформ; мирнообновленцы стояли за законодательное урегулирование рабочего вопроса и организацию переселения малоземельных крестьян. *Октябристы* (Союз 17 октября) — партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии в России в 1905—1907 гг. 17 октября 1905 г., в момент наивысшего подъема Октябрьской всероссийской политической стачки, Николаем II был подписан манифест "Об усовершенствовании государственного порядка", провозгласивший гражданские свободы и законодательную думу, — такая акция явилась вынужденной уступкой самодержавия восставшему народу. *Кадеты* — конституционно-демократическая партия, партия народной свободы — основная партия либерально-монархической буржуазии в России 1905—1917 гг.; ее программа: конституционная и парламентарная монархия, буржуазные свободы, сохранение помещичьего землевладения, законодательное решение рабочего вопроса. *Колобакин А. М.* (1868—1915) — член III Государственной Думы, кадет; в 1909 г. был приговорен к тюремному заключению за речь о незаконности роспуска I Государственной Думы. *Отречемся от старого ми-и-и...* — начальная строка "Рабочей Марсельезы", широко распространенной в России революционной песни рабочих (мелодия французской "Марсельезы", русский текст П. Л. Лаврова, опубликованный в газете "Вперед" 1 июля 1875 г.).

С. 29. *...читал эрфуртскую программу*. — Эрфуртская программа — принятая на партийном съезде в Эрфурте в октябре 1891 г. марксистская программа Социал-демократической партии Германии. Решающее влияние на теоретическое содержание программы оказал Ф. Энгельс.

Кто ее продал... С. 31. *...вам за пять рублей отдам другую Россию, только помлоше. В кавычках*. — Аверченко имеет в виду издававшуюся в Петербурге в 1905—1914 гг. реакционную ежедневную газету "Россия"; с 1906 г. газета стала официальным органом министерства внутренних дел.

Русская история. С. 34. *...флакн с гуммиарабиком*. — Гуммиарабик — прозрачная жидкая масса, выделяемая различными видами акаций; ранее гуммиарабик употреблялся как клей.

С. 36. *...по соглашению с эмеритурным отделом...* — Эмеритура — капитал, составляемый из взносов служащих, из которого произ-

водятся доплаты к пенсиям ушедшим в отставку, либо их вдовам и сиротам.

Почести. С. 40. В № 11981 "Нового времени" Меньшиков написал тысячный фельетон. — Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — постоянный сотрудник газеты "Новое время", известный журналист правого направления. Весьма беспринципный и объективно злой, он на словах призывал любить ближнего, быть кротким; вместе с тем он называл пролетариев отбросами общества, усердно агитировал в пользу погромов и карательных экспедиций. В 1918 г. был расстрелян большевиками как враг трудящихся. Сегодня творчество Меньшикова подвергается переоценке историками и литературоведами.

Швейцар суворинского дома... — Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — один из крупнейших русских издателей, драматург, журналист; в 1876 г. приобрел газету "Новое время", редактором которой оставался до конца жизни. Политическая направленность газеты менялась в зависимости от ситуации в стране, постепенно с либеральной позиции она перешла на охранительную, защищая и поддерживая устои самодержавия. Среди ее сотрудников было много видных публицистов и писателей. Суворин еженедельно устраивал приемы у себя дома, куда часто приглашались молодые авторы. Будучи прекрасным организатором, он умел находить хороших писателей и публицистов и привлекать их к сотрудничеству.

С. 41. Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский прозаик, философ, публицист. Опубликовал только за последние 20 лет жизни свыше 25 книг по вопросам культуры, религии, философии, истории, семьи и любви, литературы и искусства, которые вызвали горячую полемику, не прекращающуюся до сих пор. С 1899 г. Розанов стал постоянным сотрудником газеты "Новое время".

С. 42. ...побред к кабинету А. Столыпина.

— Здравствуйте, Александр Аркадьич! — Столыпин Александр Аркадьевич — младший брат Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911), председателя Совета министров России в 1906—1911 гг.; журналист, сотрудник газеты "Новое время"; в эмиграции, в Париже, выпустил в 1927 г. книгу о своем брате: "П. А. Столыпин. 1862—1911".

Робинзоны. С. 45 ...Вы еще не имеете права охотиться... Еще Петрова дня не было... — Петров день — 23 июня (по ст. стилю) — день памяти апостолов Петра и Павла; в дореволюционной России охотничий сезон открывался в этот день.

Визит. С. 48. Какой же это Рембрандт? Это Судковский. — Судковский Руфим Гаврилович (1850—1885) — русский живописец-маринист, академик живописи (1882), написал свыше 100 картин; его произведения есть в Третьяковской галерее, в Русском музее и др. музеях.

...mens sana in Kвисисана ... — искаженное латинское выражение "Mens sana in corpore sano" — "Здоровый дух в здоровом теле"; Квисисана — название ресторана в Петербурге.

Мученик науки. С. 53. ...премия к "Ниве"... Заплатил семь рублей в год — и Салтыкова тебе какого-нибудь дадут двенадцать книжечек, и украшение для гостиной. — "Нива" — еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения; издавался в Петербурге с 1870 по 1918 г. издательской фирмой А. Ф. Маркса. В качестве бесплатных приложений для постоянных подписчиков ежегодно выпускались собрания сочинений русских классиков: Тургенева, Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина и др. Журнал содержал также репродукции картин известных художников. Благодаря всему этому журнал пользовался огромной популярностью и его тираж порой превышал 200 тысяч экземпляров.

С перми н. — Смысл названия рассказа был хорошо ясен читателям — современникам писателя. Во многих русских журналах и газетах начала XX в. (в том числе и в "Сатириконе") рекламировалось универсальное лекарство "Спермин" доктора Пеля. Оно рекомендовалось при истерии, невралгии, сердечных болезнях, ожирении, чахотке, малокровии, старческом одряхлении, сифилисе, атеросклерозе, алкоголизме и т. д.

С. 57. Доне муа того кельх-шоу... — Дай мне того — не знаю чего (смесь "французского с нижегородским").

"Аполлон". С. 76. "Аполлон" — художественно-литературный журнал; издавался в 1909—1917 гг.; последний номер вышел с опозданием уже в 1918 г. Редактором-издателем был художник, поэт и критик С. К. Маковский (1878—1962). Журнал поддерживал в живописи модернизм и другие близкие ему по духу течения, в поэзии — акмеизм и символизм.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909) — поэт, критик, переводчик античной литературы, педагог; был близок к символизму; автор двух сборников лирических стихотворений и двух сборников критических статей "Книги отражения". "О современном лиризме" — статья, помещенная в первом номере "Аполлона"; вышедшем в октябре 1909 г., посвящена поэзии русских символистов. Ирония Аверченко объясняется его неприятием всех модернистских течений как в поэзии, так и в живописи.

С. 77. Тирс — древнегреческое название прямого жезла, обвитого плющом или виноградом; принадлежность Вахха (Диониса) и его спутников; символ буйной поэзии. Мэнада (фр.) — вакханка. "В ожидании гимна Аполлону" — статья в этом же журнале Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), художника, критика, историка искусства, одного из идеологов художественного объединения "Мир искусства" (1898—1924). "О театре" — статья в этом же журнале Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874—1940), актера и режиссера, реформатора театра.

С. 78. *А поэта Бунина в академики выбрали...* — писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) в 1909 г. был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

Американцы. С. 82. *"Свен Гедин, путешественник по Тибету" ... "Убийца президента Карно"*... — Аверченко перечисляет несколько типичных портретных снимков, публиковавшихся на страницах массовых журналов конца XIX — начала XX в. Свен Андерс Гедин (1865—1952) — шведский путешественник, исследователь Тибета и Центральной Азии; в 1923 г. совершил кругосветное путешествие.

Карно Сади (1837—1894) — французский политический деятель, был избран президентом в 1887 г.; президентство Карно было отмечено острым политическим кризисом, усилением репрессий против рабочего движения; Карно был убит в Лионе анархистом Казерио.

Проклятие. — В рассказе иронически обыгрывается ажиотаж вокруг Леонида Андреева, чьи произведения пользовались огромной популярностью в России в начале XX в.

С. 88. *Метерлики* Морис (1862—1949) — бельгийский писатель-символист; его произведения пользовались успехом в России в начале XX в., а его пьеса-сказка "Синяя птица" (пост. 1908) не сходит со сцены до сих пор.

С. 90. *"Анатема"* ("Анатэма") (1909) — одна из самых известных пьес Леонида Андреева; далее приводятся названия пьес писателя, поставленных примерно в одно и то же время в разных театрах: "Дни нашей жизни" (1908), "Анфиса" (1909), "Жизнь человека" (1907), "Черные маски" (1908).

Пернатое. С. 93. *Клеопатра* (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птолемеев.

Согласно одной из легенд римский полководец Марк Антоний изумился богатству царицы, в ответ на это Клеопатра сняла кольцо с жемчужиной и, растворив её в вине, выпила, чтобы доказать, что не придает никакого значения земным богатствам.

Самодушеством она покончила вместе с Антонием после проигрыша битвы римским войскам во главе с Октавианом Августом. Согласно одной из легенд она умерла от укуса змеи, позволив ей ужалить себя (по египетским представлениям такая смерть сулила бессмертие).

С. 94. *Гуттенберг* (Гутенберг) Иоганн (ок. 1400—1468) — немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания подвижными металлическими литерами. Первые книги, напечатанные Гуттенбергом, вышли в свет в 1445 г. Изобретение книгопечатания сыграло огромную роль в распространении культуры, науки, литературы. Вслед за Гуттенбергом книгопечатание появилось и в других странах.

С. 96. *...катушки Румкорфа..* — Катушка Румкорфа — прибор для преобразования прерывистого тока низкого напряжения в прерывистый ток высокого напряжения. Первые были сконструированы немецким механиком Г. Румкорфом в 1852 г.

Еще воспоминания о Чехове. С. 97. *Сей труд автор... посвящает Н. Ежову...* как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в "Историческом Вестнике". — Ежов Николай Михайлович (1862—1942) — журналист и беллетрист, сотрудник различных юмористических журналов; был знаком с Чеховым и неоднократно с ним встречался. Однако его статья, опубликованная в 1909 г. в "Историческом вестнике", содержала массу выдумок и домыслов: он говорил о Чехове как о нерадивом студенте, утверждал, что Чехов в своих письмах "прихорашивался" и т. п.

С. 98. *"Русское богатство"* — литературный, научный и политический журнал, издавался с 1876 по 1918 г., основан в Москве, но в том же году издание перенесено в Петербург. Журнал народнического направления, он постепенно привлек к участию писателей-реалистов; журнал возглавляли во второй половине XIX — начале XX в. Н. Михайловский и В. Короленко, а сотрудничали здесь Мамин-Сибиряк, Станюкович, Бунин, Л. Андреев, Горький, Куприн, В. Вересаев, Пант. Романов и др.

В 1918 г. журнал был закрыт как издание, выступившее против диктатуры пролетариата.

Крайние течения. С. 101. *Сотрудник московского журнала "Весы", декадент Эллис, уличен в похищении листов и порче книг в публичной библиотеке.* — "Весы" (1904—1909) — научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник, орган русских символистов; редактор-издатель С. А. Поляков, владелец издательства "Скорпион". Руководил журналом В. Я. Брюсов; сотрудничали в нем К. Д. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, М. Волошин, М. Кузмин и многие другие поэты, прозаики, публицисты из лагеря символистов и близких к нему кругов.

Эллис (наст. фамилия — Кобылинский) Лев Львович (1879—1947) — поэт и литературовед, один из ведущих деятелей русского литературного символизма; активно сотрудничал в журнале "Весы", выпустил книгу "Русские символисты" (1910). После 1913 г. покинул Россию и поселился в Швейцарии.

Четверг. С. 114. *Ведекинд Франк* (1864—1918) — немецкий писатель-драматург и артист, предшественник экспрессионистов; в начале XX в. его драмы с успехом шли на русской сцене;... *новой босоножки.* — В начале XX в. на эстрадах России проходили выступления танцовщиц, отказавшихся от балетных костюмов и обуви; одной из основоположниц новой школы танца была Айседора Дункан (1878—1927); ее многочисленных последовательниц иронически называли "босоножками".

С. 115. *Вейнингера* Отто (1880—1903) — австрийский философ и психиатр; автор книги "Пол и характер"; покончил с собой в день выхода книги в свет.

Пишибишевский Станислав (1868—1927) — польский писатель. Его декадентские романы "Заупокойная месса" (1893), "Дети сатаны" (1897), "Номо sapiens" (1895—1898) и другие пользовались популярностью в России нач. XX в.

С. 120. *Редерер* — одна из лучших немецких марок шампанского.

Лекарство. С. 142. — *Дернье крик делямод* — последний крик моды (смесь "французского с нижегородским").

Визитер. С. 156. — ... *пробирной палатки*... — пробирная палатка — мифическое учреждение, директором которого в 1841—1860 гг. был мифический Козьма Петрович Прутков, созданный фантазией братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого.

"Рассказы (юмористические)" (1910—1911)

Сборник вышел в Петербурге в трех книгах, первая и вторая в 1910 г., а третья, вышедшая в 1911 г., по своему составу повторяла сборник "Юмористические рассказы" (1910). Книга вторая имеет подзаголовок "Зайчики на стене". Рассказы из книги первой печатаются по одиннадцатому изданию, выпущенному в Петрограде в 1916 г., а из книг 2-й и 3-й по десятому изданию (Пг., 1916).

Рассказ "Красивая женщина", входивший в книгу первую, будет напечатан в одном из последующих томов настоящего издания в составе сборника "О маленьких — для больших", куда впоследствии был включен автором.

Специалист. С. 176. *Авгуры* — в Древнем Риме коллегия жрецов, ведавшая ауспациями (гаданием по полету и крику птиц).

Нервы. С. 216. *Матчиш* (исп.) — танец в быстром темпе и музыкальное произведение в ритме этого танца; был популярен в России в начале XX в.

Граф Калиостро. С. 299. *Гуцков* Карл (1811—1878) — немецкий писатель и общественный деятель; автор ряда пьес, вошедших в репертуар многих театров мира; наиболее значимое его произведение — трагедия "Уриель Акоста" (1847, рус. перев. 1872), посвященная мыслителю XVII в., борцу против религиозного гнета за свободу разума. Поставленная на сцене нескольких русских театров, трагедия эта пользовалась огромным зрительским успехом. Бен Акиба — один из героев этой пьесы.

С. 300. *Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:*

... *Вырыта заступом яма глубокая*... — Здесь приводится начальная строка стихотворения Ивана Саввича Никитина (1824—1861), написанного в 1860 г.

"*Негр сделал свое дело, негр может уходить*" — не точная цитата из драмы Фридриха Шиллера (1759—1805) "Заговор Фиеско в Генуе" (1783) (действие III, явление 4). Там эти слова принадлежат мавру, который принимал участие в организации заговора республиканцев против тирана Генуи дожа Дориа. Когда цель была достигнута, мавр оказался никому не нужным.

Геракл. С. 316. *Антиной* (год рожд. неизвестен — ум. в 130 г.) — юноша, отличавшийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана. После смерти Антиноя, утонувшего в Ниле, Адриан приказал обожествить его. В честь Антиноя воздвигались храмы, в Египте был построен город Антинополь; его именем было названо одно из созвездий.

"*Вчера негра назвал эбеновым деревом, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту*... — Эбеновое дерево — древесина нескольких видов тропических деревьев, имеющая черную (иногда зеленую) окраску. Древесина некоторых деревьев имеет высокую плотность, необычайную твердость и по удельному весу тяжелее воды. Тимбукту (Томбукту) — город в Мали, один из древних культурно-экономических центров Африки, узел караванных путей.

Ихневмоны. — Будучи противником всяческого модернизма в литературе и искусстве, Аверченко в этом рассказе в гротесковой форме высмеивает новые направления в живописи.

С. 331. *Ихневмоны* — паразитические перепончатокрылые насекомые. Обозначив этим названием направление в модернистском искусстве, Аверченко тем самым указывает, что оно паразитирует на подлинном, реалистическом искусстве.

Случай с Патлецовыми. С. 402. *Что может быть хорошего из Назарета?* — Неточная цитата из Евангелия от Иоанна (гл. I, ст. 46).

Аргонавты. С. 410. ... *я ответил в "почтовом ящике"*... — "Почтовый ящик" — раздел в журналах "Сатирикон" и "Новый Сатирикон", в котором публиковались шуточные (а иногда и серьезные) ответы на присланные в эти журналы произведения. Большинство ответов принадлежит перу самого Аверченко, который не отмахивался от так называемого самотека, а стремился по возможности выявить действительно талантливое, как правило, сером потоке. И некоторые из начинающих авторов стали впоследствии сотрудниками журналов.

Мальчик с затекшим глазом. — Рассказ высмеивает стремление, присущее многим критикам, сравнивать, сопоставлять произведения молодых (а порой и опытных авторов) с совершенно несопоставимыми ни по духу, ни по таланту, ни по направленности

писателями. Критики уходили от анализа собственно произведения, находя ему как бы аналог или антитезу в существующей литературе. В большинстве случаев это свидетельствовало о неспособности критиков дать самостоятельную оценку тому или иному литературному явлению, а отнюдь не об их эрудиции.

С. 425. *Горбунов Иван Федорович* (1831—1895/96) — русский писатель и актер; играл на сцене Александринского театра; позже выдвинулся как мастер устных комических рассказов, с которыми выступал как автор и исполнитель. Знаток русского быта, русской песни, народной речи, он создал в своих рассказах колоритные образы представителей разных сословий. Многие выражения его героев сделали крылатыми.

Октав Мирбо (1850—1917) — французский писатель; первые его романы выражали анархо-бунтарский протест против обезличения человека в буржуазном обществе; позже антибуржуазные мотивы в его творчестве вытесняются эротикой и патологией: "Сад пыток" (1899), "Дневник горничной" (1900), вершина его творчества — пьеса "Дела есть дела" (1903) шла в России под названием "Рабы наживы".

СОДЕРЖАНИЕ

Никоненко Ст. Время и личность Аркадия Аверченко 3

Веселые устрицы (1910)

Автобиография 17

I. В свободной России 26

История болезни Иванова 26

Кто ее продал... 29

Русская история 33

Люди 37

Почести 40

Робинзоны 43

Визит 46

Бедствие 50

Мученик науки 52

Спермин 55

Октябрист Чикалкин 58

Невозможное 61

Зверинец 64

Путаница 66

II. Около искусства 70

Труха 70

"Аполлон" 76

Американцы 80

Подмости 83

Проклятье 87

Пернатое 91

Еще воспоминания о Чехове 97

Крайние течения 101

Неизлечимые	104
Золотой век	106
Без почвы	110
III. Мои улыбки	114
Четверг	114
Мозаика	120
Рубановичи	127
Четверо	132
Лекарство	138
Ложь	145
Визитер	150

Рассказы (юмористические) (1910—1911)

Книга первая	157
Поэт	157
Здание на песке	161
Лентяй	165
Славный ребенок	171
Специалист	175
Праведник	179
Двойник	184
Дачный театр	188
Два мира	194
Приклочение номера 24345	198
Еврейский анекдот	203
Преступники	207
Нервы	212
Ниночка	216
Большое сердце (Рождественский рассказ)	222
Бропегов	225
Апостол	230
Душевная драма (Жизнь человека)	236
Широкая масленица	239
Рыцарь индустрии	242
День госпожи Спандиковой	245
Страшный человек	249
Загадка природы	260
День человеческий	265

Тайна	271
Веселый вечер	275
Дружба	280
Книга вторая. Зайчики на стене	285
Предисловие	285
Отец	286
Городовой Сапогов	292
Граф Калиостро	296
Яд	302
Незаметный подвиг	307
Геракл	313
Сухая масленица	318
По ту сторону...	323
Магнит	326
Ихневмоны	331
Жена	336
Альбом	341
Два преступления господина Вопягина	347
Шутка	349
В зеленой комнате	355
Исчадие города	359
Анекдоты из жизни великих людей	364
Дурная наследственность	370
Одинокый Гржимба	374
Вино	380
Чудеса	388
Петухов	396
Случай с Патлецовыми	402
Аргонавты	408
Смерть девушки у изгороди	416
Мальчик с затекшим глазом	423

Приложение. Мы за пять лет. Материалы [к биографии] (1913)	429
КОММЕНТАРИИ	435